

Андрей Васильевич Мягков
Скрипка Страдивари, или Возвращение Сивого Мерина

Сивый Мерин – 2



Издательский текст
«Скрипка Страдивари, или Возвращение Сивого Мерина»: АСТ, Астрель,
Полиграфиздат; М.; 2011
ISBN 978-5-17-075557-8, 978-5-271-37281-0

Аннотация

Легендарный актер Андрей Мягков неожиданно и ярко выступает в амплуа писателя. Его книга – это семейная сага, написанная как остросюжетный захватывающий детектив и щедро приправленная тонким психологизмом. История братьев-близнецов, схожесть которых играет с ними злую шутку длиною в жизнь, разворачивается на фоне событий второй половины XX столетия в России, Франции, Америке... И на протяжении всего повествования судьбы героев зависят от таинственной скрипки Страдивари, за перемещениями которой тянется шлейф из загадочных убийств.

Андрей Васильевич Мягков

Скрипка Страдивари, или Возвращение Сивого Мерина

... – А, кстати, Севочка, как ты относишься к Юрию Николаевичу?

Мерин непонимающе взглянул на бабушку: вопрос был задан отнюдь не «кстати» – до этого они говорили совсем на другую тему. Он даже переспросил: «Как я отношусь к Скоробогатову?»

– Ну... да.

– Нормально. Очень хорошо. А что?

– А он к тебе?

– Тоже. Я думаю. Нормально. А что?!

Они сидели в их общей «гостиной» – в кухне, где каждое утро перед уходом внука на работу Людмила Васильевна готовила и разделяла с ним завтрак. Трапеза подходила к концу, и Мерин мыслями был уже на Петровке.

– А почему ты спрашиваешь? – Он очень удивился бабушкиному вопросу: болезненно щепетильная, она интересовалась подробностями, касающимися профессии внука, крайне редко и только в исключительных случаях. За последнее время ничего экстраординарного, выходящего за рамки обычной муровской текучки, не происходило, и поэтому объяснить бабушкино любопытство Мерин никак не мог. – Почему ты спросила?

Людмила Васильевна отвернулась к плите, загремела сковородками.

– Еще будешь, Севочка?

– Нет, спасибо, я сыт. Я говорю – ты почему спрашиваешь?

– О чем, милый?

– О Скоробогатове.

– О Скоробогатове? – Очень искренне удивилась Людмила Васильевна. – Да просто так.

– Как «так»? Ты же зачем-то спросила.

– Ну спросила. И что? Чему тут удивляться? Ты мне не чужой. – В ее голосе прозвучала едва уловимая обида. – Не пойму.

– Нет, но я уже больше года работаю под его началом – ты не спрашивала...

– Не спрашивала. А теперь спросила.

– Почему?

– Что «почему»?

– Почему спросила?

– Ну не знаю, Севочка. Спросила, и все. Эко событие! Считаю, что не спрашивала.

– Не могу.

– Что не можешь?

– Так считать.

– Почему?

– Совесть не велит: кто не глух – тот слышит...

– О, Господи. Ну просто спросила...

– «Просто» ничего не бывает... – поучительно начал Мерин, но Людмила Васильевна громко рассмеялась, чмокнула внука в макушку, сказала примирительно: «Собирайся, Пинкерстон, опоздаешь», и поспешно юркнула в свою комнату.

«Да-а, что-то неладно в Датском королевстве. С чего бы это вдруг...»

Долго размышлять на тему необычного бабушкиного поведения не хотелось: предстоял нелегкий день и подойти к нему надо, как учит непререкаемый авторитет майор Трусс, «с чистым листом в мозгах», и обязательно добавляет при этом: «Если таковые в наличии».

А день действительно обещал быть нелегким: накануне стало известно об ограблении квартиры на Тверской, 18, принадлежащей семье известного композитора Твеленева Антона Игоревича, еще в годы гражданской войны писавшего бравые марши для 1-й Конной армии

Буденного и по сей день время от времени радующего уцелевших сверстников бесхитростными песенками. Престарелый музыкант за неделю до случившегося несчастья широко отпраздновал очередной юбилей, был поздравлен Президентом, телевидением, газетами, награжден не первым в своей жизни орденом «За заслуги...» следующей степени, восхвален друзьями-родственниками и теперь отдыхал в кругу своих многочисленных домочадцев от трудов не столько праведных, сколь шумных и хлопотных на тихой подмосковной даче.

Вчера же выяснилось, что кража произошла днем – что-то около часов двух-трех. Воры действовали предельно нагло, практически в открытую, не спеша вынесли из квартиры все, что сочли нужным, и многолюдные толпы прохожих, празднично шатающихся в это время в самом центре Москвы, рядом с Кремлем, нимало их не смутили. Четыре одетые в одинаковые яркие фирменные куртки молодца под завязку загрузили подогнанную к подъезду «Газель», зелеными, неотечественного происхождения купюрами щедро отблагодарили вызвавшегося им помочь гаишника, перекрывшего для удобства выезда движение транспорта по Тверской улице, и были таковы.

Выяснилось также, что из всех многочисленных родственников больше других пострадала дочь старого музыканта Надежда Заботкина. Исчезла шкатулка с драгоценностями, две норковые шубы, компьютер, многочисленная видеоаппаратура и, главное, какие-то старинные, чуть ли не доисторических времен фарфоровые статуэтки в количестве тридцати двух штук. Их она коллекционировала всю сознательную жизнь, с детства, со школы, тряслась над ними, как пожилые мамы над новорожденными первенцами, держала в стеллажах под затемненными стеклами, оберегая от дневного света и солнечных лучей краску на своих рукотворных совершенствах, и теперь, вызванная оперативниками с дачи, несчастная потерпевшая находилась в состоянии, близком к коматозному. «Ничего не надо, ничего, черт с ним со всем, ничего не жаль, – шептала в минуты прояснения сознания безутешная женщина, – но фарфо-о-ор...». Горе ее выглядело подлинным и невосполнимым.

В момент ограбления в квартире № 6 – огромной, шестикомнатной с бесконечными коридорами, коридорчиками, кладовыми помещениями и закоулками – никого, кроме престарелой домработницы, не было. Прибывшие на место преступления сыщики обнаружили ее связанной, с заклеенным ртом в одной из ванных комнат. Попытка по горячим следам выяснить у нее какие-либо подробности произошедшего и тем самым облегчить себе дальнейшую жизнь закончилась провалом: освобожденная пленница только часто-часто крестилась и громко причитала.

Вчера же были опрошены все возможные свидетели преступления: перепуганная насмерть и потому немногословная подслеповатая консьержка; молодеватый гаишник, помогавший злоумышленникам вырывать на забитую транспортом Тверскую («... этого быть не может, они мне бумаги с печатями показывали, конечный маршрут назвали – Ленинский, 299, деньги совали – я, разумеется, не взял...»). Опросили и немногих оказавшихся на месте жильцов – сентябрь не тот месяц, когда владельцы престижных московских домов предпочитают телевизионные сериалы-страшилки свежему воздуху пригородов или заморским пляжам. Сведения оказались на удивление скудными и разноречивыми. Кто-то слышал подозрительный шум, но не придавал этому значения; кто-то видел на лестнице у грузового лифта вполне прилично одетых молодых людей – «обычное дело: многие в этом доме покупают модную мебель, меняют сантехнику, приезжают-уезжают-уносят-приносят, вечное броуновское движение, ни дня покоя»; кто-то вообще ничего не видел и не слышал. И только живущие над Твеленевыми две старые девы в один голос утверждали, что были выстрелы.

Оперативники в поисках гильз на четвереньках облазали все лестницы (хотя, какие к черту выстрелы: ни крови, ни убитых, ни раненых), произвели необходимые замеры в квартире, обработали и сфотографировали места возможных отпечатков пальцев. Дождавшись приезда из загорода некоторых обитателей «безразмерной», как ее назвал

Анатолий Борисович Трусс, квартиры, попытались с их слов составить описание пропавшего (от периодически теряющей сознание Надежды Антоновны Заботкиной проку было немного, а вот ее племянник Антон, напротив, за недолгое время успел обнаружить отсутствие аж сорока трех предметов, не считая теткинских «японских уродцев», и даже определить приблизительную стоимость похищенного).

На этом скудные «горячие следы» Тверской кражи закончились, и немало удрученные подобной откровенной неудачей оперативники подались в контору для доклада «Самому» – начальнику оперативно-розыскного отдела МУРа полковнику Юрию Николаевичу Скоробогатову.

Тот выслушал подчиненных без обычного в таких случаях внимания, не задал ни единого вопроса, все время, пока шли доклады, занимался разложенными на столе бумагами, отвечал на телефонные звонки, сам неоднократно нажимал кнопку пульта и негромко отдавал короткие приказания, а когда расстроенные таким его поведением оперативники удрученно смолкли, даже не сразу это заметил, и только через долгую паузу, подняв голову и увидев перед собой четыре мрачные физиономии, растянул губы в подобии улыбки и произнес негромко: «Завтра, 15 сентября, в 8.00. Все свободны».

Таким образом наступившее «завтра» не предвещало ничего хорошего, и именно поэтому Всеволоду Мерину было не до странностей бабушкиных вопросов: в свое время разберемся, не без этого, а пока – все внимание в кабинет Скорого: похоже, предстояла заслуженная выволочка и надо было успеть к ней подготовиться.

Но, как ни странно, совещание прошло мирно, без повышенных тонов и продолжалось, как показалось Мерину, не более минуты.

– Ну что? Я подумал над вашими докладами: по-моему, все правильно, вы сделали все, что могли. Трупов нет, крови нет, нет даже раненых – все целы-невредимы, так? Значит – не нашего ума дело. Теперь пусть этим занимаются другие отделы. А нам с вами надо разгрести залежи висяков и молить «работодателей», чтобы повременили с новыми убийствами. Все, мальчики, давайте, по коням.

И только когда повеселевшие сыщики в порядке старшинства званий один за другим покидали кабинет, полковник окликнул:

– А вы, Штирлиц, останьтесь. – И, широко улыбнувшись своей не бог весть какой шутке, добавил: – Всеволод Всеволодович, это я к вам обращаюсь. Уделите мне несколько минут?

Побагровевший Мерин сел на краешек стула, достал накрахмаленный бабушкой носовой платок, вытер вмиг покрывшийся испариной лоб.

Скоробогатов неспешно несколько раз преодолел расстояние от стола к окну и обратно, непонятно кого имея в виду, пробурчал: «Скрипят, собаки» (кто скрипит? какие «собаки»? вышедшие из кабинета сотрудники отдела? двери? половицы выдавшего виды паркета? – Мерин уточнять не стал), затем нажал кнопку селектора.

– Валентина, десять минут меня нет. И, пожалуйста, два чая с колбаской.

И, опустившись в кресло, замолчал.

Прошло время.

Неулыбчивая секретарша принесла покрытый салфеткой поднос, поставила на стол.

– Еще что-нибудь, Юрий Николаевич?

Скоробогатов смотрел в пространство перед собой.

– Юрий Николаевич.

– Да, – очнулся полковник, – что?

– Я говорю, еще что-нибудь?

– Что «еще»?

– Принести.

– Зачем?

– Ну мало ли... Не знаю.

– А-а-а, нет, нет, спасибо, ничего не надо. А это что?

Секретарша недовольно глянула на Мерина, сказала шепотом:

– Это чай.

– А-а-а, спасибо, Валечка, очень кстати.

Мерин воспринял этот загадочный диалог как предзнаменование чего-то важного и не ошибся.

– Вот, Сева, хочу посоветоваться...

Начальник отдела МУРа по особо важным делам Юрий Николаевич Скоробогатов родился в начале февраля первого послевоенного года. Мать вела в московской консерватории класс рояля, а отец – выдающийся скрипач, обласканный властью всевозможными орденами, премиями и званиями, был, как тогда выражались, «выездным», летал по всему миру с сольными концертами, везде, несмотря на откровенное неприятие Западом советских выдвиженцев, был принимаем с шумным, даже скандальным восторгом и неофициально в кругу меломанов считался одним из лучших скрипачей планеты.

С самого раннего детства мальчика Юру, вопреки его желанию и изощренному, доходившему порой до откровенного саботажа сопротивлению, готовили к музыкальной карьере: ему подарили подростковую виолончель и наняли хорошего педагога, благо материальная сторона дела семью не смущала. Мечта была такая: незаметно пройдет время, и на афишах мировых столиц замелькают вожделенные слова:

«Инструментальное трио в составе
СОФЬЯ СКОРОБОГАТОВА (рояль),
НИКОЛАЙ СКОРОБОГАТОВ (скрипка)
Партию виолончели исполняет
ЮРИЙ СКОРОБОГАТОВ»

Обоим родителям так явственно (особенно в регулярных сновидениях) представлялись эти красочные, освещенные солнцем и неоном афиши, что, казалось, достаточно устранить время от времени возникающие между ними мелкие разногласия, сводившиеся в основном к тому, какой цветности и какого размера должны быть фотографии (еще Софья Александровна склонялась к тому, что фото надо бы выбрать из их «молодежного архива, а Николай Георгиевич придерживался мнения, что все должно соответствовать текущему моменту), достаточно устранить эти сущие пустяки, и сама Ее Величество МУЗЫКА обоймет проходящих мимо афиш людей своими чарующими звуками.

Мальчик Юра звезд с неба не хватал, разнообразно-изворотливо сопротивляясь каждому занятию с педагогом, тем не менее освоил, к неопикуемой радости родителей, азы музыкальной грамоты и даже выучил наизусть несколько упрямо подсовываемых ему Софьей Александровной струнных сонат для начинающих виртуозов.

И неизвестно, к чему бы все это привело и не появился ли бы на советском исполнительском небосклоне еще один Рострапович, не случись трагедия, безжалостно прекратившая две молодые жизни – Николая и Софьи Скоробогатовых и многократно перекарежившая еще одну, только-только начавшуюся – жизнь Юрия Николаевича Скоробогатова.

– Вот, Сева, хочу посоветоваться и не знаю, с чего начать.

Конечно, можно было бы закинуть ногу на ногу и назидательно посоветовать: «А вы начните с главного». Сева именно так и поступил бы, будь сейчас перед ним кто угодно – хоть сам Трусс, хоть Яшин, хоть даже бабушка Людмила Васильевна.

Можно было благодарно проникнуться серьезностью интонации полковника, скроить подобающее моменту лицо и, молча, с пылкой готовностью разделив любые трудности собеседника, покорно ждать продолжения. Он так и поступил бы, будь теперь перед ним кто угодно: бабушка ли, Яшин ли, Ярослав или даже сам Анатолий Борисович Трусс, уважение к которому у Мерина граничило чуть ли ни с преклонением.

Но Скоробогатов!!!

И Всеволод, сам того не ожидая, выпалил:

– Спасибо, Юрий Николаевич.

– За что? – не сразу понял полковник. И только не на шутку испугавшись цвета спелой клюквы лица подчиненного, махнул рукой: – Да брось ты, какое там «спасибо». Тебе спасибо, вот что. – И еще, помолчав немного, решительно выдохнул: – Понимаешь, мне позвонил пострадавший, этот, как его...

– Я понял, Юрий Николаевич. Твеленев Антон Маратович, который список пропавшего составлял, внук композитора, сын Марата Антоновича...

– Да не внук. И не сын. В том-то и дело. А сам. Сам Антон! Ему ведь недавно, если не ошибаюсь, девяносто отметили. Казалось бы – чего волноваться: живи спокойно, какие там ограбления. А он мой мобильный телефон узнал, что, как ты понимаешь, непросто, но – Герой Труда, «За заслуги перед Отечеством», народный-перенародный и т. д. и т. п. – узнал. И прелюбопытная вещь: ни слова про понесенные убытки. Мудрый старик. «Бог с ними, – говорит, – с собой не возьмешь, дети-внуки правнуки и без этого добра проживут, им хватит, за жизнь я им наработал. А вот просьбу мою прошу уважить». – «Какую?» – «Пришлите-ка мне, – говорит, – музыкального эксперта-криминалиста хорошего, это по вашей части».

Скоробогатов замолчал, прошелся по кабинету, подсел поближе к Мерину.

– Ты ешь бутерброды-то, не пропадать же. И чай.

– А зачем ему?

– Что «зачем»? – не понял полковник.

– Криминалист музыкальный? Разве инструмент какой пропал?

– Да в том-то и дело. В вашем списке, составленном по словам внука, никакого музыкального инструмента нет, так? А список, как ты помнишь, сорок три предмета, вплоть до кофеварки импортной. Вот и я думаю – зачем? Криминалиста я к нему послал, сегодня после трех договорились, но ведь дело-то мы отдаем, вернее, отдали уже, у нас без них выше крыши, теперь «разбойники-грабежники» этим займутся... Но мне... Меня... как бы это поточнее выразиться... заинтересовало, что ли...

– Я понял, Юрий Николаевич. Займусь. И – как рыба.

Полковник долго, не мигая, смотрел на подчиненного. Произнес с несвойственной ему грубостью: «Сказал бы я, что с тобой хорошо делать. Да язык не поворачивается». Потом сел за письменный стол, достал чистый лист бумаги, написал на нем несколько слов и, улыбнувшись, протянул Мерину.

– Свободен.

Сева сломя голову, сбивая с ног встречных милиционеров и не обращая внимания на их ласковые в свой адрес реплики, проскочил километры муровского коридора, подлетел к своему кабинету Черт! Так и есть: заперто изнутри! Звяканье стаканов выдавало многотрудную «оперативную работу».

Во всем огромном П-образном многоэтажном здании Московского уголовного розыска, занимающего несколько кварталов улицы Петровка, нет и, по свидетельствам старожилов, никогда не было ни одного помещения, где бы нуждающийся в уединении человек мог расположиться и предаться размышлениям.

Кроме немногих известных.

Самое удаленное от высоких начальственных кабинетов и в силу этого редко используемое и занял Всеволод Игоревич Мерин.

Осторожно (не помять!) дрожащими от волнения пальцами достал из кармана листок.

Развернул.

На белую бумагу синим скоробогатовским фломастером ровными, почти печатными буквами было нанесено несколько слов. Раз, два, три, четыре... девять.

Появления на свет Марата Антоновича Твеленева родители не планировали. Более того, все произошло вопреки их желанию после старательных попыток всеми возможными

способами не допустить развития этого, казалось бы, естественного, Богом освященного процесса продолжения рода человеческого. И виной всему были не черствый эгоизм и детонелюбие Антона Игоревича и Ксении Никитичны Твеленевых.

Они поженились рано – ему только-только исполнилось двадцать, а ей не было восемнадцати. В советском ЗАГСе их не приняли, заявление разорвали, стыдили, обещали сообщить по месту учебы, приходилось встречаться тайком, урывками. Гражданские браки в те времена не поощрялись, за подобный разврат можно было и из комсомола вылететь. И сколько они себя помнили – с первого же поцелуя, с первого переплетения и странно-сладостного ощущения себя единым целым – они, не признаваясь в этом друг другу, мечтали об им одним только принадлежащем крохотном живом существе.

Три с лишним года их надеждам и неумелым стараниям не суждено было сбыться.

А потом началось страшное – война. И в одночасье все изменилось: думать предстояло о спасении своих жизней, а не о зарождении новых.

Антон ушел на фронт и год без малого, до июня 42-го о нем не было известий.

Ксения Никитична поначалу одиночествовала с видимой легкостью, сутками работала на заводе, спала по три часа, исхудала до родительской неузнаваемости (однажды родная мать помогла какой-то упавшей женщине донести ведро с водой до подъезда и пошла дальше, не признав в ней дочь). К концу 41-го все ее сослуживцы уже что-нибудь да получили с фронта: кто похоронку, кто весточку жизни, счастья, надежд... Она – ничего. И тогда пришло решение – туда же, к нему, в это незнакомое, страшное пекло.

Взяли ее без вопросов – всем было ни до кого: готовились к самому худшему.

Она, вынося из-под пуль, перевязывая, спасая раненых излазала на животе все Западное Подмосковье: Солнечногорск, Клин, Волоколамск, Лотошино, Рузу, Можайск, Наро-Фоминск... – не перечтешь. Вглядываясь в небритые, измученные болью, окровавленные солдатские лица, видела, сколько их, молодых, старых – всяких, – навсегда останется здесь без братских даже могил, слегка припорошенные лишь белым саваном снега; и сберегая в памяти весь этот кошмар как спасение от последней и самой страшной потери, она тем не менее продолжала верить, ждать и иступленно, бессознательно сутками напролет как молитву повторяла: «Где ты? Где же ты? Где же ты? Где ты? Где? Где? Где?..»

И когда в первый месяц лета страшного еще, о победе не помышляющего, миллионами непогребенных тел корчащегося 1942 года волею Волшебной Судьбы они оказались вместе – ни авианалеты, ни бомбовые взлохоты, ни грязь и кровь, ни даже неизбежность скорой разлуки (надолго ли? нет ли? навсегда?) – ничто не могло разомкнуть их объятий, оторвать друг от друга, заставить прервать безумие свалившегося на них счастья, осознать, наконец, неизвестность предстоящего, которое через мгновение может обернуться небытием.

Господь же давно слышал их мольбы о первенце, но, видимо, все как-то руки не доходили, слишком часто рожали в те счастливые (как многим тогда казалось) предвоенные годы, всем сразу помочь не споспешествуешь. А тут простаивать приходится, больше года уже бездействовать – не хотят исполнять материнский долг свой под пулями да танками те, кому рожать предназначено – как тут не помочь страждущим.

Но не подрабсчитал малость Всемогуший, не учел одной малости: убивают друг друга народы, никак уняться не могут, может, и не уймутся вовсе, пока всех себя не уничтожат. И тогда – конец света. Не до размножения.

Война – забава кровавая и смертный труд – делала нежелательным появление на свет Марата Твеленева.

– Ты, если что – не паникуй, слышь? Не время сейчас, успеем. Медицина пусть решит, – в короткие минуты передышек увещевал истосковавшийся по своей молодой жене начинающий композитор, – победы дождемся, да? Все еще будет.

Молодая жена и не паниковала.

Антон Игоревич после сладких, легкой контузией заслуженных медовых дней, безвылазно проведенных в супружеских покоях, вновь отбыл к местам убиения врагов Отечества, а забеременевшая-таки Ксения Никитична весьма не скоро, в силу неопытности,

обнаружившая и утвердившаяся в серьезности своего положения, во все тяжкие пустилась исправлять нежелательную прискорбность. В ход было пущено много стараний: были задействованы как официальные, государственные каналы с научными подходами и методами (безрезультатно: «Поздно, дорогуша, никак нельзя, ни-ни-ни», так и простые доморощенные на уровне: «Завари кислицу, намочи тряпицу, обмотай живот, положи палец в рот, бегай бегом и суши утюгом»).

Все-все точно по предписанному как нельзя добросовестнее проделала горе-роженица: и бегала, высоко поднимая ноги по комнате вокруг стола, и чуть палец свой указательный не откусила, споткнувшись о порожек, и пузырьчатые ожоги на животе нажила... но, видать, под счастливой звездой был зачат будущий наследник начинающего композитора-песенника, если он, стойчески выдержав все ухищрения нетрадиционной медицины, сумел-таки явиться на свет божий точно в предопределенный ему срок в виде ладно скроенного существа мужского пола, весом и размерами напоминающего не самого низкорослого первоклассника.

Этим-то гигантом, неумело завернутым в старую, до дыр застиранную мужнюю ночную рубашку и истошным ором выражающим категорическое неприятие происходящего и встретила счастливая мать своего раньше срока комиссованного, седого почти (не узнать), с черной повязкой вдоль всего лба (о, ужас!), но слава тебе, Господи, живого защитника Страны Советов.

– Как назвала-то? – ревниво вглядываясь в красное сморщенное личико младенца и не находя ни малейшего с собой сходства, спросил Антон Игоревич.

– Так как, Тоша? – Вопросом на вопрос не без обиды в голосе отозвалась Ксения Никитична. – Без тебя разве могла? Чай, не одна старалась.

– Не одна, – неуверенно согласился супруг. – Когда родился-то?

– Так посчитай, Тоша.

– В мае, что ли?

Она улыбнулась невесело, уткнулась в зареванное личико сына.

– Эх ты-ы-ы, «в ма-а-а-е». В марте.

– Ну Маратом и назовем. Не мартом же. Ты как?

– Красиво.

Так на кишащей раненым военным людом платформе Ленинградского вокзала столицы, под неистовые вопли счастья встречающих и стоны перебинтованных калек, между двух обгоревших, прорвавшихся с передовой товарняков состоялись крестины Марата Антоновича Твеленева.

Никогда с тех пор, до самой смерти не могла себе простить Ксения Никитична той отчаянной, до помутнения рассудка доходящей борьбы за непоявление на свет Богом ниспосланного ей счастья. День рождения сына – 27 марта 1943 года – стал самым светлым и одновременно самым трагичным днем ее жизни.

Драка в подмосковном Переделкино на улице имени писателя Паустовского взбудоражила весь поселок. Старожилы – обитатели этого престижного зеленого рая, в основном люди известные, заслуженные, не бедные – были приучены к тихой, размеренной жизни, знали друг друга в лицо, хаживали по праздникам к соседям в гости угощаться настоящими на всевозможных травах заморскими водочками, и если и случались какие незначительные размолвки по вопросам ли литературы и искусства (место это изначально задумывалось как дом творчества советских писателей) или же в силу несовпадения мнений по вопросам политической направленности недавно еще дружественных нам стран, то, как правило, все эти конфликты разрешались тут же за щедро накрытыми столами, без рукоприкладств и выплеска эмоций на улицы через покосившиеся от времени заборы писательских усадеб. Труженики пера со сталинских еще (давних уже) времен приучили себя к осторожности в высказываниях собственного мнения по каким бы то ни было поводам и сохранили эту лагерями выстраданную науку до наших дней – эпохи развитого российского демократизма.

Поэтому случившаяся драка – явление заурядное, даже естественное на просторах постсоветских мегаполисов – здесь смотрелась как что-то чуждое, почти экзотическое, перенесенное из нашего телевизионного сериального беспредела. Немногие любопытные смельчаки, рискнувшие с безопасного расстояния наблюдать за разворачивающимся действием, как могли успокаивали не в меру разнервничавшихся соседей.

– Да что вы мне говорите – драка! Какая драка? Кино снимают. Вон же она в кустах, камера-то! Не видно, что ли? – шепотом убеждала подслеповатая интеллигентного вида старушка. – А этот, в крови – это же... как его..? Ну этот... Вылетела фамилия...

– Гоша, что ли?

– Ну! Именно! Фамилия вылетела... Украинская... Конечно, он. Гоша. Он всегда наголо побрит и в крови. Варенье это...

Но, увы, никакой «камеры в кустах» и тем более никакого «Гоши с вареньем на лице» не было и в помине. Между тремя молодыми людьми шла самая что ни на есть настоящая бескомпромиссная драка. Не махание кулаками с целью доказать превосходство перед очами зачарованных девочек, каковое нередко случается в среде неоперившихся школяров, а кровавая бойня, конечная цель которой если и не лишение противника живота, то как минимум переводение его в состояние пожизненной инвалидности. Два Шварценеггера, не жалея кулаков, методично избивали неумело сопротивляющегося длинноволосого «не Гошу». И не будь лицо его залито кровью, переделкинские старожилы без труда признали бы в нем сорванца-Антошку, – двадцатидвухлетнего внука Антона Игоревича Твеленева – композитора-песенника, 1918 года рождения, недавно отпраздновавшего свой нереальный для нашего быстротечного времени юбилей.

Побоище возникло неожиданно, без каких бы то ни было нередких в таких случаях преамбул, типа: «Ты говно!» – «Что!?!» – «Говно!» – «Я!?!» – «Ты!» – «Повтори!!» – «Говно!» – «А в морду?!!» – «Попробуй». – «На-а-а!!!» И в морду. Нет, ничего подобного не было. Два прилично одетых битюга налетели на Антона Твеленева сзади у самой калитки его дома, несколькими ударами сбили с ног и, выкрикивая нечасто употребляемые печатными изданиями выражения, принялись молотить кулаками по чему попало: голове, лицу, спине и ниже.

И все могло закончиться для молодого человека весьма плачевно, если бы не счастливый случай.

– Ну, что я говорила, а? Что? А то я не знаю, как кино снимают! Говорю – клюквенное варенье, всегда так делают: ему лицо клюквой мажут!

– Кому? – робко поинтересовался кто-то из своего укрытия.

– Гоше, кому же еще? Фамилия только вылетела. – Интеллигентная старушка решительно перешла с шепота на красивый баритональный бас. – Вон и режиссер бежит, видите? О, как руками машет! Тоже небось играет кого-то, сейчас все режиссеры сами играют. Сейчас второй дубль снимать начнут.

И тут перед глазами потерявших бдительность и потому повывлезших из своих укрытий переделкинцев явилась картина поистине, как принято говорить, достойная кисти: неизвестно откуда возникший долговязый, не богатырского тела «режиссер» подскочил к объётому злобным азартом клубку кулачников, ветряной мельницей завертел длинными руками в разные стороны, и – не сразу, не без определенных потерь для самого себя совершил маленькое чудо – клубок этот стал распадаться, тонуть на глазах, пока, наконец, не разделился на равные части: двоих, со всех ног уносящих с поля брани свои натруженные тела, и двоих, оставшихся не в слишком благополучных позах возлежать на дороге.

Замечено с незапамятных времен: счастье никогда не приходит в одиночку. На этот раз справедливость подобного утверждения обернулась для Антона Второго, как его с рождения величали в семье, не только сказочным появлением незнакомого спасителя в самое нужное время в самом нужном месте, но и почти полным отсутствием в данный момент в его загородном обиталище многочисленных родственников, что гарантировало возможность избежать (хотя бы на какое-то время) расспросов, истерик, обмороков и сердечных

приступов с их стороны. (Под «почти отсутствием» подразумевались мало что соображающая из-за недавней московской кражи коллекции фарфоровых статуэток тетка Надежда и ее несовершеннолетняя дочь Антонина, в силу возраста увлеченная исключительно собственной персоной.) Поэтому появление в доме двух грязных, помятых, в кровавых ссадинах и шрамах молодых людей достаточно продолжительное время оставалось незамеченным, и можно было при определенном тщании попытаться успеть привести свои внешние данные в привычный для окружающих вид.

А перед этим почти идиллическим завершением инцидента прямо посреди дороги между молодыми людьми произошел скупой мужской обмен мнениями. Первым очнулся долговязый «режиссер».

– Живой?

Антон предпринял попытку презреть скрутившую суставы боль, но та, видимо, недовольная неуважительным к себе отношением, вновь прижала его к земле.

– Не уверен.

– Помогу?

– Если удастся.

Держась друг за друга, они не без труда перевели себя в вертикальное положение.

– Кто это был?

– Хрен их знает. Первый раз вижу.

– Задолжал, может?

– Да нет вроде.

– Оригинально.

Тем временем осмелевшие переделкинцы приблизились к пострадавшим на безопасное расстояние и наперебой ринулись с советами.

– Не наши это, чужие. Звоните в милицию. Я наших всех знаю.

– А где разница – чьи? Наши что, лучше?

– Лучше. Вот телефон – 03 набирайте.

– 03 – это пожар. 01 надо. 01 – милиция.

– «Скорую» надо, какая милиция – их след простыл давно. «Скорая» – 04.

– 04 – неотложка.

– И где разница? Набирайте.

– Ой, ужас какой, крови сколько!

И, не сговариваясь, все разом ополчились на интеллигентного вида старушку.

– Молчали бы – варенье!

– Да уж, что бы понимала, а то: кино, кино. Стыдно, честное слово.

– Никогда не лезьте – людей чуть не убили. Вар-е-е-нь!

– Уходите, если не в курсе. Уходите отсюда.

– Правда что. Давайте, давайте. А то – кино! Из-за вас все.

Недовольство старушкой угрожающе нарастало. Та же, к своей чести, обвинителям не перечила и только, видимо, сама, чувствуя свою вину, сокрушенно качала головой.

Один из пострадавших предложил.

– Надо ухаживать... Тебя как?

– Севои.

– Меня Антон. Надо смываться, Сева, пока не поздно, а то эти недоделкинцы хуже всяких качков отшлифуют. – Он, хромая, подковылял к калитке, повернул ключ в замке. – Зайдем – хоть умоешься.

– Почему «недоделкинцы»?

– А как еще? И деревня Недоделкино, и эти – недоделкинцы. Им каждому под сто, как деду моему, три дня назад юбилей отметил. Крепкие еще, как черти, но недоделанные: всюду нос суют, жизненным опытом поделиться норовят. Телевизора им мало – сенсаций подавай! Этой нашей дракой неделю жить будут, косточки обсасывать.

Они прошли по бетонной дорожке к мрачному, по всей видимости, много десятилетий

не ремонтировавшемуся дому. В дверном проеме застекленной витражами террасы стояло животное, размерами и окрасом напоминавшее годовалого бегемота. Какое-то время оно недоуменно изучало разорванное платье хозяина, затем перевело взгляд на его спутника и, не двигаясь с места, негрозно зарычало.

– Замолчи, Ху, не показушничай, раньше надо было заступаться. Знакомься: это Сева.

Животное вильнуло коротким хвостом, потом село на него и протянуло незнакомцу левую лапу.

– Как ты его назвал?

– Ху.

– Это как понять?

– Расскажу при случае. Проходи, не бойся, мы давно уже не кусаемся, да, Ху? Садись. Выпьешь? – И, не дожидаясь ответа, крикнул в глубину дома: – Тошка, принеси коньяк, у меня в кабинете в баре.

Затем он лег на обитую вытертым ковром кушетку и закрыл глаза.

Мерин огляделся.

Терраса, по всей видимости, служила семье летней столовой: главным предметом здесь был покрытый белой скатертью раздвижной круглый стол со множеством разностильных стульев вокруг; вдоль стен и окон располагались кресла, тумбочки, «горка» с хрустальной посудой, две старинные этажерки с книгами, кушетка с подушками и валиками по краям, два готовых к прогулкам велосипеда, меховая подстилка для собаки, телевизор «СОНИ», несколько ветвистых фикусов в напольных горшках и еще какие-то предметы красного дерева с инкрустацией, определить назначение которых без специальных познаний в области старинной мебели было весьма затруднительно; стену украшали подлинники картин известных в свое время приверженцев социалистического реализма в багетных рамах; местами потрескавшиеся витражные стекла погружали пространство в разноцветный костельный полумрак. Все вокруг свидетельствовало о недавнем (ныне изрядно запущенном) советском благополучии.

Это он установил.

Ну и что дальше?!

Для этого он изобретал свой «конгениальный» план внедрения в твеленевскую обитель?

Для этого долго уламывал известных в МУРе хорошим владением боксерскими приемами сотрудников Ивана Каждого и Ивана Белова принять участие в этом анархистском предприятии за солидное вознаграждение?

Для этого рисковал своим добрым именем и служебной лестницей (если дойдет до начальства – ему несдобровать, а исключать такую возможность было непозволительным легкомыслием, учитывая, что его отношения с Ваней Каждым, недавно переведенным в их отдел под скоробогатовское крыло, никто не брался называть дружескими).

Время шло, а между тем никакая «Тошка» ни с каким коньяком ниоткуда не появлялась, и надежд на углубление «внедрения» в пострадавшее семейство было немного.

Ху, похоже, давно потерял к нему интерес – закрытые глаза и мерное похрапывание служило тому подтверждением.

Новый его знакомый лежал неподвижно, ни единым звуком не выдавая своего присутствия: было вообще непонятно – жив он или скончался от полученных побоев. (А то, что «Шварценеггеры» переборщили – сомнений не вызывало: в крови и ссадинах был не только молодой Твеленев, но и он, Мерин, с непроходящей болью в области печени, свернутой скулой и наверняка немалым синяком под глазом, который к завтрашнему дню, как пить дать, приобретет соответствующие размеры и цветность. И как прикажете являть себя пред ясны очи Скорого? А что врать бабушке? «Споткнулся, упал, поднялся – гипс»? Так она наверняка видела это кино. Нет, сомнений никаких: подонкам, особенно Каждому, конечно же не поздоровится, ответ наш будет страшен, господа, но что делать сейчас?)

Похоже, пора признавать временное поражение и сматывать удочки.

И тут раздался тихий голос Антона:

– Ху, я просил Тошку принести коньяк или мне это приснилось? Пойди выясни, в чем дело.

Животное (поверить в подобное было невозможно) покорно поднялось и нехотя направилось по лестнице на второй этаж. Антон, не открывая глаз и не меняя позы, обратился к Мерину:

– Сева, ты как? Оклемался?

– Да вроде ходячий.

– Спешешь?

– Не очень.

– Извини, я еще полежу чуток: голова пока не варит – ребята работали добросовестно. Туалет и ванную Ху покажет. Полотенце Тошка выдаст, сейчас явится. Хочешь прилечь?

– Нет. Может, правда, «скорую»?

– Тебе?

– Тебе.

– Не дай бог: недоделкинцы перемрут все от любопытства. Не надо им такой радости.

Прошло еще несколько минут, прежде чем Антон опять заговорил:

– А вот и Антонина Аркадьевна, не прошло и часа. Вас, мадам, за смертью посылать.

Это относилось к спускающейся вслед за животным по лестнице молодой девушке в мини-мини-мини-юбке и катастрофически не достающем до пупка топике.

– А вам, мсье, лишь бы было кем помыкать: сами поднять свою... ой, здравствуйте, – она задержала оценивающий взгляд на Мерине, картинно присела в книксене, – я не знала, что вы не один, мсье. Какие еще будут указания?

– Поставь коньяк на стол, достань две рюмки, дай гостю чистое полотенце и вали отсюда.

Возмутиться девушка не успела: от природы и без того немалые в диаметре круглые глаза ее, остановившись на окровавленном антоновом лице, его грязной, разодранной одежде, расширились до размера кофейных блюдечек. Начала она с придыхательного шепота: «Тоша, господи, Тоша, что с тобой? Что это, Тошенька? Что случилось, Тоша-а-а?!»... И продолжила, дав волю богатым для своего возраста голосовым данным: «Мама, ма-а-а-ма!!! Пойди сюда, мама-а-а-а, Тоша... Тоше плохо, мама-а-а!..»

– Не ори, дура. Хорошо мне, хорошо, понятно? Хо-ро-шо. Закрой рот и делай, что тебе велят. Ну?

– Тошенька...

– Я кому сказал – не ори? У нас болят головы. – Он осторожно приподнялся на кушетке, опустил ноги на пол. – Ты представилась моему другу? Нет. Почему? Вот, прошу любить и жаловать: Сева, а для тебя Всеволод... тебя как по батюшке?

– Игоревич, – улыбнулся Мерин.

– Всеволод Игоревич... а фамилия?

– Мерин.

– Вот, познакомься: Мерин Всеволод Игоревич. Ну – теперь раскрой рот, скажи нам что-нибудь. Я, если не запомнила, Антон Маратович Твеленев, к сожалению, брат твой, к счастью, не родной, двоюродный. А ты?.. Ну?.. Антонина... Нет, не получается. Ладно. Иду на помощь. Сева, познакомься, это моя сестра, к счастью, только двоюродная, Тошка Заботкина, шестнадцати лет от роду, пытается в текущем году закончить школу и на этом, надеюсь, завязать с образованием, ибо постижение наук дается нам с непостижимым трудом. В жизни исповедует три вещи: себя, себя и себя. Я прав, Антонина Аркадьевна? Закрой рот, если ничего не произносишь. – Он повернулся к Мерину. – Выпьем сначала или умоешься?

– Я бы помылся...

– Ху, покажи гостю туалет и ванную комнату.

В это невозможно было верить, но животное, удобно перед тем расположившееся на меховой подстилке, что-то недовольно пробурчало и направилось в кухню. Потрясенный

Мерин двинулся следом.

Музыкальный эксперт, как и обещал начальник с Петровки, до которого старому композитору Антону Игоревичу Твеленеву удалось накануне дозвониться, появился в доме 18 по Тверской улице в начале четвертого пополудни. Он долго звонил в единственную на всей лестничной площадке обитую малиновой кожей дверь со множеством расположенных на ней «глазков», даже заглянул в один из них, пока не услышал наконец недовольно-ворчливое: «Кто там?»

– Это Самуил Исаакович Какц.

В жизни музыкального эксперта с тех пор, как он, в силу возраста, был вынужден представляться незнакомым людям полным именем и фамилией, еще не случалось, чтобы его не переспросили: «Простите, как вы сказали?» И в данном случае ничего нового не произошло – из-за двери после продолжительной паузы раздалось: «Чего-о?!»

– Да, да, именно Какц. Не Кац, как можно было предположить, а Какц Самуил Исаакович, – он звонко засмеялся, очевидно, чтобы несколько снизить бестактность прозвучавшего из-за двери вопроса, – музыкальный эксперт.

– Зачем?

– Ну-у-у, как вам сказать, э-э-э... – быстро Самуилу Исааковичу найтись не удалось, – по всей видимости, что-нибудь... э-э-э... исследовать. Вызван композитором Твеленевым Антоном Игоревичем...

Щелкнуло несколько замков, и в удерживаемом цепочкой проеме возникло испуганное старушечье лицо.

– Вы кто?

– Музыкальный эксперт. Какц Самуил Исаакович.

– А по фамилии как?

– И по фамилии тоже Какц, но, если трудно, – решил не упорствовать пришедший, – просто Кац. Доложите, пожалуйста, Антону Игоревичу.

– Антон Игоревич отдыхают. Плохо себя чувствуют. Передать что?

– Я, собственно...

– До свидания. – Резюме прозвучало категорично, дверь захлопнулась, но уйти музыкальный эксперт не успел. Откуда-то издали до его слуха донеслось: «Нюра, кто это был?» – «А Бог их знает. Сказал, что Кац». – «Пусти, это ко мне». – «Надежда Антонна никого не велели». – «Пусти, говорю!» – «И Марат Антонович тоже...» – «Я тебе сейчас покажу Марата Антоновича! Сейчас же впусти человека!»

Опять зашаркали подошвы, залязгали замки, дверь на этот раз уже без цепочки неширокой щелью пригласила гостя войти.

– За мной идите. – Держась от эксперта на почтительном расстоянии, чем-то насмерть напуганная старушка повела его по коридору. – Вон дверь, – заключила она шепотом. – Не долго. Болеем.

Композитор-песенник Антон Игоревич Твеленев возлежал на широком кожаном диване. Он не сделал попытки встать навстречу вошедшему, не предложил ему стул, не выразил удивления, когда тот произнес свои ФИО, не представился в ответ. Он только протянул руку и боксерски безжизненным пожатием дал понять, что ему не до этикетов, что умирает, а дело не терпит.

А чувствовал себя недавний юбиляр действительно как никогда ужасно: болела грудь, нещадно ломило поясницу и, вдобавок ко всему, вчера неожиданно заныла фронтальная еще, более чем шестидесятилетней давности рана на лбу. Эта злополучная метина нашла его в конце 1942-го под Курском в бревенчатом блиндаже, куда и залететь-то никакие пули и снаряды практически не могли: для этого им пришлось бы продвигаться по синусоидной траектории. Ан поди ж ты: невесть откуда взявшийся размером с хороший кулак осколок пересек пространство полевого военного убежища и конечной целью выбрал его, Антона Игоревича, голову Хирурги впоследствии утверждали, что подобное везение граничит с

мистикой: доля миллиметра в любую сторону и не знать бы Стране Советов знаменитой песни «Вперед, страна, за Сталина!», написанной в порыве патриотического вдохновения именно в госпитале чуть ли не на следующий день после сложнейшей операции. Пять часов без особой надежды на успех бились фронтовые эскулапы над вяло подававшим жизненные признаки солдатиком, но труды их были-таки вознаграждены: продлить земное существование будущему лауреату многочисленных премий и званий кудесникам скальпеля наконец удалось, правда, не без потерь для пациента – лицо его было испещрено многочисленными глубокими шрамами.

Десять месяцев после этого он с переменным успехом балансировал на больничной койке между жизнью и смертью, дважды впадал в коматозное состояние, пока, наконец, судьбе его не стало угодно вынести окончательный вердикт: жить!

С тех пор много воды утекло, безобразные, до неузнаваемости уродовавшие лицо раны поутихли, зарубцевались, сгладились, а та, пожизненная, что глубокой колеей разделила лоб надвое и непрерывным движением кожи обозначала мозговой пульс, напоминала о себе трудно переносимой болью нечасто, исключительно в моменты высоких эмоциональных проявлений.

Последний раз подобное с Антоном Игоревичем случилось в день кончины его супруги, Ксении Никитичны, шестнадцать лет назад: врачи, больница, реанимация, кома. Было ему тогда 74 – думали не выдюжит.

Но обошлось: через месяц пришел в себя, с недельку еще повалялся в «кремлевке» и на год прочно обосновался на переделкинских просторах – дышал кислородом, баюкал себя сельскими пейзажами, в Москве за это время не появился ни разу. Okреп, поздоровел, забыл о гипертонии и подагре. Еще через какое-то время стал наезжать в столицу, посещать всевозможные творческие семинары, до которых был большой любитель, концерты, песенные фестивали... Страна широко и богато отметила его семидесятипятилетний юбилей – старое партийное руководство молодой демократической России спешно заигрывало с попираемой недавно еще советскими властями интеллигенцией – к нему вернулось творческое самочувствие, о чем свидетельствовало появление в теле-и радиоэфирах множества новых, залихватских, написанных в ритме маршей, песен. Жизнь вошла в прежнее русло и потекла неспешно, весело и бездумно, как в фильме «Волга-Волга» режиссера Григория Александрова.

Но самое невероятное, прямо-таки потрясшее родных и близких композитора, – это то, что он, обожавший свою «Ксюню», чаще в прямом, чем в переносном смысле носивший ее на руках и потакавший всем ее прихотям, после своего выздоровления ни через год, ни через десять – до сих пор – так ни разу и не побывал на могиле жены и даже не знал, где она похоронена.

Домочадцами эта тайна обсуждалась бурно, долго, шепотом, годами почти ежедневно высказывались и опровергались самые разные версии – от потери у старика памяти до полного помутнения рассудка, но постепенно все склонилось к тому, что причина такому необъяснимому, на первый взгляд, поведению главы клана Твеленевых банальна, «земна» и в общем-то понятна – элементарная забота о собственном здоровье: тяжелая фронтовая контузия в стрессовых ситуациях напоминает о себе сильными головными болями и пожилой человек старается оградить себя от каких бы то ни было треволнений.

Действительно, с тех пор, уже шестнадцать лет, Антон Игоревич не страдал никакими рецидивами.

И вот неожиданно это злополучное ограбление московской квартиры, к которому на словах композитор отнесся философски и даже с юмором, обернулось возвратом ужасающей боли.

Со вчерашнего дня, как только его привезли с дачи, не случилось минуты, чтобы острые ржавые гвозди не впились бы ему в мозг и не устроили там безобразной броуновской оргии, отчего спазмы сжимали горло, а глаза силились покинуть орбиты.

Прибывший же музыкальный эксперт – невысокого роста человек с безукоризненно

круглой лысиной и таким же круглым животиком – как назло оказался обладателем неправдоподобно высокого и сильного голоса, к тому же по характеру, видимо, человеком чрезвычайно веселым и смешливым. Каждую свою фразу, представляясь и объясняя опоздание, он сопровождал заразительно звонким хохотом, чем доставлял бедняге композитору невыносимые страдания.

– Не извольте гневаться, свет Антон Игоревич (ха-ха-ха), пробки на дорогах, как в хорошем шампанском (ха-ха) – забиты на совесть (ха-ха-ха-ха). Позвольте представиться: Самуил Исаакович Какц – русский по паспорту (ха-ха-ха...). Не КАЦ, как можно бы было предположить, а, прошу заметить – КАКЦ! Две буквы «ка»! (ха-ха...) Представляюсь как-то одной барышне: «Самуил Какц». А она говорит: «Извините, какЦ вы сказали?» – И он зашелся в долгом, залиvistом хохоте.

Вызывая на дом эксперта с Петровки, Антон Игоревич отчетливо понимал, что тем самым ступает на смертельно опасную тропу, один неверный, неосторожный шаг, с которой может обернуться непоправимой трагедией не только для него самого (десятый десяток – чего бояться?), но и надолго испортить репутацию всему немалому настоящему и будущему роду Твеленевых. И тем не менее он пошел на это сознательно, безоглядно, с поднятым забралом: так уж был скроен, так рожден, таким был с тех пор, как себя помнил: желание довести задуманное до конца – каким бы горьким, жестоким, а порой и безрассудным оно ни было – всегда превалировало над разумом. В целом мире не существовало такой силы, которая могла заставить его изменить принятое решение.

И на этот раз мосты были сожжены и отступать он не помышлял.

– Скажите, Самуил Исаакович, вы давно на этой службе? – Чтобы прервать не в меру развеселившегося музыкального эксперта, ему пришлось несколько раз хлопнуть в ладоши.

– С молодых ногтей, как говорят, хотя, если признаться честно, никогда не знал, что означает это выражение. Каких ногтей? Почему ногтей? (ха-ха-ха). – И без какой бы то ни было логической связи продолжил: – Никогда не мог даже предположить, что судьба уготовит мне посещение обители столь высоко чтимого мною музыканта. Несказанно рад, польщен до невыразимости, потому не буду даже пытаться описать мои чувства. Переполнен. Не выскажу. Семья наша, как легко догадаться, родом не из Версаля (ха-ха-ха), но худо-бедно – за граница: харьковские пригороды (ха-ха-ха-ха!). Отец мой...

– А сами вы инструментом владеете? – Антон Игоревич попытался вклинить в какцевскую смеховую руладу.

– Для себя, под настроение. Не более того. Хотя музыкальная школа, консерватория, симфонический оркестр под управлением Федосеева. Многие прочили будущее. Но – не в «дугу», как говорят мои друзья из уголовки (ха-ха-ха). Пришлось уйти. У меня – признаюсь из огромного к вам уважения – профессиональная беда: слух. Абсолютный слух, черт бы его побрал: слышу каждую фальшивую ноту каждого музыканта. Каждого! От скрипача до ударника! И не могу молчать. Не могу! А вы бы смолчали, соври какой-нибудь, да хоть сам Кобзон, вашу песню? Вместо, скажем, ля-ляляля-ляля-ляля (тут он гнусавым драматическим тенором процитировал фрагмент твеленевского шлягера) спел бы, скажем, ляля-ляля-ля!

Смолчали? Вот и я не мог! Вектор слуха цеплял каждую фальшивую бемольку, и она болью отдавалась в русле моего музыкального чрева. Протестовал, останавливал оркестр, доказывал, пока не выгнали (ха-ха-ха). Но нет худа, как говорится, без чуда: теперь я нарасхват. Во всем мире знают Самуила Какца! – это без рекламы, так есть, поверьте: во всем мире! Отец мой...

Надо было срочно что-то предпринимать, направлять «вектор его красноречия» в нужное для себя «русло», но невыносимая головная боль мешала Антону Игоревичу думать, и задача эта при всей ее кажущейся легкости долго еще оставалась без разрешения. «Мировая известность скрипичной экспертизы» успела раскрыть плохо соображающему композитору всю свою родословную, начиная чуть ли не со времен воссоединения Украины с Россией, посетовала на политическую недалекость нынешних руководителей обеих стран, по живому разрезавших миллионы родственных связей, поделилась своей, не бог

весть какой счастливой, личной жизнью, сведенной к нередким, но, по большей части, недолговременным связям и еще много чем успела поделиться мировая известность скрипичной экспертизы, прежде чем хозяину дома удалось-таки перехватить инициативу. Он достал из нагрудного мешочка-ладанки небольшой ключ и протянул его Какцу.

– Она в шкафу, вот – откройте, мне трудно вставить.

– Ах, как вы прекрасно сказали: «Она». Впервые слышу, а ведь, кажется, рядом лежит: это же и впрямь не предмет – живое существо: дышит, понимает, чувствует. Уникально сказали. Запомню и буду цитировать с вашего разрешения. – Он засуетился, вынул из шкафчика большой, завернутый в черный бархат футляр. Развернул неспешно, провел ладонью по корпусу. – Никогда, наверное, не перестану волноваться перед подобной встречей: это для меня воистину икона, прости, Господь, раба твоего грешного, несмышленного, – Самуил Исаакович троекратно перекрестил себя, – но недаром известно: не зазвучит скрипка, не запоет, не заплачет, пока мастер не отдаст ей всего себя – сердце, кровь, душу, веру. На этот великий труд – Божье предназначение. Не многие сподобились на сию благодать, потому и по пальцам их перечесать – одной руки хватит. И цены ей, царице звука, – в привычном, нашем, людском, грубом денежном выражении – нет! Не придумано мерило, потому как тайна ее рождения равна великой тайне происхождения всего живого на Земле.

На этих словах Какц щелкнул замочком футляра, загадочным жестом факира отклонил крышку его и замолчал надолго, словно загнипнотизированный матовым темно-коричневым блеском возлежащей в нем мумии.

Возникшая столь неожиданно пауза громом обрушила на голову композитора законный многомашинный гул.

Антон Игоревич до зубовного скрипа сжал челюсти, закрыл глаза: на какое-то мгновение ему показалось, что сознание его покидает. Он сделал над собой невероятное усилие, оперся на локоть, опустил ноги на пол. Сел. Огляделся.

Самуил Какц держал скрипку в отставленных далеко перед собой дрожащих ладонях, отчего та, оживающей птицей раскачиваясь и подрагивая вместе с ними, казалось, вот-вот обретет самостоятельную жизнь и упорхнет в форточку. При этом лицо музыкального эксперта белело мраморной неподвижностью, а готовый воспламенить все окружающее взгляд наводил на мысль о нешуточном психическом расстройстве несчастного.

«Что это? Юродство? Несомненно. А словесная преамбула? Цель? Расположить? Войти в доверие? Успокоить? Отвлечь? Похоже. Зачем? Кто этот русский по паспорту? Эксперт? Или по совместительству следователь? Если первое – берет взятки без зазрения. Если второе – берет, но на порядок выше. Сколько? И как это сделать, чтобы помалкивал в тряпочку? И надо ли? И кто его, Антона Игоревича, спасет, если...»

Немые вопросы в больной голове композитора рождались хоть и с трудом, но намного легче, нежели ответы на них. Неизвестность оборачивалась пыткой. Хирургическое вмешательство, на которое он решился добровольно и которым так беспощадно изнуряет себя – это подтверждается сердечными перебоями – должно быть закончено немедленно, сейчас же, сию секунду или ему не хватит кислорода – он задохнется. Или взорвется грудная клетка, кровь разрушит плотины сосудов, и все обернется посмертным фарсом. Или...

И тогда, волшебным образом угадав состояние девяностолетнего пациента, Самуил Исаакович отложил в сторону скальпель, ловкими стежками зашил кровоточащую рану и произнес едва слышимым на фоне тверского моторного разгула шепотом:

– Или вы хотите мне что-то сказать?

К этому времени он завершил наконец акцию водружения скрипки на прежнее место, закрыл футляр и в изнеможении откинулся на спинку стула.

Нет, Антон Игоревич ничего говорить не хотел. Он хотел услышать. Услышать! Причем одну (только одну!) единственную фразу: «Да, это ОНА». И тогда можно будет продолжать бесцельное и столь затянувшееся сражение с жизнью. Хотя бы еще немного. И побеждать, когда никто уже, кроме него самого, похоже, этого не хочет. И он, вонзившись взглядом в эксперта, молчал умоляюще яростно.

– И что уже вы хотите от меня слышать? Мои нервы на исходе: я держал в руках 17 век. 17-й!!! Я должен отдыхать. Надо прийти в себя. Простите. – Самуил Какц вынул из нагрудного кармана носовой платок, прикрыл им глаза и, прежде чем продолжить, несколько минут сидел без движения. – Если бы у меня были слова – я бы их кричал, но у меня их нет. Скажу только: и кленовые пластины, и круг, и мальтийский крест, и (АС) в круге, и струны – кишки ягненка, а главное – великая тайна тайн скрипичного искусства – лак – девяностые годы 17 столетия. И все это я впервые в жизни только что держал вот в этих руках. – Он протянул перед собой потные ладони. – Видите – они дрожат? И это не Паркинсон – это пиетет перед гением маэстро.

Затем он неожиданно резво вскочил со стула, схватил в охапку свой чемоданчик, сбежал по ступенькам в сад и только оттуда крикнул: «А то, что это великий Антонио, так же бесспорно, как и то, что вы, простите за фамильярность – Антон. Уже поверьте Самуилу Какцу».

Больше композитор Твеленев его никогда не видел.

Мерин через две ступеньки миновал подземный переход, завернул в арку двора и застыл в изумлении: из подъезда его дома выходил... Нет, этого не могло быть, потому что этого не могло быть никогда – ни по определению, ни по закону, ни по понятиям, ни даже по стечению обстоятельств – никак этого не могло быть. Просто подонок Каждый с товарищем повредили-таки ему голову и как результат – нормальная галлюцинация. Или отказал заплывший глаз. Или перед ним двойник – такое случается. На всякий случай он юркнул в соседний подъезд, прикинул здоровым глазом к дверной щели, перестал дышать и в следующий раз наполнил легкие воздухом не раньше, чем это стало жизненно необходимым. К тому времени спина начальника отдела МУРа по особо важным делам полковника Юрия Николаевича Скоробогатова маячила уже далеко в толпе, постепенно уменьшалась в стати и, наконец, вовсе скрылась в прожорливом чреве московского метрополитена. Мерин даже мог поклясться, что его обожаемый начальник, своей неспешной походкой дефилируя мимо него, что-то фривольное напевал себе под нос.

И как это прикажете понимать?

Бабушка Людмила Васильевна открыла ему со словами: «Ну наконец-то, я уже начала волноваться». При этом на лице ее блуждала отнюдь не соответствовавшая какому бы то ни было волнению улыбка, а плечи покрывала роскошная времен советского застойного увлечения итальянским ширпотребом понча.

– Ужин разогреть? – Этот вопрос прозвучал уже из кухни.

– Я сам, спасибо. – Сева подошел к Людмиле Васильевне, обнял ее за плечи, присел, заглянул в глаза. – Что-нибудь случилось?

– Почему ты думаешь? Абсолютно ничего. Просто хотела разогреть ужин, вот и все. Что тут особенного? – Она ласково стряхнула с себя его ладони, кокетливо поправила идеально уложенную прическу и со словами: «Прилягу, что-то устала», растворилась в своей комнате.

Больше всего Севу огорчило бабушкино нереагирование на его кровоподтеки и наверняка уже красный, если не фиолетовый, синяк под глазом. Он даже вернулся в прихожую и долго не узнавал себя в зеркале – не испугаться такому лицу мог только человек, крайне чем-то озабоченный.

За тарелкой холодных макарон «по-флотски» отчетливо-подробно возник в памяти весь сегодняшний день. Раннее утро, идиотские Людмилы Васильевнины вопросы, которые и тогда уже показались странными, а теперь и вовсе выглядели не случайными, о чем-то очень много говорящими. (Только вот о чем?) «Как ты, Севочка, относишься к Юрию Николаевичу? А он к тебе, Севочка? Устала, Севочка, пойду прилягу, Севочка...» (Вот и сейчас – устала, прилягу.)

Потом Скоробогатов поручает ему секретное (даже от Петровки!) дело, ему – от счастья, не иначе – заклинивает разум, и он, идиот (теперь-то уж очевидно, что идиот: могут

ведь и донести или всю жизнь шантажировать, для Каждого это – раз плюнуть), в угаре верноподданнического рвения, чтобы поскорее выслужиться перед начальством, придумывает идиотский план внедрения в твеленевское окружение (теперь-то понятно, что идиотский: могли ведь и искалечить Антона), нанимает двух дебилов (а то, что дебилов, теперь можно не сомневаться) и не добивается ровным счетом ничего, если не считать: а) синяка под правым глазом (кстати, почему под правым? Надо узнать, не левша ли Ваня Каждый, и если да – пора думать об адекватном ответе), б) непроходящей боли в печени и в) ничего не дающего знания того факта, что противная маленькая девчонка Антонина приходится двоюродной сестрой побитого муровцами Антона.

Французский твеленевский коньяк, выпитый на голодный желудок и закушенный тонкими дольками лимона, напомнил о себе некоторой сонливостью. Мерин перешел в свою, как он ее называл, «келью», лег на диван, закрыл глаза. Память продолжала фиксировать события дня. Итак: после второй (или третьей?) удалось разговориться – Антон-младший, не без труда преодолевая неповоротливость сдвинутой со своего природного местоположения челюсти, удовлетворял неуместное, но вполне невинное любопытство гостя ровно столько, сколько тому казалось небезактным. Так удалось выяснить, что необъятный размер дачи – не склонность хозяев к гигантомании, а мера вынужденная, напрямую связанная с количественным составом родственников великого композитора-песенника. «Не поверишь, – вещал внук, – их никому еще не удалось сосчитать, многие не знают друг друга в лицо и встречаются не чаще раза в пятилетку. Но когда собираются вместе – впечатление жутковатое: любой цыганский табор отдыхает. Фамилии у всех разные – от А до Я. По сто штук на каждую букву алфавита. Собственно Твеленевых, кстати, не так много: я, отец, мама, родня двоюродного деда, родня их родни, ну и сами деды, конечно...»

Мерин старался не перебивать собеседника, делал это в исключительных случаях, когда чего-то не понимал, как сейчас: почему «деды» оказались во множественном числе? «А что, отец твоей мамы тоже Твеленев?» – «Нет, он Тыно, эстонец, очень крупный при Советах партдеятель был, до сих пор в фаворе, их вообще очень много, этих Тын, и все почему-то считают себя нашими родственниками. Вот и эта пигалица, – Антон кивнул подбородком в сторону вертящейся неподалеку Тошки, – к примеру, Заботкина, но тоже норовит примазаться к нам, Твеленевым. Небось, хочет из наследства ухватить чего. И тебе не стыдно, крохоборка? Мало тебе своего бизнес-папы?» Та не замедлила беззлобно огрызнуться: «Не отвечаю, молчу, потому что не хочу». – «Не ври, ты всегда хочешь, – парировал двоюродный брат, – врать нехорошо». Девушка вспыхнула, посмотрела на него долгим укоризненным взглядом, сказала негромко: «Дурак». – «Правда? – искренне изумился брат. – Что так? Я имел в виду – ты всегда хочешь спорить, ты спорщица, не более того. А ты что подумала?» – «Это и подумала». – «Правда? А почему зарделась синим негасимым пламенем яко вечный огонь?» – «Дурак», – еще тише повторила Антонина. «Это ты уже говорила. Видишь, Сева, как у нас плохо со словарным запасом».

Мерин прокрутил в памяти этот диалог почти дословно, неожиданно для себя обнаружил, что глупо при этом улыбается, энергичным движением бровей в сторону переносицы посерьезнел. Итак (он очень любил это скоробогатовское словечко «итак»): семейство Твеленевых многочисленно (это плохо), внук композитора словоохотлив (это хорошо), внучка хороша собой (это абсолютно безразлично), ее отец – бизнесмен (нормально). Остаются Антон Игоревич (дед), второй дед (кто такой?), Марат Антонович Твеленев (отец), Надежда Антоновна Заботкина (мать Тошки), Аркадий Семенович Заботкин – ее муж (Тошкин отец), семья мужа (по словам Антона-2, их человек сто) и мать самого Антона-2. И ее родня. И родня ее родни, как тужился острить все тот же Антон-2... В общем, не слабо.

Мерин поменял один затекший бок на другой, усилием воли вернулся воображением своим на веранду твеленевской дачи: вспомнить все до самых последних мелочей, а потом уже сортировать что треп, что стеб, а что можно в копилку. Память подсказала: после примерно десятой стопки французского побитый Антон осуществил неудачную попытку

встать на ноги, закричал и вернулся в исходное (сидячее) положение, произнес при этом: «Уй е-е-е, что же мне теперь – уткой что ли пользоваться? – И обратился к сестре. – Тошка, все равно зря подслушиваешь, ничего интересного не перепадет, сплетница старая, принеси дедову «утку», я писать хочу».

Та произнесла свое традиционное «дурак», тихо всхлипнула и демонстративно вышла в сад.

Мерин насупился.

– И зачем так?

– Как?

– При мне.

– И что?

– Как с маленькой.

Антон долго смотрел на Мерина. Серые глаза его несколько раз меняли оттенок – от почти черного до прозрачно белесого. Выражение лица при этом оставалось неизменным. Сева определил его как «подозрительно-насмешливое удивление». Наконец, он растянул губы в улыбке и произнес вполне дружелюбно:

– Во-первых, она и есть маленькая. А во-вторых... Как бы поточнее выразиться?.. Ты меня сегодня немало, признаюсь, удивил, я твой должник, поэтому хочу говорить только правду, хотя с незнакомыми людьми откровенничают только полные идиоты, к которым я себя не отношу.

Итак. Я разговариваю с моей двоюродной сестрой ерническим тоном, потому что я ее от себя отваживаю: она, видишь ли, в пять лет, в детстве, в меня втюрилась до обмороков и до сих пор мешает моей личной жизни. Я от нее цинизмом спасаюсь. Уразумел?

– Так этим ты ее, наоборот, приманиваешь.

– Чем?

– Цинизмом.

– Как это?

– Ну, с ней ты не как со всеми, значит, равнодушен. А цинизм – от смущения. Так она понимает.

– А ты?

– Что я?

– Ты как понимаешь?

– И я так же.

– Ты что – психолог?

– Вроде.

– Учишься?

– Вроде.

– В институте?

– Вроде да.

– Понятно. – Он неспешно поднялся, держась за стены, направился в ванную. Мерин тоже встал.

– Что, действительно так плохо? Давай помогу.

– Да нет, это я чтобы выдру прогнать.

– Круто ты с ней.

– Приглянулась?

Вместо ответа Мерин почувствовал, что краснеет. Это не осталось незамеченным.

– Вау, и ты туда же! Не советую: будешь последним в десятом десятке. Полшколы в очереди стоит за невинным поцелуем. Не уходи, еще поболтаем, ты, я вижу, разговорчивый: все «вроде» «да вроде».

Вернулся Антон с бутылкой шампанского. Достал из стойки бокал. Крикнул:

– Кошка, пойдись сюда, хватит злиться, старший брат зовет.

Второго приглашения не потребовалось – Антонина возникла из-под земли.

– Видишь, Всеволод, какие мы послушные. Прямо хоть пятерку по поведению. Это, думаю, в твою честь: любим перед молодыми людьми паинькой прикинуться. Да, куколка? Или просто захотела? Я имею в виду – выпить? – И неожиданно обратился к Мерину: – Я тебе спасибо-то хоть сказал?

– Да, вроде.

Антон захохотал.

– Ну ты красноречие-то, Сева, прибереги на время. Говори коротко: «да» или «вроде»? Я серьезно. – Он разлил остатки коньяка, Антонине плеснул в бокал шампанского. – Сказал или нет?

– Не надо «серьезно».

– А несерьезно можно? – И поскольку Мерин вместо ответа неопределенно пожал плечами, обратился к преисполненной благодарности за допуск в мужскую компанию и потому присмирившей сестре. – Вот, Чушка, человек, который, рискуя собой, спас твоего двоюродного брата от как минимум необратимых увечий. Я уж не говорю о самом худшем. Ты меня понимаешь?

– Да, – дрожащими губами пролепетала девушка.

– Ты в неоплатном долгу перед, не побоюсь сказать, подвигом этого человека, должна ему быть благодарна до гробовой доски, потакать всем его желаниям, просьбам и даже прихотям, поэтому сейчас пригубь вместе с нами за здоровье Всеволода Игоревича, затем бегом в магазин, – он достал из кармана купюру, – купи что-нибудь подходящее случаю, сдачу оставь себе и бегом обратно. Задача ясна?

– Да, – по-прежнему еле слышно ответила Антонина.

– Тогда не брызгай в нас синими брызгами, если в морду не хошь. Не хошь?

– Нет.

– Значит, ноги в руки – или наоборот, как тебе удобней, – и вперед, заре навстречу.

Девушка покорно взяла протянутые ею деньги и небыстрым бегом направилась через парк к калитке. Такой ее реакции Мерин никак не ожидал. Помнится, ему настолько неправдоподобным показалось ее гипнотическое повиновение, что он даже предположил что-то вроде родственного сговора.

– Вы что, оба надо мной издеваетесь?

Антон снисходительно улыбнулся:

– Не сложничай, психолог, все гораздо проще: она у нас патологически наивна и доверчива. В детстве ее даже врачам показывали – не сдвиг ли какой. Нет, просто верит всему, что видит и слышит, – такая натура. В жизни тяжело придется. Ну ладно, бог с ней, с Чушкой, пусть живет. Давай, пока ее нет, к нашим баранам, а? Нас-то с тобой из другого мяса лепили, правда? Не всему верим, что нам на уши вешают, чтобы не сказать – ничему. Нет? Я не прав? Я лапшу с детства люто ненавижу, пуще манной каши, так что будем уважать друг друга, идет? Ты мне рассказываешь, кто ты есть на самом деле, кто эти ребята, что вам от меня надо, а я вникаю во все детали и по размышлении зрелом реагирую так или иначе. И разбегаемся. Договорились?..

– ...Сева, ты что, макароны не разогревал?! Ты их ел холодными?! – Вопрос содержал оттенок плохо скрываемого отчаяния. – Зачем ты портишь себе желудок?!

От испуга Мерин чуть не свалился с дивана. Он так увлекся восстановлением подробностей посещения твеленевской дачи, что долго не мог сообразить, где находится и кто это так нагло внедряется в его сознание. Черт, бабушка Людмила Васильевна. Отдохнула и требует общения. Нет, срочно надо куда-то отсюда перебираться – на съемную квартиру, к друзьям, на вокзал наконец, все лучше, лишь бы не здесь. Ни на секунду нигде нельзя сосредоточиться: на работе Трусс с Яшкой, дома – Людмила Васильевна со своими дурацкими вопросами.

Дверь скрипнула, приоткрылась, в проеме образовалась голова урожденной Яблонской.

Нет, это уже слишком: по негласному взаимному уговору, который свято соблюдался как минимум последние лет десять, пороги комнат каждого из обитателей квартиры

непереступаемы для другого. Наглость невиданная. Глаза не открывать, дышать ровно, можно даже чуть улыбаться приятному сновидению.

– Севочка, ты спишь?

Не поддаваться провокации ни в коем случае!

– Ну спи, милый, я пойду пройдуся.

Тоже не слабо: пройдет она, видите ли, в такое время! Ладно, не напугаешь, иди пройди, кто, скажите на милость, позарится на такую гримзу.

Когда щелкнула входная дверь, Сева встал, подошел к окну. Через какое-то время из подъезда вышла Людмила Васильевна, он не сразу узнал ее: в пальто нараспашку, в нарочито небрежно повязанном вокруг шеи ярком шарфе и без своей привычной шляпки-шапокляпки, отчего рассыпавшиеся кудряшки волос, подхваченные порывом ветра, образовали на голове красивый серебряный парус. Она постояла с минуту, посмотрела по сторонам и не спеша направилась в сторону Красной Пресни.

Ну – дела-а-а! Не далее, как на прошлой неделе Мерин в который уже раз выговаривал ей за чудовищный головной убор, умолял снять, выбросить, не надевать больше никогда, если не хочет позора в свой адрес и издевательств в адрес любимого внука. «Поймите, – слезно умолял он, – на меня показывают пальцем – смотрите, вон пошел парень, который жмотится купить родной бабушке нормальную шляпку. Думаете это приятно? Мне стыдно выходить с вами на улицу.

Вы компрометируете российские правоохранительные органы, диссидентка непосаженная... Людмила Васильевна всегда находила оправдания: она теплая, я привыкла, мне удобно, я люблю малиновый цвет... Сева уже было потерял всякую надежду... и вдруг!!! Ну что ж, скажите спасибо, что мне не до вас сейчас. Но особенно-то не обольщайтесь, уважаемая, потерпите: распутаем и эту трансформацию. Всему свое время.

Сева вернулся на диван, лег на спину, кряхтел, ворочался, пытаясь сосредоточиться, до боли щурил глаза, но наглое бабушкино преображение долго еще вытесняло из сознания все остальные события.

...Наконец, возник экран, замелькали предметы, хорошенькая девочка Антонина, выхватив из рук Антона Твеленева тысячную купюру, побежала через парк к калитке, а ее двоюродный брат «заговорил».

– Не удивляйся, психолог, она у нас такая наивная. Но мы-то с тобой из другого мяса скроены, верно? Мало чему верим, чтобы не сказать – ничему. Я лапшу с детства ненавижу, хуже манной каши. Давай уважать друг друга: ты мне рассказываешь, кто ты есть на самом деле, кто эти ребята, что вам от меня нужно, а я по рассуждению зрелом, вникнув во все детали, так или иначе реагирую. Засим разбегаемся. Договорились?

Не слово в слово, конечно, какие-то обороты антоновского монолога претерпели изменения, но ни одна мысль, похоже, не пропущена, можно двигаться дальше. Мерину нравилась его стенографическая память, временами он даже бравировал ею, пересказывая по памяти много дней спустя многословные выговоры и наставления Скоробогатова. Трусс однажды тайно записал на диктофон какую-то очередную выволочку шефа и через неделю примерно потребовал от Мерина ее повторить. И когда тот воспроизвел высказывания полковника почти дословно, небрежно заметил: «Я давно говорю – зачем тебе уголовка? Иди на эстраду. Здесь ты всего-навсего Мерин, а там будешь Мессинг. И бабки другие».

Сева еще раз прокрутил в памяти все сказанное Антоном: да, обыграл его внук композитора, с позором обыграл, как ни кинь. Он-то мнил себя стратегом, планы разрабатывал, синяк вон под глаз схлопотал, печенью поплатился, а его «на раз» раскусили, разжевали и выплюнули. И кто? Аспирантишка-недоучка, можно сказать – ноль в криминальном деле. Невероятно! Как это могло случиться?!

Кое-какие оправдания себя, любимого, конечно же, вертели в уязвленном сознании молодого следователя. А когда возникшие неожиданно височные удары отметились в голове привычными зарубками в голове, но он по обыкновению отложил их расшифровку на потом.

Они оба долго молчали.

Конечно, молчание работало на Твеленева: молчит «спаситель» – значит, прав он, и с каждым мгновением такая уверенность в его сознании крепнет. Мерин это понимал.

С другой стороны, оправдываться, делать большие глаза, бить себя в грудь, отпираться тоже глупо: раз его раскрыли, да еще так лихо, значит, перед ним не наивный мальчик, не на того, как говорится, напал, ничему этот доморощенный Шерлок Холмс теперь не поверит, недаром он только что декларировал свое отношение к лапше на ушах. Сейчас важнее понять, где прокол (или проколы) с его, Мерины, стороны, да такой очевидный, что и дураку (в смысле – непрофессионалу) понятно. Где? В чем? И самое главное: как вести себя дальше с этим двоюродным братом патологически доверчивой сестренки? Послать подальше, хлопнуть входной калиткой и в следующих своих шагах его не учитывать? Можно.

Но столь ненавидимая майором Анатолием Борисовичем Труссом меринская интуиция подсказывала: это будет очередной ошибкой с его стороны.

И он сказал покаянно, скорбной интонацией подчеркивая пиетет перед победителем.

– Антон, ты меня припер к стенке. Поздравляю. Отпусти – дай вздохнуть и размяться.

Тот какое-то время пристально смотрел на собеседника, затем самодовольно усмехнулся:

– Неплохо. Честное слово, неплохо. Не ожидал. Я редко хвалю.

– Ну а чего темнить, если лопатками на ковре? Больно, конечно, но поражение – та же победа, только со знаком минус. Нет? Буду тренироваться. Обещаю. А ты не подсластишь пилюльку, чтобы мне самому ночами не мучиться – мастерством не поделишься?

Антон кряхтя поднялся, достал еще два фужера, умело, с наклоном, наполнил их шампанским.

– Давай, пока Тошка телится. Хотя в народе говорят на понижение нельзя – плохо на голове отражается: вино на пиво – диво, пиво на вино – говно. А народу верить надо, он у нас мудр, все на своем опыте проверяет. Не боишься?

– Очень боюсь, но давай попробуем – авось проскочит.

Антон оценил шутку, улыбнулся:

– Ну давай пробовать.

И, прежде чем выпить, они глядя друг на друга приподняли в знак приветствия бокалы.

– Да какое там «мастерство»? – Твеленеву-младшему явно понравилось меринское определение его проницательности, он даже не отказал себе в удовольствии повторить его. – «Мастерство-о-о!» Наблюдательность – не более. Мальчики твои – артисты неважные, в этом все дело. Ко мне утром двое уже приходили, по документам из МУРа. Разговор получился жесткий, без кулаков, но на грани. Они меня наводчиком московского ограбления объявили, пугали, за наручниками в карманы лазили.

Я их прогнал невежливо, каюсь. Когда эти обалдуи напали, решил – мечь за непочтение к уголовному розыску. Тебя, честно скажу, за случайного прохожего принял, про себя отметить успел: иностранец, должно, какой, не иначе, не свой же. Потом, когда эти суки убегать стали, засомневался: что-то уж больно послушно они ноги делают. Но смотрю – на тебе кровь, глаз всего один остался – своего так едва ли станут. Поверил, поверил, Всеволод, не переживай, профессионально сработал. А вот дальше ты киксанул, прости за откровенность – жадность фраера сгубила. Жадность. Еще налить?

Он не стал дожидаться ответа, внаклонку наполнил бокалы.

– Тебе бы уйти вовремя – вот это было бы красиво. Не то что я – комар носа не подточил бы: помылся, рюмашку коньячку жажнул и гуд-бай, куда шел: ведь куда-то же ты шел? Ну и пошел бы! И я, лопух, весь твой, с потрохами, лапки кверху, в долгу по гроб жизни. Ан нет: ты сидишь и сидишь, сидишь и сидишь. Бутылку убрали, за второй послали, теперь вот этой мочой пузырчатой нектар разбавляем, желудки портим, а ты все сидишь. Тут-то я мозгой и шевелю: что-то мальчику от меня надобно, никак не иначе, причем лучше бы – немедленно. Потому и сидит вопреки логике. Жа-а-адность! Страшная вещь. На ней все шпионы горят, на жадности. И еще на сексе...

– Мне уйти? – Мерин спросил это со смешком, ибо понял, что игра в покаяние выбрана

верно, интуиция и на этот раз его не подвела. «Так-то вот, Анатолий Борисович!»

– Не-е-ет уж, многоуважаемый господин Абель, теперь извольте колотиться: на кого работаете, на сколько разведок, что за дикий способ мордобоем внедряться в чужое семейство – на дворе ведь власть не советская – пресса существует, законы какие-никакие, на худой конец – международный суд, за такие дела и посидеть можно несколько годиков, не говоря уже о шкурке карьерки: навсегда может стать прострелянной. Я не сложно выражаюсь?

До прихода Антонины с двумя бутылками коньяка («Две-то зачем, идиотка?» – «Одну выпьете, другую в свой бар поставишь, как было. Никто ничего не заметит. Не права?» – «Ну что сказать, стратег! Я теперь тебя Стратежкой называть буду: садись, Стратежка, с нами, заслужила, видишь, тебе шипучки оставили»), Мерин успел подробно рассказать Антону обо всем, что заставило его предпринять столь экстраординарные меры по внедрению в интересующее его семейство («Понимаешь, дело передали другому отделу, а они там мышей не ловят, по горячим следам никогда ничего не успевают, и вообще у них 85 процентов висяков»); о том, что побудило его, профессионала с Петровки, так необдуманно поспешно осуществлять знакомство с ним, представителем клана Твеленевых, что даже непрофессионалу не составило труда вывести его на чистую воду; о том, что сегодняшние утренние посетители – хамы и дилетанты именно из того отдела, которому и передали московскую кражу («Еще 1:0 в твою пользу, Антон, что не поддался на их провокационные угрозы»); рассказать о том, как прозорлив и мудр руководитель отдела по особо тяжким преступлениям его, Мерина, учитель и старший товарищ, в юном возрасте оставшийся без родителей, погибших от рук убийц; о своих сослуживцах, великих тружениках сыска, личную жизнь положивших на алтарь службы отечеству; о том, как нелегко ему, Мерину, человеку без специального образования, сутками напролет на практике постигать мудреную азбуку борьбы с криминалом; о своих ранениях до Петровского периода и о ранах недавних, полученных от стрелявшего в него криминального авторитета Аликпера Турчака (он даже задрав рубашку продемонстрировал впечатляющие рубцы от пуль на груди и животе) и еще очень много о чем успел рассказать сотрудник уголовного розыска Всеволод Мерин студенту университета Антону Твеленеву до прихода с двумя бутылками армянского коньяка его двоюродной сестры Антонины Заботкиной.

Многое успел рассказать.

Кроме одного: он не упомянул о скрипке Страдивари.

А напоследок, когда, не дождавшись своего «барного» часа, в ход пошла третья бутылка, вконец растроганный сложностью милицейской жизни Антон-второй сказал:

– Всеволод, вот при этой Промокашке (он указал пальцем на сестру) скажу: ты свистни – тебя не заставлю я ждать. Клянусь. Все, что знаю. И чего не знаю. Поехали.

Они чокнулись и выпили в тот вечер, кажется, по последней.

Антонина вызвалась проводить его до автобуса.

– Что это с тобой, Чукча? Планы строишь? Выкинь из головы – у Всеволода Игоревича жена и трое сыновей. Марш наверх – детям спать пора.

Девушка громко расхохоталась, как будто двоюродный родственник сказал что-то невероятно смешное. Наконец изрекла:

– Оставь, пожалуйста, эти пьяные глупости для своей Люсии, ей наверняка понравится. Привет.

Пойдемте, Сева. – Она взяла Мерина под руку и, выходя в сад, громко, чтобы услышал брат, сказала: – Он свою курносую пассию так называет – Люси-и-и-я, хотя на самом деле она элементарно Люська.

... Сева открыл глаза, в очередной раз перевернулся на спину, взглянул на часы: без двадцати четырех с секундами ровно одиннадцать – так обычно острил Анатолий Борисович Трусс. Что-то Людмила Васильевна некстати загуляла, никогда так поздно из дома не выходила. Загадка на загадке сегодня эта урожденная Яблонская. Надо идти искать.

Беззвучно завибрировал мобильный телефон – на экране высветился номер Какца.

- Добрый вечер, Самуил Исаакович.
- Здравствуйте, Всеволод. Я не поздно?
- Нет, нет, что вы.

– Да я, собственно, с пустяками, мог бы и завтра, но не терпится, вы уж простите: был сегодня на рынке, покупал картошку, мне нужна была старая, прошлогодняя, для винегрета, продавец меня уверил, что у него старая, внешне она так и выглядела – большая и грязная, а пришел домой, разрезал – внутри оказалась молодая. Ну то есть близко к старой никакого отношения не имеет. Меня обманули. Как вы думаете, Всеволод, с рыночным товаром я могу обратиться в Общество защиты прав потребителей?

Сева был так занят собственными мыслями, что не сразу «врубился» в Какцевскую аллегию: какая картошка? какой винегрет?..

– Всеволод, вы меня слышите или мне лучше перезвонить?

– Слышу, слышу, только...

– Я говорю – сегодня мне вместо старой подсунули молодую, понимаете? Могу я обратиться к кому-нибудь за защитой своих прав? – И поскольку в трубке по-прежнему молчали, Самуил Исаакович капризно спросил: – Есть же у меня в конце концов какие-то права!?

И только тут до Мерина дошло (как же он мог забыть!!!): именно сегодня после трех часов муровский музыкальный эксперт должен был посетить композитора Антона Игоревича Твеленева по его просьбе. И в связи с поручением Скоробогатова результат этого посещения был для Мерина крайне важен, может быть, это было самое важное, что ему необходимо было узнать за сегодняшний день. Но недотепа Какц со своим винегретом...

– Я понял вас, Самуил Исаакович, понял. – Мерин, хоть и с некоторым опозданием, по достоинству оценил какцевскую конспиративность – факт общеизвестный: телефон секретов не держит. Поэтому вопрос постарался задать в том же предложенном музыкальным экспертом овощном стиле, правда, получилось это у него довольно коряво: – А продавцу предлагаемого вам картофеля вы сообщили о его заблуждении по поводу возраста клубней?

Прежде чем ответить, Какц, похоже, какое-то время хихикал.

– Что вы, Всеволод, нет, конечно. Я подумал, – пусть остается в неведении.

– Понял вас. Но, к сожалению, ничем не могу помочь – не знаю какими правами обладает Общество защиты прав потребителей по отношению к рыночным продовольственным товарам. Вам лучше позвонить еще кому-нибудь.

– Бесполезно, я уже кого мог обзвонил, не беспокойтесь, вернее – простите за беспокойство. Ладно, утро вечера мудренее. Спокойной ночи.

Какц прервал связь.

Мерин нажал кнопку отбоя. Расшифровка нехитрой сельскохозяйственной морзянки заняла долю секунды: скрипка не старинная, поддельная, но подделка выполнена качественно; огорчать старого композитора своим открытием Какц не стал; Скоробогатову результаты анализа, по всей вероятности, уже известны; завтра утром – так предполагает музыкальный эксперт – состоится по этому поводу совещание у полковника. Все, кажется.

Да-а-а! Вот это новость! Это удар в самое поддыхало: старинную скрипку украли и заменили подделкой!

В прихожей заскрипел открываемый замок, стукнула дверь, Людмила Васильевна спросила:

– Севочка, ты спишь?

– Давно.

Видимо, ответ внука показался ей несколько необычным, поскольку следующую фразу она произнесла через продолжительную паузу:

– Ну спи, милый. Не волнуйся, я пришла.

Внук же, если и волновался, то совсем по другому поводу, ибо, не заметив даже собственного хамства, он по-скоробогатовски заходил по своим малогабаритным апартаментам.

Итак.

Престарелый, при жизни мифологизированный композитор владеет старинной, по всему – очень старинной, скрипкой. Пропажа весьма ценных вещей после случившейся в доме кражи, как он сам признается, его не волнует. Он дорожит только этой самой скрипкой и просит прислать к нему музыкального эксперта, причем настаивает именно на криминальном эксперте: инструмент на месте, в футляре, но, по всей вероятности, он подозревает, что его могли подменить, и если это так, то помощь ему оказать могут только правоохранительные органы. Эксперт Какц определяет, что инструмент не подлинный – подделка под старину, но владельцу по какой-то причине об этом не сообщает. Завтра на совещании у Скорого он поделится своими соображениями, а пока ясно одно: что-то его сильно смутило.

Мерина же во всей этой истории смутило только одно: как это композитор, музыкант не смог отличить собственную скрипку от подделки до такой степени, что понадобился эксперт? Как это может быть?! Ну смычком-то проведи по струнам – и все станет ясно. Или он оглох в свои девяносто? Тогда взглядишь хорошенько! Или ослеп?

Не разрешив ни одного из поставленных перед собой вопросов, Всеволод Игоревич не заметил, как заснул, не раздеваясь, на своем диванчике и до утра ему снился безобразный хромой старик без ушей, с глазами, почему-то заклеенными коньячными этикетками.

Ровно в девять Самуил Исаакович Какц просунул голову в приемную полковника Скоробогатова:

– Здравствуйте, солнышко. С добрым вас утром, прекрасно выглядите. У себя? – Он ткнул указательным пальцем в сторону дубовой двери кабинета начальника отдела.

Секретарша Валентина, весь предыдущий день потратившая на борьбу с неприличных размеров ячменем, залепившим ее в обычной жизни очаровательный правый глаз, и никак не преуспевшая в этом многотрудном занятии, восприняла какцевское «прекрасно выглядите» за неприкрытое издевательство и не удостоила его ответом.

Какц, по необъяснимой для самого себя причине, панически боялся пуще всяких начальников именно их, секретарш, по возможности старался избегать общения с ними и, когда это удавалось, пулей проскакивая мимо. На этот раз интуиция и грозный вид Валентины подсказывали: проскочить не выйдет – терпение и скромность. Он негромко покашлял, переступая с ноги на ногу поскрипел половицами, повздыхал и только, когда никакие ухищрения не возымели действия, попробовал еще раз обнаружить себя более обстоятельным вопросом.

– Скажите, Валентина Сидоровна, начальник отдела по особо важным делам Юрий Николаевич Скоробогатов у себя в кабинете?

– Назначено?

– Конечно, конечно, – обрадовался Самуил Исаакович, – конечно, назначено, то есть, видите ли, и да, и нет, я должен отчитаться, я вчера получил задание от Юрия Николаевича и должен отчитаться, я...

Он не договорил, секретарша нажала кнопку селектора:

– Юрий Николаевич, к вам Какц. – Какое-то время она молчала, затем буркнула что-то, оставшееся для музыкального эксперта загадкой, вновь обратилась взором к компьютеру, и только когда через достаточно продолжительное время Самуил Исаакович, презирая себя за трусость, на цыпочках двинулся к двери кабинета, она произнесла:

– Куда? Вашим делом занимается другой отдел.

Оторопевший Какц не сразу, но все-таки решился на явную наглость.

– Какой?

– Дру-гой! – прозвучал категоричный ответ. – Закройте дверь.

В коридоре он столкнулся с Мериным, схватил его в охапку и громко зашептал на ухо:

– Понимаете, Всеволод, меня не пустили! Говорят, какой-то другой отдел. Я в панике: вчера полковник Юрий Николаевич Скоробогатов дал мне указание посетить композитора

Твеленева Антона Игоревича для проведения экспертизы его музыкального инструмента. Я посетил, провел экспертизу, результаты меня, признаюсь честно, просто-таки ошеломили – я не спал всю ночь, вчера я вам звонил, вкратце рассказал, правда, несколько эзоповым языком свои впечатления – не очень-то доверяю, знаете ли, телефону, подумал, завтра на совещании... подготовил отчет, хотел доложить догадки... А меня не пустили! Вы не в курсе в чем дело? – По всему было видно, что он очень сильно волнуется. Мерин попытался его успокоить:

– Не берите в голову, Самуил Исаакович, главное – вы прекрасно выполнили задание, а результат кому надо – узнают. Не волнуйтесь вы так. Тем более что это дело, действительно, передали в другой отдел.

– Какой?

– Понятия не имею, – не моргнув глазом соврал Мерин, – со мной, как вы понимаете, не советуются.

– А вы сами, Всеволод, в курсе этой скрипки?

– Если честно – нет. Вчера по телефону я даже не понял, что речь идет о скрипке, подумал, вы в самом деле купили не тот картофель. Или что-то перепутали. Или выпили? – он попытался перевести разговор на шуточный тон, но Какц энергично замахал руками:

– Ни, ни, ни, никаких шуток, Всеволод, все слишком серьезно. Слишком! – Он оглянулся по сторонам, дождался, когда поблизости никого не было, и совсем уже тихо, еле слышно сообщил: – Украдена скрипка Антонио Страдивари, 17 век, цены не имеет: бесценна.

– Пожалуйста, Самуил Исаакович, успокойтесь, нельзя так, вы даже побледнели. – Мерин взял Какца под руку, они прошли с ним по бесконечно длинному муровскому коридору, по лестнице спустились во двор, вышли на Петровку, повернули к Цветному бульвару. Весь этот немалый путь ни тот, ни другой не проронили ни слова: ни преисполненный торжественностью предстоящего секретного разговора Какц, ни Мерин, не преисполненный ничем, кроме жажды узнать о скрипке и ее владельце все и как можно подробнее.

Первым нарушил молчание следователь.

– Самуил Исаакович, честное слово, у меня без ваших скрипок дел по горло – висяк на висяке, некогда мне вникать в чужие проблемы, но все так близко принимать к сердцу, как вы, просто невозможно. Трусс прав: «Так мы протянем, но недолго». Забудьте вы своего Страдивари, бог с ним совсем. Вон кафе, хотите понемножку? Я угощаю.

Какц остановился, красные от напряжения глаза его сузились, немалый, набегающий на верхнюю губу нос пошел морщинками, казалось – он вот-вот заплачет.

– Друг мой Всеволод, подобное равнодушие я могу оправдать только молодостью, которая с годами, слава богу, проходит. Я не сержусь, но поймите и старого Самуила: у него тяжело на сердце: речь идет о живом четверострунном чуде, сотворенном если и не Богом, то, без сомнения, небожителем. Строй этих четырех струн следующий: ми, ля, ре, соль, идя по квинтам вниз, начиная от четвертого промежутка скрипичного ключа соль. Первая струна ми именуется квинтой или квантереллой, три первые струны сотворены из кишок ягненка, а четвертая или басок скручена стальной проволокой, заметьте: стальной, о чем в 17 веке не слыхивали. Тембр третьей и четвертой струн имеет альтовый характер, в особенности при высоких позициях. Звук извлекается не только естественным образом при нажиме пальцев и смычка, но также при очень легком прикосновении к струнам кончиками пальцев, дающем флажолето. Можно также получать и арфообразный скрипичный звук при игре одними пальцами щипком, что называется пиццикато...

Терпение Мерина дало трещину – щипковые прикосновения гортанного голоса старого эксперта к его нервам перевалили за всякое «флажолето».

– Самуил Исаакович, – игру в наивность он не без успеха перенял у Ярослава Яшина, – почему же вы, как сказали мне по телефону, скрыли истину от владельца? Ведь это же мировая сенсация?!

– Именно! Именно – мировая! Вы все правильно понимаете, мой дорогой: ми-ро-ва-я!! А скрыл вот почему... – Он понизил голос, огляделся по сторонам, взял Мерина под руку. – Вы что-то говорили про кафе? Я готов, у меня, знаете ли, во рту – пустыня Сахара, простите за подробность, язык прилипает к небу... – И только когда они устроились за столиком в безлюдном в это время ресторанчике на Цветном бульваре, сделали заказ и дождались ухода официанта, он продолжил еле слышным шепотом: – А скрыл вот почему: в нашем городе, в Москве, в самом ее центре, по соседству с нами живет известнейший человек, композитор, владеющий украденной в далеком 1959 году скрипкой великого Антонио Страдивари! Обратите внимание – я сознательно говорю в настоящем времени – владеющий, ибо никакой самый посредственный музыкант не может не отличить подделку, пусть даже идеально выполненную, от подлинной Страдивари, а Антон Игоревич Твеленев самостоятельно не смог этого сделать, что само по себе невероятно, стало быть, уверен, что по-прежнему владеет шедевром. Без малого пятьдесят лет скрипку ищут всем миром, потому что каждое творение гениального мастера состоит на учете во всех цивилизованных странах Земли, каждое имеет свое имя, свой порядковый номер, их осталось не так много и в большинстве своем владельцами являются не частные лица, а государства, например, в России их на сегодняшний день осталось всего одиннадцать, – он вытер лоб платком, извиняюще улыбнулся, – одиннадцать... я не могу сказать штук или единиц, это будет неправильно, это не штуки, а живые существа, поверьте, я не преувеличиваю, они поют райскими голосами только в руках тех, кто их ценит, любит, оберегает, воспитывает, если хотите, никому другому они не подчинятся, так вот: во всей России осталось всего одиннадцать подобных созданий. Но существуют и несколько частных владельцев, и все эти обладатели шедевров известны не только специалистам, но и правоохранительным органам тех стран, где они в данный момент проживают. Все они должны иметь специальные документы на инструмент, зарегистрированные международным охранным отделом. Эти творения нельзя перевозить с места на место без уведомления специальных служб, существующих в каждой стране, их нужно содержать при строго определенной (плюс-минус несколько десятых градуса) температуре и определенной влажности воздуха, их нельзя передавать в другие руки, и если владелец по тем или иным причинам не способен дольше обеспечивать необходимые условия хранения, он или новый владелец обязаны сообщить об этом все в тот же охранный отдел и переоформить документы на другое имя, которое будет внесено в мировой реестр. Скрипки Амати, Гварнери, Страдивари можно украсть, но ни играть на них в публичных концертах, ни продать без обнародования своего имени невозможно. Поэтому кражи этих великих совершенств случаются крайне редко и всегда – в этом вы абсолютно правы, Всеволод, становятся мировой сенсацией. В 59-м году такое произошло в России, и эта скрипка Антонио Страдивари до сих пор не найдена: было предположение, что она каким-то образом переправлена в Арабские Эмираты, и ее звучанием услаждает слух домочадцев какой-то безымянный шейх. Вторая версия – скрипка сгорела в хранилище музея во время войны, но обе они не выдерживают серьезной критики... Существует мнение...

На горизонте возникла фигура официанта с подносом, и Какц замолчал.

– Простите, Самуил Исаакович, что перебиваю, – произнес Мерин безразличным тоном, когда они остались одни, хотя никакого «перебивания» не было и в помине: уставший от переизбытка эмоций музыкальный эксперт долго не ронял ни слова, – а известно, кто из музыкантов последним владел скрипкой перед ее пропажей?

– Вы правы, Всеволод, это немаловажная деталь для поиска шедевра, – вновь оживился Какц, – но, к сожалению, я не могу удовлетворить ваше любопытство. Дело в том, что она принадлежала не частному лицу, а государству, Советскому Союзу и выдавалась только выдающимся исполнителям под особое поручительство и обязательно с прикрепленным охранником на время концертной деятельности, в основном для заграничных турне. На этой скрипке играли Давид Ойстрах, Яков Рабинович, Лев Цейтлин, Леонид Коган, Евгений Грач, Галина Барина, Владимир Спиваков... А в 59 году она исчезла, так вот существует мнение... а в тот год в стране был сильный неурожай... существует мнение, что между

министром культуры СССР Екатериной... э-э-э, не вспомню отчества, Фурцевой...

– Алексеевной, – подсказал Мерин.

– Именно Алексеевной, спасибо, Фурцевой и министром неизвестной нам, но, видимо, очень богатой страны... конечно, все это с санкции партийного руководства, то бишь Хрущева Никиты Семеновича...

– Сергеевича.

– Разве? Ну пусть Сергеевича – не суть важно, так вот – таким вот макаром нам якобы удалось спасти советский народ от природного стихийного бедствия, предотвратить голод и ликвидировать нехватку в отечестве зерновых культур. А музыканта, который последним пользовал эту, с большой буквы, Скрипку, вроде бы задавила машина вместе с охранником, и имя его держится по сей день в секрете. Но это, Всеволод, я вам высказываю одну из версий, не более того, никак не подтвержденную...

В кармане Мерина примитивно запиликал Йоганн Штраус, в трубке раздалось рыдания Антонины Заботкиной.

– Сева, это Тоша Заботкина, сестра Антона...

– Да, да, я слушаю вас. – Мерин перевел разговор на «запись», извинился перед Какцем. – Что случилось, Тоша?

– У нас страшное чепэ: только что арестовали Антона прямо в университете. Он позвонил, ему разрешили позвонить домой, но я вам – вы сказали: вы шпион, то есть простите, уголовник, расследуете дела уголовные, у них убили, это сокурсник Антона Игорь Каликин, его увезли на «скорой», но Антон сказал, что его убили на его глазах, он бывал у нас часто, я его знаю, вчера перед вами был и перед этими, которые из МУРа, я не знаю, что мне делать, мамы нет, отца нет, дядя Марат как всегда: я говорю – он не понимает, дед не отвечает на звонки, я вам, вы сказали вчера, что шпион, то есть, простите, не шпион...

– Тоня, Тоня, послушайте меня, Тоня, вы меня слышите?..

– Да, слышу, я не знаю, что делать, простите, это друг Антона, его убили...

– Тоня, вы где находитесь?

– Я здесь, я на даче, я одна, мамы нет и никто не отвечает...

– Тоня, Тоня, послушайте меня, Тоня...

– Помогите-и-и-те мне, пожа-а-а-луйста-а-а...

– Тоня, подождите, слушайте меня внимательно, слышите? – Мерин почти кричал в трубку. – Вы слышите?

– Да-а-а-а...

– Никуда не уходите, слышите? Я постараюсь все узнать и вам позвоню. Ваш мобильный у меня отпечатался, я вам перезвоню, но вы никуда не уходите, да? Слышите?

– Да-а-а. Но вы скорее-е-е.

– И перестаньте реветь. Я все выясню и перезвоню. Все. Пока.

Он выключил связь.

– Простите, Самуил Исаакович, там какое-то ЧП, мне надо срочно обратно в контору, спасибо за неоценимую услугу, жаль, что она для другого отдела. Если удастся что-то узнать – я вас найду. Я хочу расплатиться за кофе и конь...

– Ни боже мой, бегите, бегите, не обижайте старика, я еще посижу, что-то нервы совсем ни к черту: 17 век, знаете ли, не шутка. Удачи вам, Всеволод!

Последнего пожелания Сева уже не слышал: под гудки, тормозную истерию и летящую со всех сторон однотипную ругань, оставляя за спиной короткие промежутки между несущимися с двух сторон нескончаемым потоком машинами, он пересекал улицу Петровка.

Донесение об убийстве студента МГУ им. Ломоносова легло на стол Скоробогатова в 10.13 утра. В нем сообщалось, что в девять часов сорок восемь минут в отделение милиции района из телефона-автомата позвонил неизвестный и сообщил, что в лифте главного здания северного корпуса обнаружен труп молодого человека. Прибывшая на место преступления оперативная группа при беглом осмотре до появления врачей «скорой помощи»

зафиксировала на теле пострадавшего одно ножевое ранение (в область сердца со стороны спины). По горячим следам задержать никого не удалось. Прибывшие врачи констатировали смерть, наступившую, по их словам, мгновенно, то есть приблизительно в 9.40. По документам, пострадавший оказался студент выпускного курса юридического факультета Каликин Игорь Николаевич, 1985 года рождения, 23-х лет. На безымянном пальце правой руки убитого обнаружен перстень желтого металла (предположительно золото) с красным камнем (предположительно рубин), по внешним данным совпадающий по описанию с перстнем, похищенным накануне из коллекции семьи Твеленевых, проживающих по адресу: Москва, Тверская улица, дом 18, квартира 6, что дало основание подозревать в соучастии преступления и взять под стражу до выяснения всех обстоятельств дела сокурсника убитого Твеленева Антона Маратовича, находившегося в момент убийства в том же лифте. Подпись: руководитель следственной группы районного отделения милиции старший лейтенант Кудря.

Скоробогатов дважды прочитал ленту телетайпа, надавил кнопку селектора:

– Валя, найдите, пожалуйста, Мерина, немедленно ко мне.

– Уже нашла, Юрий Николаевич.

– То есть? – нахмурился полковник: на работе он не любил шуток.

В дверь постучали.

– Войдите, Валентина.

Но вместо секретарши вошел Мерин. Скоробогатов некоторое время молча смотрел на подчиненного, затем недовольно выдавил.

– Интересное кино. Ты что делаешь в моей приемной?

– Я с докладом, Юрий Николаевич, ждал вашего вызова.

– С докладом? А с глазом что?

– С глазом? – переспросил Мерин. – Так это... упал.

– Интересно ты падаешь. Ну докладывай, раз так.

– В университете Ломоносова на Ленинских ЧП: убит сокурсник Антона Твеленева, внука композитора Антона Игоревича Твеленева Каликин Игорь, друг Антона Твеленева. Каликин скончался на месте, по словам Антона Твеленева, Антон Твеленев по подозрению в соучастии арестован, Марат Антонович Твеленев, отец Антона Маратовича...

– Стоп, стоп, стоп, сядь. Сядь и успокойся, а то я сейчас упаду. Я ведь должен хоть что-то понять. На, читай. – Он протянул ему ленту телетайпа.

Мерин пробежал глазами строчки, с готовностью породистого ирландского сеттера уставился на начальника. Скоробогатов нажал кнопку селектора:

– Срочный оперативный выезд. – Он продиктовал адрес, состав группы, старшим назвал Мерина. – Давай, Сева, там уже так напортачили – сам черт не разберет: ни гильз, ни пуль, ни отпечатков, ни холодного оружия – ничего. Никто, похоже, даже не опрошен. Так что на тебя вся надежда. Давай. – Он подтолкнул его к двери.

– Юрий Николаевич, я только что с Какцем разговаривал, – еле слышным шепотом начал Мерин, – он говорит...

– Потом, потом, все потом, сейчас для тебя главное этого убийства нет ничего. – И многозначительно добавил: – Ни-че-го! Ты меня понял? Тем более, сдается мне, коль появился труп – вернут нам эту кражу, как пить дать вернут. Так что плакала наша с тобой конспирация. Шагай!

Мерин неся по коридору, во весь рот улыбаясь, и мыслями обращался к Скорому:

«Я видел вас вчера. У дома своего. И что за номера – не понял ничего. Немного отвлекусь – Убийствами займусь. И быстро разберусь. Без помощи бабусь». Так. Стихи готовы. Прямо хоть на поклон к композитору Твеленеву: пусть на музыку перекладывает.

Париж капризничал, пугая метеорологов непостоянством – попробуй предскажи: плюс восемнадцать ночью и двадцать пять в тени в середине дня – полуголые празднующиеся туристы и практически нагие парижанки увлеченно демонстрируют всем желающим свои

подчас просто-таки экзотические женские достоинства. Это накануне. А сегодня ноль градусов с утра и чуть больше десяти к вечеру с пасмурным дождливым ветром. Никаких тебе «достоинств», никаких ног, плеч, спин и т. д. и т. п. и пр. и пр. И это разгар осени!

Аркадий Семенович Заботкин сидел у окна вынесенного на тротуар крохотного уличного кафе за игрушечным круглым столиком и ежился от холода. Какой черт угораздил его назначить встречу именно здесь? Мало в этом поганом городе приличных мест, где можно хотя бы сидеть удобно, не друг на друге, не толкаться с соседями локтями, опасаясь, что они вот-вот накапают тебе на штаны своими непотребными устрицами? Ну и что, что рядом с твоим «Кастильоном»?

Эка важность! Пройди сто метров, остановись у приличного заведения, белозубая обезьяна в яркой ливрее распахнет перед тобой дверь, поклонится, проведет в уютный полумрак зала с белоснежными столами, хрусталем бокалов и старинным серебром отражающими этот интимный полумрак...

Так нет! Мудак старый. Не я к тебе, а ты ко мне: я манной небесной спущусь из своих люксов, а ты приползай, приползай.

Заботкин поднял воротник замшевой куртки, глянул на часы: семь минут двенадцатого. Ну вот, и это еще! Черт знает что! Встать и уйти? Пусть ищет-суетится-волнуется? Так ведь не будет волноваться, засранец, вот в чем дело. А то он его не знает.

Колька родился на десять лет позже Аркадия Семеновича, в 1950-м, и с того самого момента все переменялось в жизни старшего брата: из ненаспанного глазка он превратился в ненужное, лишнее, чуть ли не чужое существо. А ведь эти десять лет впитали в себя и страшную войну, и эвакуацию, и голод, безденежье, бездомье – где только ни приходилось скитаться семье Заботкиных: на чердаках, в подвалах, за буфетами в углах съемных комнатух... Казалось бы, все вынесли, сплотились, срослись намертво – не разорвать: одесский ювелир-отец, украинская домохозяйка-мать и русский по метрикам ненаглядный Аркашенька. А вот поди ж ты: народился этот сморщенный краснолицый урод и все пошло прахом.

От невеселых воспоминаний его оторвала сидящая справа и беспрерывно гогочущая над пошлостями, изрекаемыми соседом-визави, немолодая француженка. Аркадий Семенович давно возненавидел это кокетствующее чучело, как только оно подсело за его столик. Никакой исходящий от нее и ласкающий обоняние аромат не мог примирить его с дикой манерой французских аборигенов картаво орать во всю глотку в общественном месте, жестикулируя при этом на манер цирковых жонглеров. Пересесть за другой столик ему мешала та самая «собственная гордость», которая, как известно из наследия советского классика, «на буржуев смотрит свысока», но когда очередной смеховой приступ неугомонной соседки заколебал воздушное пространство до такой степени, что не выдержал даже стоящий перед ним недопитый бокал кислого «бордо» – свалился на бок и только по счастливой случайности, благодаря выработанной спортивной юностью безукоризненной реакции, не залил его новые замшевые джинсы и светло-бежевую рубашку-опаш, Аркадий Семенович пришел в яростное движение: спасая свои нательные материальные ценности, он вскочил со скоростью стартующего кенгуру, опрокинул стул, который, в свою очередь, руководствуясь принципом домино, опрокинул еще несколько таких же свободных, а также занятых французами и француженками своих братьев. Случилось замешательство: недопитые пиво, вино, кофе, кока-кола, Минводы, изысканные жидкие приправы, салатные соусы, а равно и сами салаты – рыбные, мясные и из речных и морских моллюсков, не говоря уже о содержащей все это разнообразие хрупкой посуде – «все смешалось в доме...» на «рю Ройяль».

Никакой паники тем не менее не случилось: повскакивавшие с насиженных мест недоевшие и недопившие парижане все как один заулыбались, поснимали прилипшую к разным местам своих туалетов снесь, потеряли салфетками разноцветные пятнышки и, извинившись перед Аркадием Семеновичем за доставленное неудобство, наперебой принялись загружать официантов новыми заказами.

«И почему никто их не научит нормально произносить букву «р»? «Паххрдон, паххрдон... Слушать противно», – подумал вконец расстроенный Аркадий Заботкин.

Николай появился неожиданно, улыбаясь, широко расставив руки для объятий.

– Аркаша, прости, мы хоть и не Москва, но у нас тоже пробки. Здравствуй, дорогой. – Он обнял поднявшегося навстречу брата, чмокнул его в щеку, фамильярно похлопал по спине. – Ты почему на этом пяточке? Здесь и выпить-то по-нашему не дадут, не то что поговорить. Пойдем, тут рядом, я знаю место, не пожалеешь. Угощаю.

– Ладно, не суетись, угощатель. Сядь. На часы посмотри.

Николай послушно глянул на часы, изобразил негодование.

– Черт, надо же! Ну прости еще раз. Хочешь – убей, я не обижусь. Хочешь? Вижу – хочешь.

– Будем кривляться? – Аркадий Семенович уставил в него долгий ненавидящий взгляд. Тот моментально посерьезнел. – У меня самолет завтра утром.

– Как самолет? Какой самолет? Завтра?! Почему?

Заботкин-старший не отвечал.

– Аркаша.

Молчание.

– Ты говорил – неделю.

Молчание.

– Что случилось, Аркаша? Аркадий, что случилось?!

– Игоря убили.

Крупное загорелое лицо Николая на долгое время сделалось неподвижным, затем так же долго морщилось, бледнело, пока не превратилось в спущенный надувной шарик.

Аркадий Семенович наклонился к брату, взял его за плечо. Тот вскинул на него глаза.

– Кто?

Ответа не последовало.

– Кто? – повторил Николай Семенович.

– Какая теперь разница? Я тебя предупреждал – Игорь не годится.

– Кто, я спрашиваю?! – прошипел Заботкин-младший.

– Ты его не знаешь. – И, наклонившись к самому его уху, прошлепал что-то губами.

Братья еще некоторое время размахивали руками, что-то доказывая друг другу. Они говорили достаточно тихо, слова взяли в шуме машин и разноязычном гомоне кафе, но официант, протиравший у стойки бара бокалы, услышав русскую речь, напрягся, перешел поближе к их столику.

С противоположной стороны улицы из такого же уличного кафе братья Заботкины выглядели благополучными, довольными жизнью и друг другом бизнесменами. Сидящему здесь Анатолию Борисовичу Труссу даже показалось, что один из них вот-вот зайдется в неудержимом от рассказанного, по всей видимости, очень веселого анекдота хохоте.

К их столику подошел высокий молодой человек.

Марат Антонович Твеленев до сорокадевятилетнего возраста, что называется, капли в рот не брал. Ни в школе, где сверстники-старшеклассники выпитыми бутылками доказывали свою половую искусственность, ни в литинституте, который, как говорят, всегда славился особым уважением начинающих «инженеров человеческих душ» к исконно русскому напитку, и редко кому из них удавалось выбиться в классики без многочисленных загулов и запоев. Марат же – ни грамма, даже в Новый год, даже шампанского, чем конечно же вызывал немало нареканий со стороны приятелей и подруг. Ему даже предлагали взять псевдоним «Непьющий».

«А что, – увещевали приверженцы творений бога Бахуса, – есть же Непомнящий, неглупый, кстати, мужик, или, скажем, Невинный – замечательный актер. А ты будешь Непьющим. Представляешь: Марат Непьющий! «Евгения, о, нега!» Роман в стихах! Да все с ума посходят от зависти. И запомнить легко: Петровых, Ивановых – пруд пруди, Непьющий

писатель – эксклюзив. А главное – фамилией хоть как-то оправдаешь свой идиотизм».

Марат только посмеивался, но был неумолим – нет и никаких. Этому несвойственному Руси воздержанию научил его отец-композитор, не теоретическими выкладками – личным примером демонстрировавший преимущества трезвого образа жизни. До сорока девяти лет не знал Марат Антонович не то что вкуса – запаха алкоголя, все окружающие думали – так и помрет человек, не оросив губ виноградным нектаром. Но...

...С детских лет он был крайне нелюдим, никого, кроме матери Ксении Никитичны, не признавал, особенно недолго любил отца. С годами эта нелюбовь перешла в другое качество – он перестал его замечать: был вежлив, послушен, ни по какому поводу не спорил, по утрам здоровался, как приветствуют на улице малознамого человека, на вопросы отвечал односложно, сам же никаких вопросов никогда к отцу не обращал. Как ни билась Ксения Никитична, сколько слез украдкой ни пролила, что только ни предпринимала – и уговоры, и наказания, и восхваление неоспоримых отцовских достоинств, и бесконечные подарки, подарки, подарки от своего и его имени – стена сыновнего неприятия оставалась непоколебимой. А когда появилась сестра Надежда, про изъян Марата как-то все разом забыли, переключились на очаровательную, чрезвычайно приветливую и общительную малышку, которая с первого же дня своего пребывания на свете стала всеобщей, и особенно отцовой, любимицей.

Так он и жил сорок девять лет.

Женился поздно, в самом конце восьмидесятых, на пятом десятке, родные к тому времени уже смирились: что делать – бобыль и есть бобыль – никуда не ходит, почти ни с кем не знакомится, сидит у себя наверху на даче и что-то пишет. Печатали его редко и то благодаря вмешательству отца – тот втайне от сына ходил по издательствам, тряс орденами, званиями, просил... Ксения Никитична умоляла не оставлять род Твеленевых без наследника, мечтала о внуке, каких только ни приводила в дом выгоднейших, с ее точки зрения, партий: и молодых, и красавиц, и богатых, и бедных, и образованных – куда там: как только потенциальная невеста появлялась на пороге, Марат Антонович собирал свои бумаги и съезжал в Москву.

Спасла положение сестра Надежда: привела в дом по-другу – наследницу какого-то богатого бывшего крупного партийного босса, Валерию. Та, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, к тому времени в свои двадцать лет растила сына, не страдала никакими комплексами, кроме одного: она тяготилась своим незамужним положением, давно и целенаправленно подыскивала себе спутника жизни и вот уже последние года четыре всех мало-мальски подходящих знакомых из тех, кто привлекал ее внимание, проверяла на предмет сексуальной совместимости. Два года назад все, казалось, было уже на мази, она не на шутку увлеклась мужскими достоинствами отцовского протеже по фамилии Заботкин, всерьез подумывала о венце, но устраивавшая обоих многоцветная сексуальная совместимость обернулась жестокой прозой: прознав о не входившей в его планы беременности любимой, протеже исчез, да так ловко, что никакой высокопоставленный папа помочь был не в силах. С аборт Валерия опоздала и пришлось возобновлять поиски мужа с прежней стартовой позиции, но уже с младенцем на руках. Марат Твеленев ей понравился с первого взгляда: такой тип мужчин – коренастый, невысокий, не красавец – был в ее вкусе, разница в возрасте 22 года не только не смущала, но, напротив, обещала придать отношениям новые пикантные ощущения, постельные же способности нового знакомого, в первую же ночь тщательно ею исследованные, превзошли все ожидания. Дело осталось за малым: склонить выбранного молодца к решительному в его жизни шагу. Но тут-то и произошла заминка: Марат Антонович собрал бумаги, спешно уехал в Москву, заперся в своем кабинете и перестал отвечать на телефонные звонки.

Так бы бесславно и закончилась, как и многие предыдущие, эта очередная свадебная эпопея убежденного холостяка, если бы не партийный негибый характер Лерочкиных домохозяек: домохозяйка-мать поделилась с безутешной дочерью маленькими женскими хитростями, почерпнутыми из собственного опыта, а не привыкший к прекословиям босс-

отец взял на себя переговорный процесс. В результате кампанию по изменению семейного положения Марата Антоновича Твеленева выиграла сторона Лерочкиных родителей: было объявлено о пятимесячной Лерочкиной беременности, молодые расписались в загсе, отыграли богатую (не поскупился бывший член ЦК) свадьбу с длинным шлейфом невесты, черными фраками шаферов, красными, желтыми и даже, кажется, синими розами многочисленных приглашенных. Правда, количественное увеличение вновь образованной ячейки общества произошло не как обещали родственники невесты, а лишь через полтора года после официальной записи в паспортах молодоженов об акте их гражданского состояния, но к тому времени о столь незначительной оплошности все постарались благополучно забыть.

Появившегося на свет мальчика, по слезному настоянию его бабушки, Ксении Никитичны Твеленевой, нарекли Антоном, в честь деда. Марат вяло и недолго посопротивлялся и махнул рукой: какая разница, Антон так Антон, красивое в общем-то имя, какое кому дело до его отношений с отцом.

Но судьбе, как ни странно это может показаться, угодно было распорядиться по-другому: всякий раз, обращаясь к сынишке по имени нелюбимого отца, Марат Антонович испытывал странную, не зависящую от его желания и воли неприязнь. Поначалу он надеялся, что со временем это пройдет, потому глупость какая-то: при чем здесь отец, его имя, фамилия?..

Но чем дальше шло время, тем явственней он сознавал, что стыдится сына, избегает называть его Антоном Твеленевым и на вопрос знакомых – как зовут этого черноглазого карапуза – всегда ухищрялся уйти от ответа: «Пусть сам скажет».

До шести лет Антона воспитывала не чаявшая в нем души баба Ксения. Сам он предпочитал с утра до ночи запирается в кабинете и писать, как тогда говорили, в стол – его по-прежнему почти не печатали. А жена Лерик к тому времени пристально приглядывалась к соседу-писателю по Переделкино – удачливому пахарю нивы социалистического реализма Аммосу Федоровичу Колчеву – и время от времени увлеченно проверяла свою с ним сексуальную совместимость: ей тоже было не до сына.

1992 год стал переломным не только для Союза Советских Социалистических Республик, но и для всей многочисленной семьи Твеленевых.

В том году баба Ксения отвела шестилетнего внука Антошку в первый класс.

В том году в свои 39 лет впервые родила Надежда Антоновна Твеленева – Заботкина по мужу, девочку нарекли Антониной.

В том году Маратовой жене Лерику удалось, наконец, уладить все вопросы своей с соседом совместимости и, минуя дворцы записей актов гражданского состояния, торжественно переместиться на его переделкинскую дачу, расположенную, по иронии судьбы, напротив твеленевской.

В том же году семидесяти с небольшим лет от роду неожиданно для всех суицидом оборвала свою жизнь Ксения Никитична Твеленева (Антон Игоревич в очередной раз побренчал, где надо, орденами и, вопреки церковным законам, самоубийцу, как положено, отпели и погребли на Ваганьковском кладбище, сам Твеленев на похороны не успел – слег в беспамятстве от внезапно открывшейся фронтальной раны), а нераскрытая тайна трагического завершения земного бытия обожаемой всеми не старой еще женщины так или иначе отразилась на судьбах каждого из оставшихся членов семейства.

В том же 1992 году через день после поминок по матери, выпил свою первую в жизни бутылку водки Марат Антонович.

– Я, Всеволод, с сыном уже шестнадцать лет не встречаюсь. То есть встречаюсь иногда, конечно, – живем в одном помещении, знаю, что это мой сын, здороваемся, но незнаком. Вы понимаете разницу? – Марат Антонович Твеленев вскинул на Мерина свои подернутые мутной голубизной глаза и, не дожидаясь ответа, потянулся к стоящей на столе бутылке. – Я вам не предлагаю: вы на работе, – утвердительно интонацией заключил он, наливая себе очередную порцию.

– Да, да, конечно, – поспешил успокоить его Мерин, – я работаю. – И густо покраснел, не сразу поняв глупость сказанного. – То есть при исполнении... в общем... – Он не стал договаривать.

Они сидели в просторной, заставленной книжными стеллажами комнате твеленевской квартиры уже около часа, но Сева никак не мог, при всем старании, боясь насторожить и тем более спугнуть хозяина неосторожными вопросами, выйти на нужную ему тему. Марат же Антонович то уходил в воспоминания о далекой юности – повествовал о школьных годах, о смерти Сталина, пришедшейся на его десятилетие, и связанной с ней всесоюзной истерией, то вдруг переходил к велосипеду «Турист», подаренному ему мамой якобы от имени отца... то мрачнел, замолкал неожиданно, заполняя паузы изрядными дозами коньяка, а время от времени и вовсе, формально извинившись, исчезал из комнаты, предоставляя посетителю свободу долгого одиночества. А когда уже с трудом сдерживая раздражение Мерин задал прямой вопрос о его сыне Антоне, подозреваемом в участии убийства Игоря Каликина, Твеленев и озвучил эту свою, по всей видимости, давно сформулированную для себя очевидность: с сыном встречается, но незнаком.

Начиналось же все вроде очень даже неплохо. Сева позвонил по телефону без всякой надежды на встречу, но неожиданно для себя услышал в трубке приветливый и, как ему показалось, даже радостный голос: «А вы собственно кто будете?» Он собрался было рассказать как можно деликатней и обстоятельней о цели своего визита, о том, какие детали произошедшей кражи квартиры ему необходимо уточнить в интересах самих же пострадавших, но абонент прервал его на полуслове: «У вас деньги есть?» Сева вопрос расслышал, понял, но все же переспросил: «Деньги?» – «Да, деньги, денежные знаки, банковские билеты, обеспеченные товарной массой и золотым запасом страны?» – «Не знаю – обеспеченные ли, но есть», – сострил Мерин, как ему показалось, весьма удачно. «Тогда приезжайте – расскажу все, как на духу, что знаю и чего не знаю. Захватите с собой бутылку коньяка, лучше – получше, договорились?» – «Договорились». – «Только знаки я отдам, когда смогу, а когда смогу – тогда и смогу, как говорится – бессрочный кредит. Осилите?» – «Я буду у вас через полчаса», – не стал углубляться в твеленевские условия работник уголовного розыска. «В таком случае вы мне уже нравитесь. Жду».

Через тридцать с небольшим минут Сева утоплял кнопку звонка квартиры № 6 дома 18 по Тверской улице с медной табличкой на дверях:

ТВЕЛЕНЕВ АНТОН ИГОРЕВИЧ
Композитор
Народный артист СССР
Лауреат Ленинской, Сталинской и
Государственных премий СССР и РСФСР

«Для удобства грабителей надо бы еще написать: «Обладатель скрипки Страдивари и прочих несметных ценностей, – усмехнулся про себя Мерин. – Как это понять: народный артист несуществующей страны? Все равно как заслуженный работник уголовного розыска Византии. Да и премии-то ему выдавали государства, давно канувшие в Лету. Ну что ж, во всяком случае главу семьи табличка характеризует достаточно ярко».

Дверь перед ним распахнул невысокого роста пожилой человек в белоснежной рубашке и поношенном черном костюме. Приветливый, чуть насмешливый взгляд, изрезанные бороздами морщин впалые щеки, на высоком лбу небрежно разметались пряди негустых с проседью волос. Широким жестом, отступив в сторону, он указал гостю на тускло освещенную прихожую.

– Прошу милостиво, ждем-с и с нетерпением. Не вижу надобности скрывать – рад, очень рад и звонку вашему и, надеюсь, дальнейшему знакомству. – Марат Антонович небрежной украдкой оглядел пакет в руках Мерина и продолжил: – По голосу я вас представлял, признаюсь, гораздо старше, не ровесником, разумеется, но так что-нибудь плюс-минус под сорок. А вы... ну что ж, тем увлекательней интрига. Пожалуйста, вот в эту

комнату, высоко именуемую в нашем доме моим кабинетом, проходите, располагайтесь, там все готово. – С этими словами он освободил мнущегося в дверях гостя от пакета.

– О-о! «Алые паруса»! У них «самопал» обычно покачественней, чем у остальных, неплохой магазин, но дорогой, собака. Проходите, я мигом. – Он ненадолго исчез.

В кабинете действительно было «все готово»: на огромном, заваленном бумагами письменном столе с самого краешку теснились два хрустальных бокальчика и тарелочка с какой-то не поддающейся с первого взгляда определению снедью.

– «Корвуазье» – это лучшее, что у них есть: не московская подпольщина – польская, можно пить. Хотя к Франции отношения не имеет. Сева, вы пили... позвольте, я буду называть вас без отчества?

– Конечно.

– Вы пили, Сева, французский «корвуазье»? Нет? Счастливый человек: у вас все впереди. Нектар! Неизгладимое впечатление. – Марат Антонович наполнил бокальчики коричневатой жидкостью. – Но 0,7, дорогой мой, – это очень дорого, прошу простить за тавтологию, я знаю, сколько это стоит. За знакомство? – Он выпил коротким залпом, не дожидаясь Мерина, удовлетворенно крякнул и, как Севе показалось, со стыдливой улыбкой налил себе еще. – Я, знаете ли, поздновато пристрастился к этому делу, много в жизни упустил, теперь вот наверстываю. Еще раз за знакомство. – На этот раз он проглотил влагу неспешно, неотрывно, маленькими частями.

Конечно, Мерину следовало разделить с ним компанию – большая бутылка для такого возраста – перебор, он это понимал, но, во-первых, пить с незнакомыми людьми он физически не мог, делал это в редчайших случаях и то, когда того требовала оперативная обстановка, а во-вторых, у него на сегодня было намечено еще много дел и подобное расслабление никак в них не вписывалось. Тем более что Марат Антонович с каждым бокалом становился все трезвее, разговорчивее и откровеннее.

– Сосико умер в 53-м, вас, Севочка, еще и в задумке не было, вы, простите, с какого года?

– С... 85-го, – не сразу соврал Мерин.

– Ну вот видите – и родителей ваших не было. А дед с бабушкой с какого?

– Бабушке скоро уже пятьдесят девять.

– «Уже», Севочка, в моем присутствии звучит, согласитесь, несколько неуместно. «Еще» пятьдесят девять – это куда ни шло. Значит, путем несложных расчетов по Малинину и Буренину – это в мои годы популярные авторы учебников по арифметике – ваша бабушка, когда Сосико помер, ходила под стол пешочком...

– Сосико – это кто?

– Сосико, мой друг, – это тот, при котором вам очень посчастливилось не жить: так моя мама Сталина называла. За это – донеси кто – могли посадить и расстрелять. А была она очень мудрая женщина. Он пятого марта окочурился, вернее – это народу пятого сообщили, а когда на самом деле – никто до сих пор не знает, сейчас появились свидетельства, что отравили его свои же прихлебаи, что очень похоже на правду, и неделю население медицинскими бюллетенями к «великой трагедии» подготавливали, очевидно, чтобы поменьше самоубийств было: он ведь почти в каждом доме отцом родным числился, иконой в правом углу висел. А у нашей семьи, – Марат Антонович внезапно замолчал, одним глотком осушил наполненный до половины бокал, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Когда продолжил, стало очевидно, что воспоминания даются ему нелегко: голос слегка дрожал, в интонацию закрались злобные, раздражительные ноты... – А у нашей семьи – под «нашей семьей» я подразумеваю маму, себя и больше никого, понимаете, Всеволод – ни-ко-го больше! Это только кажется, что семья у нас – пальцев на руках и ногах не хватит, а на самом деле, как говорится, «два человека всего мужиков-то: мама моя да я». Так вот у нашей семьи к этому всенародному отцу-потрошителю особые счеты: он через свой энкавэдэ проклятый маму в гроб вогнал и меня в человекообразные перекавалифицировал. Вы хоть читали – что за зверь такой этот энкавэдэ?

– Знаю, конечно.

– Ну то-то же.

Неожиданно откуда-то издалека послышались едва различимые звуки, похожие на стон, Марат Антонович неуклюже поднялся, качнулся, не упал – ухватился за край книжного стеллажа, коряво оправдал ситуацию: «Вот, почитайте пока что-нибудь, я сейчас.» И вышел из кабинета.

У Мерина в мозгу застрочил пулемет:

Ксения Никитична покончила с собой в 1992-м.

Как он понимал, размышляя над материалами дела, в связи с развалом Союза, из-за почившей в Бозе советской власти многие старые люди тогда так уходили.

Но если – «СОСИКО», значит здесь – не «старая большевичка».

Что-то другое.

Случилось НЕЧТО, спровоцировавшее суицид, именно в 1992 году.

Шестнадцать лет назад.

Шестнадцать.

Ушла из жизни в год рождения внучки? Антонине, внучке, шестнадцать, родилась в 92-м.

И что? При чем здесь внучка. Идиот.

Марат Антонович взял старт, по его же словам, «самозабвенного превращения себя в недочеловека» в сорок девять лет, то есть... в 1992...

Шестнадцать лет назад!

До этого не пил сорок девять лет.

Сорок девять!!

А теперь – «ни дня без строчки».

1992 год.

Что за год такой – первый год без советской власти?

Сын.

Сын Антон в 92-м пошел в первый класс...

И опять-таки – что из этого? Еще раз идиот.

В 92-м инсульт у главы дома. Понятно: ушла из жизни жена, с которой прожил... сколько?

От тысячи девятисот девяносто двух отнять тысячу девятьсот тридцать восемь... пятьдесят четыре года!

И с тех пор ни разу не посетить могилу жены?!

И что? Не хочет беречь память, боится умереть: девяносто лет человеку.

Дочь Надежда родилась в 1953-м, в год смерти «Сосико», через десять лет после Марата.

Антон родился в 86-м, когда...

– Совсем из ума выжил: «скорую» ему подавай, опять умирает, видите ли. – Неожиданно возникший Марат Антонович нетвердой походкой подошел к столу, взял мобильный телефон, набрал две цифры.

Мерин вздрогнул.

– Антон Игоревич?

– Ну да, великий композитор, кто еще кроме него в нашем доме каждый день умирает? Не надоест человеку. А я сиднем при нем. «Скорая»? Это Люба? Любочка, Марат Твеленев. Давненько не беспокоил вас – сутки, кажется. Присылайте, мы опять помираем. Спасибо, солнышко. – Он в сердцах швырнул аппарат. – Сейчас приедет медицина, с умными лицами прослушают, вколят снотворное... Как на работу к нам: два дня перерыв – событие. Надоел всем до чертиков, я уже их диспетчеров по голосам узнаю.

– Девяносто лет все-таки. – Сева попытался взять сторону престарелого музыканта.

– Ага, девяносто, он и в сто будет живее всех живых, Ленин наш бессмертный. Сиди тут с ним сиделкой. Ладно, бог с ним совсем. – Он плеснул себе в бокал остатки коньяка. –

Так на чем мы остановились, молодой человек?

– А почему Антон вам не помогает ухаживать за отцом? – Мерин вон из кожи лез в потугах выйти на интересующую его тему. – Внук все-таки.

– Да какой он ему внук?! Какой внук?! Не внук он ему!! Понятно?! НЕ ВНУК!!! – Марат Антонович неожиданно сделался красным, белки глаз прошили темные прожилки. Он почти кричал. – Он ему чужой совсем! И я ему не сын! Вот так! Не сын я ему!! Сыновья любят отцов, почитают, а не смерти их ждут! А я жду! Жду!! Да не дождусь. Как говорит Ширвиндт: он еще простудится на моих похоронах. Вы любите Ширвиндта? Я люблю: он в самое тяжелое для них время фамилию не поменял. Что это за фамилия – Шир-вин-д-т – для антисимитской страны? А он не поменял. И еще – Розенбаум. И Райхельгауз. Молодцы, уважаю. Остальные все в Ивановых-Петровых переделались. Ваша как фамилия?

– Мерин.

– Мерин? Что-то знакомое. Ваши кто родители?

– Не знаю.

– Почему? – Выпитый коньяк к этому времени, было похоже, окончательно взял власть над неудавшимся литератором: слова выговаривались с трудом, мимика и жесты перестали помогать выражению мыслей и зажали своей самостоятельной, отдельной от хозяина жизнью. – Почему не знаете?

– Я их не застал.

– А-а-а, понимаю, другое дело, – удовлетворенно закивал Марат Антонович, как будто не заставить родителей в живых для детей было делом обычным, – мало ли, не застал и ладно. А мой вот застал. И еще застаёт. Вы как думаете, Всеволод, сколько еще будет заставить в живых мой сын своего родителя? Своего родителя, меня то есть? А? Сколько? Родителя? Кстати, не я родитель, я только участвовал, а рожал не я, почему же я – родитель? Неверно! Я помощник родителя. А родитель у всех один – мать. Моя мама Ксения Никитична мой родитель. А у моего сына – Лерик. Это не мой сын. Лерика. Пусть к ней идет. А-а-а! Она его не пускает, а он и не идет. Не дурак. Он до семи лет моей мамы сын, Ксении Никитичны, а теперь мамы нет – значит, ничей он сын, подкидной... подкидыш, подбросили его... подброшиш... сын полка... Маратович. Но – не Маратович. Мать – Валерия, значит – Валериевич. Я ему говорю: «Антон Валериевич!» Обижается. Сейчас не обижается – я с ним не знаком давно. Встречаемся, но не знаком...

В дверь позвонили, очевидно, прибыла «скорая», надо было идти открывать, но Марат Антонович, увлеченный размышлениями о взаимоотношениях с собственным сыном, желания покидать насиженное кресло не выказывал. Пришлось Мерину взять инициативу на себя.

– Пойти открыть?

Твеленев не сразу понял вопрос, обрадовался.

– А есть?

– Что есть?

– Хоть что.

– Я говорю – дверь открыть?

– Зачем?

– Звонят.

– Разве? А-а, да, – он вмиг погрузился, – Нюша откроет.

Но звонки продолжались, никакая Нюша ничего не открывала, и Мерин вышел в тускло освещенную прихожую.

Удар по голове был не сильным, но настолько неожиданным, что он не устоял на ногах и рухнул, больно ударившись об острый угол стенного шкафа. Кто-то навалился на него сзади и неслабыми руками прижав к полу, зашипел в самое ухо:

– Ты кто такой, дядька? Тебе что от него надо? Ты зачем его спаиваешь? Ему вредно!

Сотруднику отдела МУРа по особо тяжким преступлениям понадобилось употребить все свое умение, чтобы в столь неожиданно возникшей ситуации через считанные секунды

оказаться победителем: он рывком перевернулся на спину, коротко ударил напавшего ногой в живот и уже из положения сидя заехал ему в челюсть. Тот отлетел к противоположной стене и затих.

В дверь продолжали настойчиво звонить, Мерин поднялся, поправил на себе разорванную одежду, зажег свет. В углу, свернувшись калачиком, полулежал молодой парень. Ладонью он прикрывал лицо, на ковер сквозь дрожащие пальцы капала кровь – очевидно, целясь в скулу, Мерин ненароком захватил и нос противника.

– Лежи пока, открою, потом разберемся. – Он повозился с незнакомыми запорами, распахнул дверь.

– В чем дело?! Вы что, с ума сошли? Вызвали «скорую» и не открываете? Что случилось? Вы кто? – Трое в белых халатах, не уступая друг другу дорогу, ворвались в помещение.

– Я из уголовного розыска, – Сева полез в карман за удостоверением, – тут на днях произошла кража...

– Да знаем мы, знаем, а не открываете-то почему? Что с тобой, Герард, – ахнул один из «халатов», нагнувшись над безмолвно скрюченным молодым человеком. Тот зашевелился.

– Нормально все, идите к деду.

– У вас кровь на лице!

– Нормально.

«Халаты», испуганно оглядываясь, потопали в кабинет Антона Игоревича: по всей видимости, география помещения была им хорошо знакома. Мерин нагнулся над Герардом.

– Ну что? Жив?

– Помоги до ванной. Зря ты так – убить мог.

– А ты не зря?

– Они к деду цепляются, чтоб скорей помер.

– Кто «они»?

– Все. Помоги, говорю. Темно. Не вижу ни хрена.

Герард действительно являл из себя жалкое зрелище – видимо, от испуга Мерин не рассчитал силы: из носа струйками текла кровь, ноги подкашивались, его швыряло из стороны в сторону, как матроса на палубе попавшего в шторм суденышка. Вместе они доковыляли до ванной комнаты.

– Справишься один?

– Не отпускай «скорую»: по-моему, сотрясение. – Он опустился на колени и, ухватившись за край унитаза, сунул туда голову.

Мерин вернулся было в кабинет Марата Антоновича – тот громко храпел, неудобно уложив лицо в разбросанные по столу рукописи.

В прихожей топтались «халаты».

– Бумагу вы подпишете?

– Какую бумагу?

– О вызове – какую! О нашем приезде. Квитанцию. Где Твеленев?

– Какой Твеленев? – не понял Мерин.

– Герард – какой! Где он?

Из ванной донеслись недвусмысленные, усиленные раструбом унитаза звуки освобождающейся от излишеств утробы. «Халаты» переглянулись.

– Это он?

– По-видимому.

– Что он там делает?

– Блюет, должно быть.

Пожилой врач клинышком бородки кивнул санитару в сторону ванной, тот скрылся за дверью.

– Подпишите вызов и время прибытия, нам без этого нельзя. – Он достал авторучку, протянул Мерину. – Вот, возьмите.

– Как он себя чувствует?

– Кто?

– Антон Игоревич.

– Лучше нас с вами. Во всяком случае в данную минуту гораздо лучше своего внука. – он все той же бородкой ткнул в сторону ванной комнаты.

«Внука?!» – чуть не вырвалось у Мерина, но он вовремя сдержался.

– Скажите, доктор, у него со слухом все в порядке?

– У композитора? Абсолютно.

– А со зрением?

Врач недоуменно повернул к нему бородку.

– Вас как по имени-отчеству, молодой человек?

Мерин представился.

– Всеволод Игоревич, у Антона Игоревича и со слухом, и со зрением, и с памятью, равно как и со всеми прочими органами внутренней секреции, поверьте мне, старому эскулапу, полный порядок. Лучше бывает только у пациентов вашего возраста. У него, к сожалению, совесть пошаливает: измучил и нас, и родственников. Но это уж, как говорится, область нетрадиционной медицины.

Дверь ванной комнаты распахнулась: санитар держал под руки белилообразного Герарда.

– Что с ним? – свой вопрос врач сопроводил кивком бородки в сторону висевшего на санитаре молодого человека.

– Лежать надо. Похоже, мозг. Оклемается. Куда его?

Все три халата одновременно посмотрели на Мерина.

– Я не знаю... Он что, не может говорить? Он в сознании? Герард, – Сева попытался приподнять его голову, – ты здесь живешь? – Тот, не открывая глаз, промычал что-то нечленораздельное. – Я не знаю, куда его... Не знаю... давайте вот в эту комнату, что ли... – Он открыл ближайшую от него дверь, помог «халату» перенести «тело», уложить на диван.

– Если вдруг что – звоните нам или 03 или по мобильному, номер есть у товарища композитора. – Доктор кивнул бородкой в направлении твеленевского кабинета.

– Что вы имеете в виду – «вдруг что»? – испугался Мерин. – Что «вдруг»?

– Ну мало ли. Все мы под небом ходим. – Старый эскулап сардонически улыбнулся, указав при этом бородкой на потолок, затем ею же кивнул коллегам в сторону входной двери – такая, видно, у него была привычка – использовать бородку в качестве указателя направления, – и все три «халата» растворились в глубине коридора.

Следующие часа два Мерин прикладывал к голове покалеченного им Герарда холодные водяные компрессы, перекапывал аптечку в ванной комнате в поисках обезболивающих препаратов, чистил унитаз, тщась вернуть совмещенному санитарному узлу его порушенное Герардом благовоние... Занятия не из приятных, но не оставлять же «умирающего» на произвол судьбы: а вдруг действительно «вдруг что». Тем более, когда еще может предоставиться такая счастливая возможность – осмотреть квартиру без всякого разрешения на обыск? А поудивляться было чему. Комната, в которой, к радости сотрудника МУРа, не быстро приходил в себя какой-то очередной Твеленев, представляла собой помещение с очевидными даже при беглом взгляде следами недавнего грубого внедрения и надругательства. Судя по висящим на стенах фотографиям, комната принадлежала семейству Заботкиных: кроме Тошки во всех возможных возрастах и невозможных ракурсах были еще два выцветших портрета среднего возраста людей, очевидно, Надежды Антоновны и ее мужа Аркадия Семеновича. Пять плотно зашторенных окон выходили на Тверскую улицу. В простенках между ними когда-то висели картины – подтверждением тому служили умело вделанные в бетон крюки. Напротив окон в хаотичном порядке стояла хорошего желтого цвета (карельская береза?) мебель: полупустой платяной шкаф с распахнутыми дверцами, две напольные жирандоли с оставленными какими-то тяжелыми предметами глубокими вмятинами на верхних плоскостях, овальный, больше похожий на кресло, диванчик и возле

него на боку, словно летящий вверх тормашками, ломберный столик, пианино с вырванными «с мясом» подсвечниками, опрокинутые кресла... Даже большой, из того же желтого дерева, по всей видимости, нелегкий диван – ныне герардово ложе – был выдвинут чуть ли не на середину комнаты. Изящно изогнутая, на резных ножках, целая нетронутая многоярусная «горка» с хрусталем смотрелась среди общего раздрая обиженной девственницей.

Сорванная портьера в проеме левой стены открывала ход в другую комнату, поменьше, также пострадавшую от вандалов. Здесь стояла разворошенная, вздыбленная одеялами кровать, рядом на полу валялся толстый по диагонали испорченный матрас. Трюмо со всевозможными флакончиками, коробочками, баночками было засыпано темными осколками от застекленного упирающегося в потолок стеллажа с пустыми, покрытыми мелкой крошкой полками.

Небольшой письменный столик с вырванными языками ящиков угрожающе щерился тремя старческими ртами, перед ним на ковре вперемешку с непонятного назначения утварью разноцветными пятнами располагались листы бумаги, книги, ученические тетради, конверты... Один конверт особенно привлек внимание Мерина каким-то своим немым напоминанием о смерти: на нем не было ни почтовой марки, ни адреса и фамилии отправителя – простой, очень белый четырехугольник, перевязанный черной лентой. Именно эта траурная графическая несообразность заставила его развязать ленту и достать сложенный вчетверо листок. Листок был до половины исписан нервным, плохо поддающимся расшифровке почерком, но все же кое-что Мерину удалось прочесть.

Вот что было написано карандашом на пожелтевшем от времени листочке «в клеточку», неаккуратно вырванном некогда из школьной тетради.

Солнышко мое, прости, я ухожу... (неразборчиво)... кроме Марата. И перед тобой в первую очередь. Жить с этой тяжестью... (неразборчиво)... Я, я, я, и только я во всем виновота (виновата?), и теперь за этот безуарпый (бездарный?) уход виню только себя: прости, мое солнышко, эту страшную тайну тебе знать не надо. Это горе только мое. И Марата... (неразборчиво)... Дюшенька моя, Дюшечка, Надюша моя... (неразборчиво)... ты умница: ухожу туда, где надеюсь понять – как ТАКОЕ могло случиться, буду молить Бога помочь мне в этом и, может быть, простить. А нет – готова... не всем же... (неразборчиво)... Очень многое хогу (хочу?) сказать тебе за нашу с тобой такую короткую жизнь... (неразборчиво)... не могу... скоро уже: в глазах темно... ничего не... наугад...

Марат все скаел (??)... (неразборчиво)... (неразборчиво)... (неразборчиво)...

Письмо заканчивалось жирной точкой и незначительным разрывом бумаги, видимо, от сломанного в этом месте карандашного грифеля. Подписи не было.

Мерин перечитал написанное несколько раз, дрожащими пальцами разгладил ломкий, кое-где размытый давними водяными прикосновениями листок: то, что это немаловажный ключ к раскрытию недавней кражи и разгадке последовавших за ней событий, он не сомневался.

Обыск на улице Красная Пресня проходил на удивление мирно: ни обмороков, ни стонов, ни обычных в таких случаях угроз, типа – вы за это ответите, вам не поздоровится, не трогайте погаными лапами – ничего подобного, к чему работники уголовного розыска давно привыкли и без чего как-то даже неуютно себя чувствовали: копаться в чужом барахле без сопротивления хозяев, под одними только с их стороны укоризненными, молчаливыми взглядами было неестественно и даже жутковато, так вот – ничего подобного не было. Средних лет женщине с неяркими, но очевидными следами былой красоты на лице, открывшей сотрудникам МУРа и назвавшей себя владелицей квартиры, предъявили ордер, Клавдия Григорьевна – так звали женщину – без особого удивления, как само собой разумеющееся, пробежала глазами бумагу с гербовыми печатями, проводила компанию из четырех человек в комнаты (их было две), сама же расположилась в коридорчике и оттуда с нескрываемым кокетливым интересом во взоре стала наблюдать за происходящим. Со стороны могло показаться, что поставленные в дверях понятия – дама, габаритами

напоминавшая артистку Крачковскую, и ее супруг с лицом недавно уволенного из правительства министра по налоговым сборам по фамилии Починок – больше чувствовали ответственность, волновались и принимали ближе к своим сердцам подобное внедрение в чужую жизнь.

Мерин в обыске участия не принимал: ему предстояло сообщить матери об убийстве сына, и он вот уже минут сорок, с самого своего появления в этой квартире, пребывал в состоянии, близком к бессознательному. Никакие связанные с кражей на Тверской улице находки сотрудников не могли вывести его из оцепенения: ноги свело судорогой, виски гвоздями дырявило изнутри, ладони взмокли, давно сомкнутые зубы не разжимались. Дело дошло до того, что занявшая было себя чтением газеты спокойная и грациозная Клавдия Григорьевна подошла, наклонилась над ним и, очевидно, чтобы не мешать работе следователей, шепотом поинтересовалась:

– Вам нехорошо?

Мерин вздрогнул всем телом.

– А?!! Мне? Почему? Хорошо. Нормально.

– А то я смотрю – может, попить чего? У меня борщ есть. Хотите?

– Нет, нет, – почти закричал Мерин, – я сыт, что вы, не надо... Мне поговорить... с вами...

– Со мной? Ну давайте поговорим, отчего же. Давайте. – Она принесла из прихожей свой стул, села рядом. – О чем? – И поскольку ответа не последовало, высказала предположение. – О сыне?

– Да, о нем...

И в это время заиграл мобильник.

Мерин схватил трубку, долго, постепенно багровея, молчал, затем произнес одно только слово: «Идиоты!!!» – и выбежал на лестничную площадку.

Сотрудники все как один побросали свои дела и вместе с понятыми обступили растерянную Клавдию Григорьевну, требуя разъяснений, но та только в недоумении поднятием красиво очерченных бровей округляла глаза и сокрушенно разводила руками.

– Ваш сын жив! Понимаете – жив!! Он жив!! – заорал вернувшийся в комнату следователь. – Ах, какие же идиоты! Не волнуйтесь, он жив! Садитесь и успокойтесь – жив он! – Мерин силком усадил женщину на стул. – Ребята, все в порядке, жив он, продолжайте, идите, мы поговорим, все в порядке. – И уже спокойнее обратился к не на шутку растревоженной Клавдии Григорьевне. – Не волнуйтесь так, ваш сын жив!

– Да я сама знаю, что жив. Зачем вы мне это говорите? Сегодня утром я проводила его в университет, он у меня юридический заканчивает... Зачем вы...

– Скажите, Клавдия Григорьевна, фамилия вашего сына?..

– Каликин.

– Это по отцу?

– Нет, это моя фамилия, отца у него нет.

– Но... Как?.. А как же?.. Когда-то ведь был, – утвердительно интонацией заключил следователь, но тут же засомневался, – я прав?

– По-разному бывает, – она мило улыбнулась.

– В данном случае был, но мы расстались.

– А фамилия мужа?..

– Заботкин.

– Как?! – Сева не сумел скрыть удивления, зачем-то долго с подозрением смотрел на сидевшую перед ним женщину. – Заботкин?!

– Да, Заботкин Николай Семенович. Что вас так удивило? Он ушел от нас, когда Игорьку было два месяца, – она опять улыбнулась, – два месяца до появления на свет.

– Это как? – Мерин был явно не в форме.

– Это так. – Она продлила не сошедшую еще с лица улыбку, затем посерьезнела. – Я была на восьмом месяце беременности, когда он ушел от нас к другой женщине. Там у него,

я потом случайно узнала, тоже кто-то родился, но не сложилось.

– Но отчество у Игоря?..

– Николаевич, отцовское.

– А почему фамилия?..

– Это дурацкая история. Когда я вернулась из роддома и первый раз вышла с завернутым в одеяльце сыном на прогулку – соседи к тому времени все уже об уходе Николая знали... – Клавдия Григорьевна, безусловно, была хорошо осведомлена, что улыбка ее украшает, и часто этим пользовалась, – вы слышали такую поговорку: не было у бабы ЗАБОТ – купила баба порося?

– Д-д-а-а, – неуверенно признался Мерин.

– Так вот, когда я проходила с сыном на руках мимо сидящих у подъезда соседок, одна из них сказала: «Не было у бабы ЗАБОТкина – купила баба порося». И все рассмеялись. Мне так обидно стало: она моего сына поросенком назвала. Я больше на улицу выходить не хотела. Мы даже со временем на другую квартиру переехали с сыном – обменяли на меньшую, у нас была на Тверской.

– Скажите, а чем занимался?..

Клавдия Григорьевна не давала Мерину договорить, улавливала смысл его вопросов с первых же слов.

– Когда мы познакомились, он занимался бизнесом: где-то что-то покупал, куда-то отвозил и кому-то продавал. Я не очень в курсе дела. Бизнес. Но это был 82-й год, тогда это как-то по-другому называлось. Спекуляция, если не ошибаюсь.

– Он признал?..

– О нет, видеться не претендовал, от алиментов я отказалась. Коля оказался не очень любящим отцом, они до сих пор так и не виделись.

– А сейчас?..

– Он за границей. В Париже, кажется. Его здесь в девяностом пятом посадили как теневика, дали пять лет, он отсидел два и уехал за границу.

– Освободился досрочно за?..

– Не совсем «за», но я не очень в курсе. Откупился, думаю.

– Понятно. Вы извините меня, я сейчас. – Мерин поднялся.

– Да, да, конечно, это вы меня извините, я сама должна была: по коридору налево, у нас совмещенный, розовое полотенце.

Руководитель следственной бригады покраснел, пробурчал что-то невнятное и буквально через мгновение, чтобы ни у кого и мысли не возникло о пользовании им иногда туалетной комнатой, вернулся и выставил на стол перед хозяйкой квартиры небольшую коробочку.

– Скажите, Клавдия Григорьевна, как попали к вашему сыну эти предметы?

Та провела равнодушным взглядом по желтому блеску драгоценностей, подняла на Мерина глаза.

– Что это?

Мерин неотрывно смотрел на женщину: на продувную бестию она никак не тянула, спокойствие, похоже, было подлинным – ни одна жилка на ее лице не шелохнулась, но наивность вопроса его сильно смутила. Он молчал. Клавдия Григорьевна повторила вопрос.

– Что это? Где вы их взяли?

– В комнате вашего...

– В комнате Игоря?!

Удивление опять же выглядело неподдельным, только в округленных вскинутыми бровями глазах замелькали искры недоверия.

– Вы нашли это в комнате Игоря?!

– Откуда это у него?

– Понятия не имею. Он не часто делится со мной своими планами – мужчины скрытны, а в комнату этого мужчины я не захожу шесть лет уже, с его семнадцатилетия.

– И все-таки, как вы думаете, где он мог их... – Сева выдержал небольшую паузу, – взять?

– Обменял где-нибудь. Это у него с детства: обязательно унесет из дома что-нибудь, обменяет себе в ущерб, как правило. От отца, должно быть.

– Вы знаете приблизительную стоимость этих вещей?

– Они что, золотые?

– Более чем.

– И камни? – Клавдия Григорьевна, обнаруживая сильную близорукость, поднесла к глазам золотую брошь с многокаратным бриллиантом. – Вы хотите сказать, что это драгоценный камень?

Мерин в очередной раз промолчал, и ей пришлось повторить вопрос.

– Драгоценный?

В комнату вошел проводящий обыск сотрудник, зашептал в меринское ухо:

– Там, на стене, фотографии... черно-белые, в рамках, хочешь взглянуть: любой Хастлер отдыхает... – он захихикал.

Клавдия Григорьевна недвусмысленно наострила ушки, и это не проявляемое ею доселе любопытство к происходящему не осталось незамеченным.

– Василий Степанович, говорите, пожалуйста, вслух. Какие могут быть секреты от хозяйки дома по поводу фотографий на стене комнаты ее сына? Правда же? – Он повернулся за подтверждением своих слов к сидящей напротив женщине.

Сотрудник несколько смутился, кашлянул, но приказ, есть приказ.

– Там, на стене, фотографии Клавдии Григорьевны.

– Ну и что? – По неожиданно побледневшему лицу матери Игоря Каликина Сева понял то, что в большинстве случаев даже предположить трудно. – И что? Что в этом особенного? Ну фотографии...

– Они там в позах, – промямлил сотрудник.

Мерин, не отрывая глаз от застывшей женщины, продолжил:

– Василий Степанович, я очень прошу вас – изъяснитесь понятнее. Что значит «в позах»? Кто «они»? Каких позах?

– В этих... в порнографических... Камасутра... С мужчиной...

– Ну вот что! – Вальяжная, демонстративно спокойная до этого момента женщина неузнаваемо изменилась: она резко поднялась, ударила кулачком по столу, стеариновую маску лица покрыли красные пятна. – Стоп! Это уже выходит за пределы вашей компетенции! Вы милиция, а не сотрудники отдела по соблюдению нравственности, тем более что в этих фотографиях нет и намека на то, что возбудило ваше блудливое воображение! Будьте любезны заниматься своим делом! И только своим!

– И действительно! – в тон ее пафосу вступил Мерин. – Сержант Степанов! Будьте добры заняться вверенным вам в обязанность делом: переснимите на фотографическую пленку все поразившие ваше воображение снимки для предоставления их в органы министерства внутренних дел на предмет исследования и возможного использования в деле раскрытия совершенной кражи и покушения на убийство. Действуйте!

И когда подавив в усах смешок сержант Степанов с солдатским «Есть действовать!» скрылся за дверью, руководитель следственной бригады по особо важным делам повернул к разгневанной даме, как выражается майор Трусс, извинительную мину своего улыбающегося лица.

– А мы еще немножко побеседуем, не возражаете? Присядьте, пожалуйста.

Каликина послушно села, потянулась к лежащей на столе сигаретной пачке, по дороге передумала и, сиюсь погасить не красящую ее гневную вспышку натужно улыбнулась.

– Простите, не люблю, когда... когда... – она поискала слово, – когда... Не люблю, когда не своими делами...

– Так кто же это любит, абсолютно с вами согласен. Поэтому давайте займемся нашими. Да?

– Давайте. – Улыбка продолжала блуждать на лице не вполне еще пришедшей в себя женщины.

– Клавдия Григорьевна, я так понимаю, обстоятельства появления этих предметов в вашей квартире, – он взвесил на ладони коробочку с драгоценностями, – вам неизвестны.

– Совершенно верно, неизвестны. Если бы были известны...

– Хорошо, – на этот раз уже Мерин не дал ей договорить, – допустим. В таком случае я вынужден ввести вас в курс некоторых событий. Видите ли, на днях в Москве произошла серьезная кража – под словом «серьезная» я имею в виду размер похищенного – и среди пропавших единиц пострадавшей стороной подробно описаны в том числе и многочисленные драгоценные украшения...

Каликина не выдержала.

– И при чем здесь...

– ...часть из которых сейчас лежит перед вами, – он с расстановкой закончил фразу.

Наступила долгая пауза в течение которой женщина, того не скрывая, мучительно силилась понять, что же от нее хочет этот молодой человек. Наконец, она отшатнулась от стола и громко вскрикнула:

– Эти?!!

– Они самые, Клавдия Григорьевна, – с сожалением в голосе подтвердил Мерин.

И опять ему показалось, что поведение хозяйки квартиры лишено лукавства: недоверие, испуг, страх, отчаяние, возмущение, даже стыд – самые разнообразные чувства, сменяя друг друга, отражались на ее лице, и вся эта гамма смотрелась достаточно убедительно.

Подумалось: если сейчас вскочит, затопает ногами, завершит – значит, вины за собой она не чувствует, проявления ее искренни, и он, руководитель следственной бригады отдела МУРа по особо важным делам Мерин Всеволод Игоревич, безоговорочно прав в своих психологических выкладках. Жаль, нет рядом Трусса.

– Это кто-то подбросил? Вчера у него были друзья, сидели допоздна, – неожиданно ссутулившая свою дотоле балеринную спину женщина заговорила так тихо, что раздосадованный этим обстоятельством следователь про себя даже чертыхнулся. – Почему вы думаете, что это украденные?

– Почему думаете? – уточнил он вопрос, – а потому думаю, что на пальце вашего сына был обнаружен перстень.

– И что? – не сдавалась Каликина.

– А то, что этот перстень опознал вызванный в больницу один из пострадавших.

Мерин блефовал, никакого опознания не было, но он пошел на эту авантюру сознательно, рассчитывая раскрутить собеседницу на как можно большие откровения.

– Больницу? – без испуга, также тихо переспросила Каликина. – Какую больницу?

– Районную.

– А при чем здесь Игорь?

– Клавдия Григорьевна, дело в том, что вашего сына нашли в кабине лифта университета на Воробьевых...

– Нашли?! – Она начала медленно подниматься, Мерин, поняв, что бездарнейшим образом сплеховал, обхватил ее за плечи, пытаясь усадить на стул.

– Не волнуйтесь, все в порядке, я же вам сказал – все в порядке, он жив, жив-здоров...

Женщина рывком скинула его руки, сорвалась с места, мотнулась в прихожую.

– В какой он больнице?! Немедленно скажите, в какой больнице! Я требую...

– Сядьте! Сядьте и успокойтесь. Я не знаю, в какой, а если бы и знал – вас туда все равно не пустят: ваш сын подозревается в совершении преступления. Повторяю: он жив, большего вам никто пока не скажет...

– Но что значит «нашли»? Почему «нашли»? Он что, без сознания? Без сознания?! У него больное сердце. Отвечайте: без сознания?! – Чтобы не упасть, она, ища опору, замахала руками, Мерин успел ее подхватить, заорал.

– Осторожно! Осторожно!! Вы так упадете! Принесите, пожалуйста, стакан воды и что-нибудь от сердца, – обратился он к возникшему в дверях понятому «Починку». Тот понимающе мотнул головой и остался стоять на месте. – Клавдия Григорьевна, у вас есть валерианка?

Женщина не ответила.

– Поищите в ванной или сердечное что-нибудь.

– Что именно «сердечное»? – «Починок», по-видимому, привык к исполнению более конкретных указаний.

– Откуда я знаю?! – разозлился Мерин. – ЧТО-НИБУДЬ! Быстро!

Человек с лицом уволенного из правительства министра, недоуменно пожав плечами, вышел.

– Клавдия Григорьевна, сядьте, прошу вас, сядьте. Давайте вот сюда сядем, – Сева подвел висевшую у него на руках женщину к дивану, подоткнул с двух сторон подушками. – Посидите так, я сейчас.

Он вышел на лестничную площадку, достал мобильный телефон.

– Анатолий Борисович? Это Мерин. У меня к вам просьба: мне позвонили из больницы, в которую увезли Каликина, у меня их номера нет, сказали, что он жив. В морге? Как в морге?! Пришел в сознание в морге?! С ума можно сойти! Ну хорошо хоть не в гробу. У меня просьба – узнайте, пожалуйста, как там сейчас дела, а то у меня тут его мамаша беспокоится. перезвоните? Спасибо.

Трусс перезвонил минуты через три.

– Начальник? Слушай, тебя кто-то игранул, Каликин Игорь Николаевич скончался час назад не приходя в сознание. В морг привезли уже труп. Ты разберись – кто так шутит. Але. Але, начальник. Севка, ты слышишь? Мерин! Ответь подчиненному, засранец! Ну ладно, дома посчитаемся.

В трубке раздались короткие гудки.

Сева вышел на улицу Красная Пресня и пришел в сознание только на Петровке, в камере предварительного заключения.

Антон Твеленев встретил Мерина, как в советские времена республиканские вассалы встречали генсеков: сорвался со стула, вепрем налетел, долго не выпускал из объятий, разве что расцеловал не в губы.

– Ну наконец-то, Севка, сто лет прошло, а тебя шаром покати. Мне здесь надоело, старик. Телевизора нет, шампанским не обносят – скучно. Телефон отобрали, шнурки, ремень, деньги, сигареты – все, суки, отобрали. И как жить дальше? Я им говорю – за что, мать вашу так?! Молчат, рыбы вонючие. В воронок головой вперед и к себе в конуру заблеванную. Теперь вот к вам перевезли, слава богу, здесь хоть поссать можно, а то просто беда. Тебе Тошка-кошка дозвонилась?

– Дозвонилась.

– Тогда что долго так? Мне заточение противопоказано, у меня клаустрофобия...

– Тебя допрашивали?

– У вас – нет. А в районной ментовке мудрец какой-то, вроде вчерашних муровцев, соучастие приклеивал: подпиши да подпиши повинную. Я говорю – ты что, с ума съехал, дядя, какую повинную, ты о чем? Хотел – будто я навел Игоря. Я говорю, ты сначала найди кто Игоря убил, а потом мне дело шей, говно в тряпочке. Игорь, между прочим, мой лучший друг, почти родственник...

– Каким боком?

– Средним, «каким». Он сын Николая Семеновича Заботкина от первого брака, а брат его Аркадий Семенович – муж моей тетки Надежды, отец Тошки. А Тошка мне двоюродная сестра, сечешь? Значит, кем мне приходится Игорь Каликин?

– Не знаю, – честно признался Мерин.

– Я и сам не знаю, но какой-то родственник, это точно, согласен?

– Скажи, Антон, кто такой Герард Твеленев?
– Ты выпустишь меня отсюда или я объявлю голодовку, сообщу в международку по правам человека и тебя вместо меня посадят...
– Где ты находился во время убийства?
Антон на какое-то мгновение осекся, замолчал, вопрос явно застал его врасплох.
– Во время убийства Игоря?
– Нет. Старухи-процентщицы.
– Какой старухи? А-а-а, ничего, остроумно. – Он скроил презрительную физиономию.
– Я вопрос задал.
– Это допрос?
– Конечно.
– Ты меня допрашиваешь?
– Да, я тебя допрашиваю.
– Выжрал мой коньяк и допрашиваешь?
Мерин усилием воли сдержал улыбку, сказал спокойно:
– Выжрал и допрашиваю.
– Подонок.
– Так где?
– Что?
– Слушай, перестань кривляться, а. Думаешь, мне легко тут с тобой лясы точить? Не хочешь со мной – пришлю кого-нибудь, по-другому заговоришь. Речь идет не о ваших поганых брошках – тогда бы и выживался на здоровье – тут человека убили. Понимаешь: убили чело...

Предположить, что Антон поведет себя подобным образом, было практически невозможно: он наскочил на не готового к подобному повороту событий Мерина, вцепился ему в грудки, вдавил в стену, зашипел. Перекошенное злобной гримасой лицо оказалось так близко, что Сева без труда мог пересчитать пузырьки возникшей в углах его рта пены.

– Ты кого тут из себя корчишь, гуманоид дерьмовый?! Что ты мне человеколюбием-то своим трясешь – «челове-е-ка уби-и-ли»?! – Он передразнил меринскую интонацию. – Ты про любовь к человеку в книжках небось вычитал, ментура гребаная, а теперь меня научить решил? А ты знаешь, что у меня ближе Игоря никого нет... не было, а? И не будет никогда! Это ты знаешь?! Отвечай! Знаешь?! Вот и вали отсюда вместе со своим гуманизмом сраным, пока я тебя не прибил, будь что будет, зато тебя истреблю, коптилка вонючая...

К этому моменту Мерину удалось освоиться в ситуации: он не без труда отцепил от себя напавшего, спихнул его на металлическую сетку кровати, носовым платком вытер забрызганное слюной лицо.

– Посиди чуток. – Он по-скоробогатовски заходил по камере.

Антон уткнулся в колени, обхватил голову руками – его трясло – и зарыдал в голос.

– Я найду его, обещаю. – Мерин подсел на край кровати, и когда Твеленев затих, спросил:

– Он один был?

– Кто?

– Убийца.

– Не знаю. Лифт был битком, все прижались, как кильки, на Игоре зеленый пиджак был, я еще спросил: «Ты себя зеленым горошком в банке не ощущаешь?» – он засмеялся, хотел что-то ответить, а потом смотрит как-то странно и начинает опускаться, я говорю: «Устал, хочешь прилечь?», а он смотрит на меня и опускается. Лифт остановился, все к выходу ломанулись, он упал и кровь на полу под ним. Я его вытащил, он говорит – позвони в «скорую», меня, кажется, убили. Так и сказал: «кажется». Кто-то начал звонить, а он глаза закрыл и больше не открывал... – Антон опять затрясся, рыдания его походили на кашель.

– Мне кто-то позвонил из автомата, сказал, что он жив, я у матери его был. Зачем, как ты думаешь?

Антон мотнул головой, вытер лицо ладонями.

– Не знаю. Ты зачем к Клаве ходил?

– Районную ментовку тоже из телефона-автомата вызвали, не с мобильного...

– Зачем к Клаве ходил?

– У него на пальце перстень был, который в списке украденного...

– Мой подарок. Мне его Лерик на день рождения в прошлом году подарила, а я – ему.

– Лерик – это кто?

– Лерик? Мать моя, ее все так называют. Так зачем?

– Перстень вернуть.

– Вернул?

– Да.

Антон коротко мазнул опухшими глазами по лицу Мерина, затылком ударил в стену.

– Ты, Сева, врешь очень неумело. Для твоей профессии это большой недостаток. Ты ходил к Клаве Каликиной, потому что подозреваешь Игоря в краже. Так? Так. Теперь слушай меня: даже если бы ты нашел у них в квартире все украденное барахло, знай – ни Игорь, ни Клава к этому не причастны.

– Почему ты называешь ее Клавой?

– Ее так зовут. А-а-а, почему без отчества? Ей всего тридцать девять, она родила в шестнадцать.

– У него есть девушка?

– У Игоря? Есть. Была.

– Кто?

– Мать.

– Понятно.

Они помолчали. Антон перестал всхлипывать и затих. Мерин подсел поближе к нему.

– Кто такой Герард?

– Мой незаконнорожденный брат по матери. Доотцовый любовник Лерика. Между прочим – брат Игоря по отцу.

– Заботкин?! – Сева искренне изумился.

– Николай Семенович, он самый. Лерик мне рассказывала – ходок, каких поискать: всех ее подруг перетрахал, как только какая забеременеет – исчезал. Многие родили, так что, возможно, у меня еще братья-сестры отыщутся. Я фотографию видел – помесь носорога с крокодилицей, но женщины без ума.

– А почему Твеленев?

– Отец усыновил. Лерик, говорят, умолила, она у меня сообразительная: не захотела наследство терять. Вот теперь небось локотки покусывает: уплыли бриллиантики.

При упоминании «бриллиантиков» Мерин вздрогнул, кто-то с силой ударил его в виски – кому понадобилось звонить из автомата о том, что Игорь Каликин жив? И главное – зачем такая чудовищная ложь?

Он схватил мобильный телефон.

– Василий, вы еще на Пресне? Нет?! Она одна осталась?! – Буркнув на ходу: «Потерпи еще, я скоро», он выскочил из помещения и чуть не сбив с ног отскочившего охранника помчался по коридору.

На улице остановил первую же попавшуюся машину.

Показал удостоверение: «Прошу, как можно быстрее».

Через семь минут взбегал по лестнице дома № 24 по улице Красная Пресня.

Дверь была закрыта, но не заперта.

Он дернул на себя ручку, ворвался в комнату.

Клавдия Григорьевна лежала на полу в луже крови с перерезанным горлом.

«Дюша» Заботкина в свои 55 лет выглядела конечно же не на тридцать, как бы ей этого хотелось, но десятку с паспортного возраста можно было сбрасывать смело. Что к ее

удовольствию и делали все сохранившиеся еще с молодости многочисленные поклонники: они, словно сговорившись, при каждой встрече настойчиво вспоминали про «бабу – ягодку опять», намекая тем самым, что больше сорока с небольшим тут и не пахнет. А самые льстивые, рассчитывающие на особое к себе расположение, те прямо заявляли: «Потрясающе выглядишь! И почему говорят: сорок лет – бабий век?»

Справедливости ради можно сказать, что для своих лет выглядела она, действительно, неплохо: стройная, почти моложавая фигура, гладкое без видимых морщин лицо, тонкая шея, красивые, всегда многоухоженные волосы... Но главной гордостью, и, пожалуй, не только ее, но и всего семейства Твеленевых, были ноги. Лет в тринадцать, когда ей благополучно удалось перейти Рубикон полового созревания, они (ноги) неожиданно превратились в эдакие магнитики, притягивающие невольное внимание мужского окружения, а с последующим приближением к более оформленному возрасту и особенно со входом в российскую моду пугающих все возрастное население страны мини-юбок, прикрывающих разве что самые до поры строго охраняемые девичьи интимности, внимание это стало чуть ли не маниакальным. Редкому уважающему себя существу мужского пола удавалось пройти мимо, не вывернув голову и не заострив на удаляющихся ногах своих восхищенно-завистливых взглядов.

Да и почему было не отказать на время очевидным признакам неизбежной старости, если ужасы Отечественной войны, не говоря о Гражданской, Надежду Антоновну коснуться не успели, если гениальный радетель лагерной жизни к моменту ее появления на свет уже год, как благополучно отправился усовершенствовать жизнь загробную, а материальная обеспеченность обласканного властью отца-композитора позволяла не интересоваться не чем иным, кроме собственного удовольствия? Слышала она о каком-то якобы раздавленном сталинскими репрессиями и пропавшем затем без вести родственнике, но в семье говорили о нем так редко, что и это, казалось бы, трагическое для подавляющего большинства российских людей событие не отразилось на ее характере – легком, жизнелюбивом, свободном и своевольном.

Ее все любили, носили на руках, потакали любому даже намеку на желание: чего-нибудь пожелать она никогда не успевала – «утром в газете – через час в куплете», как говорил брат Марат. Однажды исполняемость отцом ее прихотей выросла до пугающих воображение размеров и с тех пор осталась в семье эдакой притчей во языцех – на любые трудновыполнимые просьбы долгое время следовал ответ: «Луна у подъезда». В 1968 году, восьмого марта, в день своего четырнадцатилетия восьмиклассница Дюша за праздничным столом поделилась со сверстниками мечтой: «Ах, как хотелось бы покататься по Москве на гоночном <кадиллаке>, на что один из мальчиков, слывший признанным авторитетом в вопросах практической жизни, заметил: «А на Луне полетать нет желания?» Все рассмеялись – шутка возымела успех. И то правда: кататься по Москве в открытой иностранной машине (отечественные средства передвижения можно было считать «открытыми» только в случае, когда у них отваливались дверцы), в далеком застойном 1968 году кататься по столице в таком автомобиле можно было исключительно в сладком предутреннем сновидении.

И каково же было потрясение всех собравшихся на следующее утро за чайным столом домочадцев, когда вошедший в комнату Антон Игоревич торжественно объявил: «Надежда Антоновна, Луна у подъезда!»

Прильнувшие к окнам, не поверившие ушам своим твеленевцы были посрамлены: внизу, прямо напротив их подъезда, веером вокруг себя отражая роскошным розовым телом робкие солнечные лучики стоял неестественной красоты двухместный БМВ с открытым верхом.

После окончания школы Дюша осваивала в ГИТИСе премудрости актерской профессии в несколько приемов – бесконечные романы с долгими периодами отбывания к местам службы избранников трижды приостанавливали желательную непрерывность цепи познаний. Искомое семейного благополучия тем не менее не случалось, и каждый раз после того, как совершенная ею на личном фронте ошибка становилось очевидностью, отцу-

композитору приходилось тратить немало усилий, чтобы восстановить любимое чадо в прежнем студенческом статусе. Не без определенных усилий ему это удавалось, учение продолжалось восемь лет, но так и не дойдя до своей завершающей стадии, оборвалось случайным знакомством и последующей безумной любовью с болгарским актером, не на шутку увлекшимся, помимо стройности ее ног, еще, по-видимому, и великолепием ее дорогого транспортного средства, и тестем-композитором, пообещавшим молодым в качестве приданого загородную виллу где-нибудь на берегу Черного моря в районе Варны.

Пять лет после этого жена Благоя Благоева без особого успеха изучала болгарский язык, как умела воспитывала двух очаровательных детишек от двух предыдущих браков своего оказавшегося весьма любвеобильным супруга, хозяйствовала, принимала в роскошном варнинском доме (композитор сдержал слово) многолюдные компании, с головой уходила в романы, благо Благой Благоев почитал за благо не часто утомлять красавицу-жену своими супружескими домогательствами – он с утра до ночи самозабвенно оттачивал актерское мастерство в Софийском драмтеатре – и сама принимала участие в нередких столичных раутах так называемой болгарской интеллигенции.

Однако шло время, и однообразное существование всеми желанной вдовушки при живом муже-артисте стало ее тяготить. На дворе властвовал 84-й год, как ни крути, а тридцать – не семнадцать, на нее уже недвусмысленно поглядывали мужики, над сединами которых она совсем еще недавно только посмеивалась. Ни нормальной семьи, ни детей, ни Москвы, по которой, как оказалось, она успела сильно истосковаться. Да и что это за жизнь без ее родной Ксеночки (так она за глаза называла Ксению Никитичну), без отца и его утомительной во всем безотказности, без любимого дурачка Маратки, которому уже – с ума сойти – сорок (!), а он до сих пор бобыль бобылем...

Встреча с Лериком произошла случайно и оказалась весьма кстати.

Они познакомились в Софии в дорогом женском бутике на улице Димитрова: Дюша примеряла купальник, и какая-то незнакомая молодая женщина, сидевшая в кресле с чашечкой кофе в руках, позволила предложить себя в качестве опытного стилиста.

– Вам, простите что вмешиваюсь, больше пойдет раздельный: вашу грудь скрывать преступление.

Дюша хотела не обратить внимания – прозвучавшая фраза показалась несколько фривольной в устах незнакомой женщины, но неожиданно для себя довольно грубо, улыбнувшись, ответила:

– Непривычно слышать такую незаслуженную лесть из уст женщины.

– Ну, во-первых, не лесть, это вы напрасно, а во-вторых, вы неправильно меня поняли: я не по этой части, мне бы с мужиками разобраться.

Твеленева мельком оглядела женщину: не более двадцати пяти, невысокая, с неброскими, правильными чертами лица, ухоженная, дорого, весьма откровенно одетая брюнетка. Ее, без сомнения, повышенный интерес к противоположному полу выдавали лукавые, ищущие, готовые к приключениям голубые глаза.

– Не удастся?

– Что? С мужиками-то? Не всегда. – Она обнажила голливудские зубки. – К ним нужна опытная дрессура. Но надежды не теряю: в поиске. Ева, – она обратилась к продавщице, – покажи, пожалуйста, англичу, вам вчера привезли. – И пока девушка выполняла просьбу, она достала тонкую сигаретку, щелкнула зажигалкой. – Еще раз простите за вторжение, взгляните, – незнакомка поворошила на прилавке принесенные купальники, – последние модели. Вот это, например, по-моему специально для вас, скажи, Ева.

Та в силу национальных традиций отрицательно замотала головой в разные стороны: «Да, мадам, безусловно это ваше».

– Примерьте, примерьте, – настаивала поклонница раздельных купальников, – сами убедитесь.

Дюша с детства не терпела насилия, чужое мнение, от кого бы оно ни исходило, всегда поверяла своим желанием, прислушивалась исключительно к собственному вкусу, но тут

почему-то безропотно согласилась.

Английский, в меру яркий, в меру закрытый и в то же время выгодно не скрывающий несомненных достоинств Дюшиной стати купальник действительно был великолепен. Она оплатила покупку, и женщины вместе вышли на улицу.

– Ну что ж, я ваша должница, не люблю быть в долгу. Как вы относитесь к шампанскому с мороженым? – По непонятной причине возникшее чувство зависимости от этой молодой женщины ее несколько уязвило. – Давайте знакомиться: Надежда Благоева-Твеленева.

Та вскинула ресницы.

– Твеленева? Вы дочь композитора Твеленева? Дочь?!

– Да, дочь. А вы подумали – мать? Или внучка?

– Того самого – Антона Твеленева?! – не уняла удивления женщина. – Песенника?!

– Ну он не только песни – до войны симфонии писал. Потом, правда...

– Господи, ну надо же, в нашей семье его обожают, отец всегда поет... Меня Валерией зовут, в просторечии – Лерик, никто по-другому не называет: Лерик и Лерик. С детства привязалось.

К шампанскому с мороженым Лерик отнеслась с повышенным интересом, так что в тот день они, обе не отягощенные никакими неотложными заботами, сначала засиделись в кафе, затем отобедали в ресторане, а ближе к заходу солнца Дюша пригласила новую знакомую в свою многоярусную обитель – повечерять. Общались легко, без напряжения, в обоюдное удовольствие, выпито было с немалым лихом, так что женские языки узелками не завязывались. Поначалу Твеленеву несколько покоробливало Лерикино свободное обращение с сексуально-ненормативной лексикой, но ближе к рассвету она притерпелась и даже стала находить в этом нечто самобытное, наивное и даже женственное.

За эти незаметно летящие часы выяснилось, что Надежда Благоева в своем болгарском заточении счастливой судьбой похвастать не может; что от бесконечных влюбленностей и романов она устала, как устают от хорошей пищи и дорогих напитков – хочется самогону-первача с частичком в томате; что муж Благой ей давно надоел и детей от него она давно не хочет, а детей давно уже хочет, уже давно пора, если не давно уже поздно: «Мне ведь тридцать уже, тебе врать не буду». – «Тридцать?!?! – ужасалась подруга Лерик. – Не ври!» – «Не вру, сама не верю».

– А почему не уйдешь?

– Не знаю. Лень. Жалко.

– А он как работает?

– Он артист, – не поняла вопроса Твеленева-Благоева.

– Нет, я имею – в постели как?

– В постели? Нормально.

– Ну другие лучше или хуже? Или также?

– Не знаю... Как-то это обсуждать... как-то...

– А почему не обсудить? – очень искренне удивилась Лерик. – Мы с тобой, чай, одного поля ягоды, с кем еще поделиться? Ведь по-разному бывает, правда? Бывает хорошо, бывает плохо. Бывает вообще никак. Тут совместимость самое главное. Без совместимости никакие узы не помогут. Как тебе с ним?

– Не помню.

– Ну-у-у, это уж совсем ни в какие ворота: ни в щель, ни в рот, ни в наоборот. – Лерик налила в свой бокал шампанское, выпила залпом. – Не помнит она! Так зачем тянешь? Давно надо вильнуть мальчику попойкой на прощание и искать, искать, искать... хоть пол страны переискать. Это не простое дело, хоть многим и кажется, что блядство. Нет, это не блядство, блядство, когда за деньги, вот это блядство, а это называется трудоемким поиском залога счастливой супружеской жизни. – От переполнявших ее чувств она заходила по комнате. – Чем он тебя, если не прибором, приклеил. Красотой, что ли?

Дюша кивнула на висевший на стене большой масляный портрет Благоя в роли

Александра Баттенбергского, но та даже не удостоила его взглядом.

– Так красивых за версту обходить надо! Красивых и высоких. Это же аксиома: у одних секс на морде только, а у других его вообще нету – все в рост ушло. Коренастый урод – вот мужик! Его природа многим обделила, зато о болванке позаботилась: крепкая, что твой черенок от лопаты.

... За эти часы выяснилось, что фамилию свою Лерик обнародовать не может, секрет, а то узнают – убьют, чего доброго: отец в ЦК работает. «Вон, видишь, под окнами качок плосконосый ходит – охрана, будь она неладна, его тоже на совместимость проверяла – нет, не моей постели посетитель. Живу пока под маминой фамилией – Неделина. Но скоро эта подпольщина закончится, и я из нее вылезу: советской власти вот-вот писец придет...»

– Ты что говоришь, – испугалась Надежда, – что значит «писец»?

– А писец – это то же, что хана – литературный заменитель названия нашего с тобой детородного органа, когда материться неохота, а крепко высказаться надо. Писец Советам скоро придет, как пить дать писец. Во заживем! – Она торжествующе задрала кверху большой пальчик. – Папаня уже пару заводиков купил мне в приданое...

– Как купил?! – Дочь композитора не была готова к подобным откровениям на политико-экономические темы.

– А как покупают? Как все теперь. Как Форд в свое время. Или там Морган-хуерган. Главное – не опоздать...

... За эти часы выяснилось, что год тому назад Лерик благополучно родила, припозднившись с абортom, от отцовского протеже Заботкина Николая Семеновича, обоюдная совместимость с которым оказалась настолько безукоризненной, что у нее и мысли не возникало о его возможном исчезновении в самый, что называется, решающий момент. «Вот уж у кого щенячий рост и не для дневных свиданий внешность компенсировались отменной работоспособностью. Но – не судьба, подлецом оказался: как узрел мои двадцать недель – слинял, как и не было. Сейчас вот маленько нервишки поправлю и в Москву, в Москву, в Москву, как говаривали сестренки Прозоровы, на новые поисковые подвиги: девятнадцать уже – не шутка – нужен богатый костыль с дальней перспективой и половыми достоинствами. Вот что, Надюха, – Лерик Неделина фамильярно обняла свою новую подругу, – у меня от путевки три дня осталось. Собирай монатки, билет я тебе через посольство достану, и пусть твой... как его... Баттенбергский... пусть он клизмочку свою теперь соотечественницам вставляет, а то увез русскую красавицу и думает – ошастливил?! – От негодования она раскраснелась и заплакала. – Поедем, Надь – встретишь, русского, а хоть бы и еврея, зато в Москве-е-е, не в этой сраной Болгарии, родишь, вместе встретим, и я рожу, если хочешь... Поедем...

Она громко и безутешно рыдала.

Самое смешное во всей этой истории, что через три дня Надежда Антоновна Твеленева сидела за круглым столом в огромной гостиной на улице Тверская, 18, квартира 6 и рассказывала счастливо хохочущим домочадцам некоторые наиболее безобидные эпизоды своей болгарской эпопеи.

Лерик позвонила на следующей же неделе. Расфуфыренная, в какой-то дикой агитации она заявила с высоким недурной наружности импозантным гражданином, отвела подругу в ванную комнату и громко зашептала: «Надюха, приглядиись, по-моему, то, что надо – шесть лет до полтинника, не женат, не беден, детей в паспорте нет – проверяла, квартира на Полянке – центр, интеллигент в пятом колене – закончил институт марксизма-ленинизма, сейчас преподает историю искусств, не курит, выпивает умеренно. Упускать – грех, на дороге не валяется». – «А сама что же?» – «Я — пас, мне фамилия его – кость в горле». Дюша удивленно подняла брови, засмеялась: «С ума сошла? При чем здесь это?» – «А при том: его фамилия – Заботкин». – «Однофамилец?» – «Если бы – брат старший, но полная противоположность: антипод». (... Аркадий Семенович Заботкин действительно быстро завоевал симпатии Дюшиных родственников, а старший Твеленев так чуть ли души в нем не начал чаять – Аркашенька да Аркашенька, всем в пример ставил, в отличие от Ксении

Никитичны все в зяте принимал-оправдывал, даже долгое непоявление потомства. А уж когда семь с лишним лет спустя после свадьбы его далеко не юная уже доченька наконец-то отяжелела, да еще, как позже выяснилось, внучкой – композитор совсем растаял и перевел ей на книжку бешеное по тем временам количество рублей, умно убереженное им от недавнего дефолта.)

Лерик, в свою очередь, зачастила в дом к своей болгарской подруге и еще через неделю, по ее словам, по уши заинтересовалась ее братом Маратом Антоновичем. Тут уж и папа-заводчик с «цековской» фамилией вступился, и мудрая мама советами не обделила, и благодарная подруга не оставила без помощи: сообща скрутили задержавшегося холостяка и, не откладывая в долгий ящик, родили композитору внука.

... Смерть мамы-Ксеночки надолго выключила Надежду Заботкину из жизни.

В переделкинском саду – она месяц уже, как вернулась из роддома, постепенно приходила в себя: роды случились трудно – к ней подошла средних лет женщина, заглянула в коляску, похвалила младенца.

– Мальчик?

– Девочка.

– Случаем, не Антониной зовут?

– Антониной. – Она пристальной взгляделась в женщину, лицо ее показалось Надежде Антоновне знакомым. – Мы с вами встречались? Вы кто?

– А вы Надежда?

– Кто вы?

– Я письмо вам принесла, – женщина достала из кармана конверт, перевязанный черной ленточкой, – вот, возьмите.

– От кого это?

– А Марат Антонович где, не подскажете?

– В Москве. – Она неуверенно взяла странный конверт. – Спасибо. У меня кошелек в доме, подождите...

– Нет, нет, ни боже мой, мне хорошо заплатили.

При этом она, как показалось Надежде Антоновне, невпопад, горько улыбнулась, еще раз взглянула на готовую было зареветь сморщенную куклу, сказала шепотом: «Не надо плакать, маленькая, все будет хорошо, до свидания». Повернулась и, не сказав больше ни слова, побрела к калитке.

Надежда Антоновна, как ни старалась – не вспомнила, где они могли видаться.

Через час, примерно, ей позвонил отец: «Приезжай немедленно – в доме несчастье. Тошу оставь с Нюрой». Она успела спросить: «Что случилось?», но Антон Игоревич повесил трубку.

... После похорон Ксении Никитичны у Надежды пропало молоко.

Несколько месяцев она почти не выходила из своей комнаты, не интересовалась дочерью, мужем, отцом – никем и ничем, кроме Ваганьковского кладбища.

Аркадий Семенович страдал, пытался вмешаться, время от времени приглашал медицинских светил, но те всякий раз благодарно пряча в карманах пухлые конверты только разводили руками: «Ничего нельзя понять: практически здорова».

31 декабря, в день рождения Ксении Никитичны, Надежда Антоновна ближе к вечеру вышла из дома, пешком добралась до кладбища, встретила у могилки новый 1993 год, а вернувшись, завела любимую мамину Эдит Пиаф и всю ночь слушала ее надрывные душераздирающие исповеди.

С тех пор, до дня этой самой злополучной кражи, мало что напоминало в ней убитую горем женщину: постепенно она вернулась к себе прежней – стала чаще улыбаться, вникать в нужды близких...

А тут, после пропажи японских статуэток, слегла.

Полковник Скоробогатов вызвал подчиненных, как обычно, к восьми утра, на

следующий же день после возвращения «дела композитора» в его отдел.

– Прошу как можно подробнее и как можно короче: дел невпроворот. Вы когда вернулись из Парижа, Анатолий Борисович?

В рядах четырех сидящих напротив послушников наметилось волнение: по имени-отчеству к своим «угрозкам» полковник обращался крайне редко и означало это всегда только одно: их высочество сердчат. Трусс знал за собой «кляксу» – Валентина в приемной успела шепнуть, что полковник накануне ждал его в кабинете до часу ночи, – но рассчитывал выкрутиться.

– Вчера вечером, Юрий Николаевич.

– Никогда не знал, что шестнадцать ноль пять – глубокий вечер.

– Самолет опоздал, Юрий...

– На сколько?

– На сколько опоздал? – доли секунды Труссу хватило, чтобы оценить скоробогатовскую осведомленность. Выгоднее было признаться. Он так и поступил. – Минут на сорок.

Полковник бросил на него короткий взгляд, сказал примирительно:

– В следующий раз обойдемся без клякс, договорились?

– Так точно, Юрий Николаевич.

– Ну слушаю.

– Заботкин Николай Семенович живет в Париже девять лет – с 1999 года, снимает апартаменты на рю Ройяль, продает и покупает все, приоритеты отсутствуют.

– И все-таки?

– Картины, иконы, золото, оружие, черную икру, камни. В 95-м продал девять списанных реактивных самолетов, в 2006-м – танк.

– Где побирается-то?

– В основном в России.

– А не в основном?

– Не установлено.

– Ну девять-то самолетов..?

– ТУ-104. Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский.

– Понятно. – Скоробогатов записал что-то на листе бумаги. – Дальше.

– Встреча проходила в кафе гостиницы «Кастильон». Вот неполная запись беседы. – Он протянул полковнику миниатюрную магнитофонную кассетку.

– Как понимать «неполная»?

– Официанту не сразу удалось наладить прослушку.

Полковник открыл ящик стола, достал «спичечный коробок», сунул в него кассету. Слышимость была не стопроцентная, но достаточная, чтобы разобрать слова.

«– Будем кривляться? У меня самолет завтра утром.

– Как самолет? Какой самолет? Завтра? Почему? Аркаша, ты говорил – неделю. Что случилось? Аркаша? Аркадий, что случилось?

– Игоря убили.

– Кто? Кто?

– Какая теперь разница? Я тебя предупреждал – Игорь не годится, он на игле.

– Кто, я спрашиваю?!

– Ты его не знаешь».

Собеседники долго молчали, прослушивалась лишь отдаленная иностранная речь, иногда прерываемая всполохами женского смеха. Наконец беседа возобновилась.

«– Когда?

– Вчера.

– Что известно?

– Пока ничего.

– Это плохо.

– Да уж чего хорошего.
– Предмет где? Где предмет?! У тебя?
– Нет.
– Как нет? А у кого? Почему ты молчишь? У кого?!
– Не ори, идиот! Ты думаешь, я зачем прилетел? Любоваться красотами твоего сраного Парижа? Бывшая запросила за вторую триста пятьдесят. Вот остаток. Я вышел из игры.

– Убери карту. Убери, говорю! Наложил в штанишки? Мне твой остаток по хрен. Ты знаешь сколько на кону? Пол-апельсина! У него пятьдесят два капитал, для него это сопля – пятьсот лимонов. На, убери поглубже, девочкам своим конфетки купишь... Тебе что здесь надо, маленький, – он обратился к кому-то по-французски, – что, плохо слышно? Извини, мы будем говорить погромче. На, не шарь сдачу и вали отсюда. Пойдем, Аркаша, этот француз сильно на твоего соотечественника смахивает, не находишь?»

Фонограмма заскрежетала отодвигаемыми стульями.

Скоробогатов перекрутил запись на начало, прослушал еще раз. Обратился к Труссу.

– Вам все понятно?

– Вроде.

– Мне нет. Апельсин – это что? Миллиард, что ли?

– Наверное.

– Первый раз слышу, – признался полковник.

– Некоторые его еще просто «фруктом» называют, – подал голос Ярослав Яшин, – сам слышал, один у другого спрашивает: «Как думаешь, у него сколько фруктов в саду?» А тот отвечает: «Вряд ли, я думаю, там дело лимонами ограничивается».

– Хороший диалог. Так, к «бывшим», надо понимать, могут относиться Клавдия Каликина, Валерия Твеленева и еще с десятков не менее милых барышень, так? – за подтверждением он повернулся к Мерину. Тот очень серьезно отчеканил:

– Я тоже так думаю, товарищ полковник.

Скоробогатов нахмурил брови.

– Это хорошо, что мы одинаково думаем. Это вдохновляет. Тогда пойдем дальше: Какц мне доложил ситуацию со скрипкой – прелюбопытная ситуация. Теперь нам предстоит не только найти украденное сокровище, но и выяснить, как оно появилось у старого композитора и действительно ли он так состарился, что не может отличить зерно от плевел. Значит, «бывшая» взялась найти мастера подделки за триста пятьдесят тысяч долларов, а состояние заказчика приравнивается к пятидесяти двум миллиардам, из которых половину одного из них он решил презентовать за нашего итальянца, и у него останется всего пятьдесят один с половиной апельсин. Ну что – жить можно? Любопытный заказчик. Такие водятся разве что в Арабских Эмиратах. Все эти предположения, конечно, имеют право на существование, если поверить товарищу Заботкину-младшему. Как вы думаете? – он опять обратил вопрос Мерину.

На этот раз Сева промолчал, за него ответил Трусс.

– Он тоже так думает, товарищ полковник.

Мерин покраснел, Яшин заиграл желваками, Трусс держал серьез. Скоробогатов продолжил после паузы:

– Хорошо. Теперь, Анатолий Борисович, меня интересуют такие подробности: первое – круг парижского общения Заботкина-младшего; второе – когда он последний раз был в России, круг отечественного знакомства; третье – какие регионы им освоены? Вы три города назвали, а камни, золото, икру черную, наконец, иконы – все те же Владивосток с Хабаровском? Слушаю вас.

– Юрий Николаевич, я сутки всего был в Париже...

– Не пойму, зачем лететь в Париж, когда надо прошустрить Петропавловск-Камчатский? Если не ошибаюсь – это разные направления.

– Но... Юрий Николаевич... Я не понимаю...

– Анатолий Борисович, – полковник перешел на примирительный тон, – простачок из

вас никудышный: все вы прекрасно понимаете – и на Камчатке, и в том же Хабаровске у нас опытные сотрудники, пообщайтесь с ними, поговорите о погоде, о женщинах, о чем хотите. Сутки на все про все. В среду в это же время жду подробного доклада по вашему направлению. Что-нибудь не ясно?

– Ясно, Юрий Николаевич.

– Ну вот видите, как хорошо. Теперь я вас слушаю, Ярослав Ягударович.

Яшин подпрыгнул на стуле, намного переплюнув Мерина в интенсивности лицевого побагровения: он даже предположить не мог, что начальнику известно его непростое отчество.

– Юрий Николаевич, в университете на Моховой о Каликине Игоре Николаевиче все отзываются очень хорошо...

– «Все» – это кто?

– Кого я опросил...

– Так и говорите. А то можно подумать, что вы себя перегрузили работой. Скольких человек вы опросили?

– Декана факультета, двух товарищей Каликина, девушку... – Он замолчал.

Последовавшая за этим докладом пауза тянулась угрожающе долго.

Наконец Скоробогатов поднялся и быстрым шагом вышел из кабинета.

На какое-то время в комнате повисла кладбищенская тишина.

Первым очнулся Яшин.

– Как это понимать?

– Руки, наверное, пошел помыть, – явно рассчитывая на похвалу, попытался сострить Иван Каждый.

Три обращенные в его сторону взгляда в криминальных романах часто называют испепеляющими.

Больше до возвращения хозяина кабинета никто не проронил ни слова.

... – Все соседи в доме на Красной Пресне, все студенты курса, особо подчеркиваю слово «все», все педагоги, все его увлечения, занятия, кроме учебы, круг знакомых, помимо института, материальное положение семьи и так далее, включая вашу собственную инициативу, если таковая проявится – в среду в восемь ноль-ноль, – все это полковник произнес неторопливым, спокойным голосом и повернулся к Ивану Каждому: – Слушаю вас, Иван Иванович.

Этот сотрудник в отделе Скоробогатого появился относительно недавно, до этого ему доверяли лишь охрану помещений МУРа, он тяготился таким своим положением, рвался в «бой» и теперь в благодарность за доверие при любой возможности «рыл носом землю». Поэтому, когда очередь полковничьих вопросов дошла до него, он вскочил и бодро отчеканил:

– Ни в одной из комисок указанные в описи пропавшие предметы не появлялись, товарищ полковник!

– Да вы садитесь, садитесь, – нахмурился Скоробогатов, и когда показушный порыв подчиненного поулег, спросил доверительно, – «комисок» – это что за зверь?

– Комисок? – Иван снисходительно улыбнулся. – Это эти... комиссионные магазины.

– Ну так и говорите – магазины, а то ведь у слова «комиссия» несколько значений: это еще и хлопотное дело, и поручение... Вот я часто обращаюсь к вам с комиссией, а вы нередко только ушами хлопаете. В каких комиссионных магазинах вы побывали?

– Ну в этих, в ювелирных...

– А еще?

– В никаких, товарищ полковник!

– Зря, товарищ лейтенант. А ведь пропали и шубы, и компьютеры, и электроника... Вы все это в ювелирных комиссионных магазинах собираетесь обнаружить? В среду в восемь и очень подробно. Слушаю вас, Всеволод Игоревич.

Мерин ненавидел себя за столь неудачное расположение кровеносных сосудов,

старался бороться с этим недугом, но природа всегда выходила победительницей: при малейшем волнении лицо его покрывала красная пелена и попробуй после этого кому-то доказать, что ты не верблюд. Краснеешь – значит рыло в пуху, неправ и будь любезен повиниться. Вот и сейчас он почувствовал, как кто-то из ведра поливает его голову краской.

– Я разбираюсь с семейством Твеленевых, их очень много...

– С женой Заботкина говорили?

– Аркадия Семеновича? Нет еще, но...

– Не надо никаких «но». В среду в восемь. Все свободны. – Скоробогатов повернулся к заскрипевшему донесением телетайпу.

Все поднялись, молча направились к выходу, и тут Мерин повел себя так, что даже видавший виды Трусс ошарашенно вскинул на него глаза: он подошел к столу начальника и громким от отчаяния голосом сказал:

– Юрий Николаевич, прежде чем встречаться с Надеждой Антоновной, мне нужно заключение графологов.

– Что вам нужно? – не сразу сообразил полковник.

– Заключение графологов. – Он достал из кармана и положил перед ним перевязанный черной лентой конверт. Скоробогатов долго вчитывался в текст, спросил недовольно.

– Где вы это взяли?

– В комнате Заботкиной.

– Кто это писал?

– Думаю, что Ксения Никитична. Это жена композитора и мать Марата Твеленева и Надежды Заботкиной. Она покончила с собой шестнадцать лет назад, в 1992 году, когда родилась внучка Антонина. Мне там нужно одно слово понять, вот в самом конце, – он ткнул пальцем в бумагу, – «Марат все «СКАЕЛ».

– А все остальные не надо.

– Не обязательно.

Скоробогатов нажал кнопку селектора.

– Валентина Сидоровна, соедините меня, пожалуйста, с Гараниным. Михаил Исаевич, Скоробогатов беспокоит. Да-а? Ну значит богатым буду. Миш, выручай: к тебе сейчас пойдет мой оперативник, Мерин Всеволод, слезно прошу – помоги ему, очень срочное дело. Да я не сомневаюсь, что сможешь. Спасибо, дорогой, остаюсь должником. Привет Наталье. – Он положил трубку, вернул конверт Мерину. – Хороший мужик, поможет. Когда расшифрует – зайди ко мне. Давай.

Он кивком указал на дверь и зачем-то неумело подмигнул Мерину.

Этого было достаточно, чтобы тому в очередной раз окунуть свою физиономию в ведро с краской.

Тошка встретила Мерина как старого знакомого: расцеловала, повисла на шее и долго не отлеплялась. Сева неумело держал ее на руках, она что-то выкрикивала ему в ухо, но что именно, разобрать не представлялось возможным, ибо не каждый день ему кидались в объятия хорошенькие, на радость окружающим не без успеха заканчивающие свое физиологическое развитие шестнадцатилетние девушки. Он и краснел – чего ему именно в этот момент больше всего не хотелось – и бледнел и под конец чуть не выронил содержимое рук своих на песчаную дорожку, чем вызвал нешуточный всплеск восторга Антонины Заботкиной.

– Ну что же ты?! Ха-ха-ха! А еще уголовник! Девушку удержать не может. Держи, пока сама не сойду! Неси до дома – это конечная остановка, я там обычно выхожу. Ха-ха-ха...

– Тоша, пожалуйста, я звонил, я... я вас... вас очень прошу, я к вашей маме, она дома?

Она легко соскочила на траву.

– А меня вам мало, да? Говори – да?! Мало?? Ладно. Прощай, несносное создание Печальной юности моей! Я не назначу вам свиданье Под сенью липовых аллей. Не посвящу я вам сонеты, Заплаканья не выдам глаз. Для вас меня отныне нету. Я жду вас здесь же.

Через час!

Она скрылась в тени сада так проворно, как если бы это была четвероногая косуля.

Мерину особенно понравилось выражение «заплаканье глаз». «Тоже мне, Ахмадулина!» Он неожиданно для себя взглянул на часы: одиннадцать тридцать пять. «Через час будет половина первого. И что? Зачем он это сделал? Идиот».

Решительно недовольный собой (руки немножко дрожали, голову немножко кружило – еще не хватало так реагировать на каждую короткую юбку), он проследовал на уже знакомую ему веранду, огляделся. Из своего угла поднялся Ху, подошел, вильнул обрывком хвоста, ткнул горячим носом ему в руку, но, когда пришелец сделал попытку подняться на второй этаж, пес ему этого не позволил. Не зарычал, не залаял, зубов не оскалил, просто всем своим не собачьим размером встал перед лестницей и тем самым недвусмысленно дал понять, что какие бы то ни было разговоры на эту тему бесполезны: выше хода нет. Мерин не стал спорить.

Он отошел подальше от лестницы и негромко позвал: «Надежда Антоновна». Никто не отозвался, но наверху послышались шаги. Он позвал еще раз: «Надежда Антоновна, это Мерин из МУРа, я вам звонил полчаса назад». Ответа не последовало, но шаги прекратились.

От графолога он вышел в 10.40 и сразу же позвонил в Переделкино.

Ему долго не отвечали. Наконец трубку сняла сама Надежда Антоновна Заботкина.

Она плохо себя чувствовала, была совершенно разбита, не готова ни к каким беседам: «Нет, нет, пожалуйста, не сегодня, сегодня никак – сердце, знаете ли».

Сева долго ее увещевал, настаивал, приводил убедительные, как ему казалось, доводы. «Нет!»

Пришлось пуститься на хитрость.

– Надежда Антоновна, у меня к вам дело, которое может пролить свет на вашу коллекцию японских божков.

Пауза грозила вечностью, так что Мерину пришлось прервать ее.

– Надежда Антоновна...

– Я слышу. Вы... Вы нашли их?

– Нет еще, но есть надежда...

– Приезжайте.

Скоробогатов выслушал план его действий, дал добро, и он помчался на дачу Твеленевых.

А теперь выходило, что в доме никого нет, кроме этой вертихвостки и верного оруженосца Ху. Непонятно.

Он вышел в сад. Обошел дом вокруг. Со стороны, противоположной главному, был еще один вход, но дверь туда оказалась запертой. Попытался заглянуть во все окна. Никого. Но ведь кто-то же ходил наверху.

Дачный поселок тем временем жил своей «любопытной» жизнью: около твеленевского забора толпились несколько участников Великой Октябрьской революции. Некоторые из них производили впечатление людей, готовых на штурм калитки. Мерин вышел на улицу.

– Вы кто? – обратились к нему сразу несколько человек.

Сева вытащил удостоверение, отчитался.

– Это вы на днях затеяли здесь драку?

– Нет, я ее не затевал. Но участвовал.

– Зачем?

За него ответила интеллигентного вида старушка.

– Он как раз хотел разнять, Алексей Павлович, помочь нашему Антону...

– А вы помолчите, вы свое уже сказали – варенье, варенье. Хватит уже, – в повышенном тоне отреагировал тот.

– Почему вы так кричите, она все-таки женщина, – вступилась за подругу розовошекая кудрявая «девушка».

– И что? И какая разница?

– Напомнить какая?

– Вы меня не оскорбляйте!

Чтобы не дать разгореться февральским событиям, Мерин постарался перехватить инициативу.

– Вот созвонился с Надеждой Антоновной, договорились о встрече, а ее вроде и дома нет.

– Так уехала она.

– Как уехала?

– Только что. «Волга» приехала, и она уехала.

– И дома никого?

– Почему никого? Тошка дома. Из школы пришла недавно. Почему-то рано сегодня. Да вы ее еще на руках держали. И эта, как ее... напротив живет с той стороны... как ее?..

– Лерик. – Подсказал Алексей Павлович.

– Во-во, Лерик, Лерик. Мать Антона.

– Да какая она ему мать? Так, вроде...

Мерин вдруг приобнял интеллигентную старушку, обратился ко всей компании.

– А вот я вам сейчас тест предложу на наблюдательность. Ну-ка, интересно, кто у вас самый наблюдательный? Какого цвета была «Волга»? А?

– Темная, черная, грязная, синяя, – заголосили, перебивая друг друга, революционеры.

– Ну а номер? А? Номерной знак кто запомнил? А? Что, неужели никто? Да быть этого не может.

По сконфуженным лицам переделкинцев пробежала тревога.

– А что, разве разбой какой?

Мерин захохотал, поспешил успокоить взволнованных стариков.

– Да какой там разбой, господь с вами, я даже фамилию шофера знаю – это друг семьи. А номер вот какой: А-082-ВР, – он назвал первые слетевшие с языка цифры.

– Точно. 082. Я и хотел сказать: 082. – Алексей Павлович выглядел расстроенным.

Мерин вернулся в дом, предпринял еще одну попытку подняться на второй этаж. На этот раз Ху выразил недовольство вслух – не выходя из своего угла, он негромко зарычал, что могло означать только одно: «Я же тебе сказал – туда нельзя. Зачем настаивать?»

Настаивать действительно было глупо: размеры собаки не оставляли сомнений, на чьей стороне будет виктория в случае меринского неповиновения.

Он достал мобильный телефон, набрал московский номер. Трубка отозвалась глухим трезвым голосом Марата Антоновича: «Вас слушают».

– Марат Антонович, здравствуйте, вас беспокоит Мерин, мне очень нужно вас повидать...

– Кто, вы говорите, меня беспокоит?

– Мерин, Сева... Всеволод Мерин, я вчера был у вас, следовательно, я занимаюсь кражей...

– А-а-а-а, здравствуйте, мой юный друг, – радость Твеленева была неподдельной, – куда же вы пропали? Жду-с, жду-с и с нетерпением. У вас деньги есть?

Денег на «Корвуазье» у Севы не было.

– Есть, есть, что-нибудь придумаем...

– Ничего не надо думать: ноль семь завода «Кристалл», это лучше всяких «Абсолютов»: водка – русское изобретение, а не шведов порхатых и уж никак не финнов. Нам есть чем гордиться! Ноль семь и больше ничего – вы, я помню, на работе ни-ни, правильно?

– Правильно.

– Это правильно, – он весело рассмеялся, – я, когда работал, тоже себе не позволял. Но это было давно. А не на работе, если не секрет?

– Не секрет: как все.

– Ну-у-у, все по-разному. Ладно, жду-с, не задерживайтесь.

Он повесил трубку.

Но не задержаться Севе не удалось: Тошка, подкравшись неслышно, как учат в лучших разведшколах мира, обхватила его сзади за плечи.

– Кто это тут...

Мерин развернул корпус так, что она, завопив благим матом, отлетела метра на четыре. Он подошел, помог подняться.

– Антонина, никогда больше этого не делайте: я ведь мог вас ударить.

– Ударить? Женщину?!

– Вы меня напугали.

– Нервный какой. – Она поправила на себе одежду. – Просите прощения.

– Простите.

– Не так. Обнимите и поцелуйте. Ну!

– Антонина...

– И не называйте меня Антониной! Ну, я жду. – И, поскольку Мерин не двигался с места, повелела: – Уходите.

– Анто... Тоня... – залепетал следователь.

– Тоша! – приказным тоном заявила девушка.

– Тошечка, – Мерин с разбегу плюхнулся в воду.

– Ну вот молодец. Ведь можешь, когда захочешь. Я тебя прощаю. – И она проделала то, что требовала от Мерина: обняла и поцеловала его в губы. – И перестань краснеть по каждому поводу – смотреть противно. Представляю, что с тобой будет в постели.

Сева окончательно растерялся.

– Вы со всеми так?

– Как? – казалось, совершенно искренне удивилась Тошка.

– Вот так.

– Милый мой, ты напрасно обольщаешься, пока это все только теория: в постель я тебя не зову, не заслужил еще, а поцелуи, как говорит мой придурковатый братец Антошка, кстати, наивно уверенный, что я в него по уши влюблена и всем об этом рассказывает, признайся – и тебе доложил, да?

– Нет, – соврал Мерин.

– Странно, ну значит еще все впереди, так вот, как выражается Антон, поцелуи – всего лишь невинное соприкосновение двух губ с легким причмокиванием: ни к чему не обязывают. И я с ним абсолютно согласна: ни уму, ни сердцу, ни прочим местам. Так что от свадебного обряда после них я тебя освобождаю – целуйся без опаски. Пойдем я тебя провожу, тебе надо подумать.

За время этой ее хорохористости Мерин успел прийти в себя.

– Тоша...

– Тошечка! – не сдавалась Антонина.

– Хорошо, Тошечка. Так вот, Тошечка, на темы, тебя столь волнующие, мы обязательно побеседуем с наступлением твоего совершеннолетия. Обещаю, если подождешь пару годков. Договорились? А теперь лучше проводи меня не домой, я туда сам дорогу найду, а на второй этаж, так как ваш Ху меня туда не пускает.

Выпускница средней школы понимала, что до той поры удачно исполняемая роль вампвумен от нее ускользает – ошарашенный поначалу зритель, увы, догадался, что все происходящее лишь сценический адекват реальной жизни – но продолжала цепляться за призрачную инициативу.

– Зачем тебе второй этаж? Моя спальня на первом, по коридору направо, окнами в сад.

– Тошечка, крошечка, если вы настаиваете – пойдёмте «по коридору направо», но перед тем я должен сделать необходимое в таких случаях признание: как это принято теперь говорить – я человек совсем другой ориентации.

Мерин сам от себя не ожидал подобной прыти и только что вроде с успехом побежденная им ненавистная краска с новой силой вцепилась ему в лицо.

Антонина напротив – сильно поубавилась в своей прекрасной розовощекости. Несколько секунд она выдерживала насмешливый меринский взгляд, затем развернулась и стала подниматься по лестнице.

Мерин последовал за ней.

Ху даже не повел глазом.

Второй этаж представлял собой уменьшенную копию первого: коридор и двери от него в разные стороны. Их Сева насчитал восемь. Все они были закрыты.

– Скажите, Тоша...

– Тошечка, – настойчиво потребовала девушка.

И это означало, что она не поверила ни одному слову из откровений следователя отдела МУРа по особо важным делам. А двоюродный брат еще утверждал, что она верит всему, что видит и слышит. Дурак. Мерин расхохотался: ему вдруг ужасно захотелось ее обнять.

– Конечно, Тошечка. Скажите, Тошечка...

– А это правда, что у вас жена и трое детей?

– Нет, неправда, у меня только один ребенок. Скажите, Тошечка, сейчас кроме нас с вами, ну и Ху, разумеется, есть кто-нибудь в доме?

Она ответила не сразу, словно бы вопрос предназначался не ей.

– Нет.

– А до моего прихода?

– Был.

– Кто?

– Мама.

– И все?

– Нет.

– А кто еще?

– Тетка.

– Лерик?

– Да.

– А кто увез Надежду Антоновну?

– Не знаю.

– Не видели?

– Нет.

– Она вам не говорила, что я звонил и мы договорились о встрече?

– Нет.

– Скажите, дверь второго входа запирается на ключ?

– Да.

– У вас он есть?

– Да.

– А у Валерии Модестовны есть в доме своя комната?

– Нет.

– Но раньше была?

– Да.

– Мы с вами сейчас можем осмотреть дверь другого входа?

– Да.

Пока они гуськом спускались на первый этаж, Мерин успел задать один вопрос «не по теме»: «Я вас чем-то обидел?», но ответом его не удостоили. Бесцельно потоптавшись с двух сторон черного входа, они вернулись на веранду.

– Скажите, Тоша... – он сделал паузу в ожидании, что его поправят: «Не Тоша – Тошечка!», но девушка только прикрылась ресницами, – Скажите, Тоша, когда вы вошли из сада в дом, дверь второго входа вы открыли ключом?

– Нет.

– Она была открыта?

– Да.

– Вы это точно помните?

– Да.

– Мо... – Ему захотелось ее похвалить за наблюдательность, мол, молодец, умница, но язык в нужную сторону почему-то не поворачивался. В результате пришлось выкручиваться. – Мо... могу я задать вам еще несколько вопросов?

– Да.

Лаконичность ответов девушки была настолько демонстративна, что не обвинить в происходящем себя Мерин не мог. Только вот хорошо бы еще понять, в чем же его очередной прокол. На всякий случай он глубокомысленно помолчал, по-Скоробогатовски походил вокруг стола.

– Скажите, Тошечка...

– Антонина Аркадьевна.

Сеу поразило не ЧТО, а КАК она это сказала: без вызова, без обиды в голосе, без сарказма – очень просто, безынтонационно, как ставит на место добрая учительница зарвавшегося ученика: не забывайся, маленький. Он нашелся не сразу.

– Почему?

– Что?

– По отчеству.

Девушка не ответила, только пожала плечами.

– Скажите, Тоша, – Мерин предложил «средний вариант», она упорствовать не стала, – Валерия Модестовна часто бывает в вашем доме?

– Нет.

– Давно они разошлись с вашим дядей?

– Не знаю.

– А почему? Почему разошлись?

– Не знаю.

– А сегодня она почему пришла к Надежде Антоновне?

– Не знаю.

– Вы ее видели сегодня?

– Нет.

Мерин понял, что напрасно теряет время: капризная девчонка на что-то обиделась и как может мстит ему. Он поднялся.

– Ну что ж, я так понимаю, вы не хотите помочь мне. Жаль. Всего доброго.

Он направился к выходу.

– Хочу.

– Что?

– Помочь. Хочу. Пойдемте.

Горная серна позавидовала бы ее полету вверх по лестнице.

Мерин, безнадежно отставая, пустился следом.

Ху проводил их вялым взглядом: ребятки, мне бы ваши проблемы, и вернул свою мудрую голову на огромные старые лапы.

На втором этаже одна из дверей в коридоре была распахнута, оттуда доносились рыдания. Мерин, ворвавшись в комнату, застал такую картину: из-под старинной оттоманки торчали две половинки стройных Тошкиных ног, сама же она, скрытая от посторонних глаз, приблизительно, на три четверти, заглушая всхлипами плохо выговариваемые слова, повторяла: «Этого не может быть, не может быть, не может быть, этого не может быть...» Сева оказался в затруднении: тянуть за ноги – не больно учтиво после обструкции, по непонятному поводу устроенной ему композиторской внучкой; лезть же за ней под диван представлялось еще более неуместным. Ситуацию разрешила сама Антонина Аркадьевна Заботкина: она вылезла наконец из своего укрытия, упала ничком на расстеленные на полу собственные ладошки и замолчала. Мерину ничего не оставалось как присесть рядом на

четвереньки, по возможности утешить и попытаться хоть что-то все-таки понять. Но первое же прикосновение к ее растрепанной головке обернулось новым всплеском эмоций: она переместилась на его грудь, обхватила за шею и вновь зарыдала.

...Скоро сказка сказывается, да не скоро... Через, как показалось Мерину, вечность некрасивая девочка с красным носом и распухшими от слез глазами, попеременно вытирая рукавами мокрые щеки, частично успокоилась и появилась возможность наладить человеческий диалог. И вот что выяснилось.

... – Она, Юрий Николаевич, поклялась, что засунула их туда собственными руками – не верить ей нельзя, врать она категорически не умеет – три коробки из-под обуви завернутые в белые тряпки. Накануне она случайно обнаружила их под оттоманкой в комнате матери и, когда осталась одна, не преминула полюбопытствовать: коллекция этих самых японских уродцев – нэцтеков, якобы пропавших после кражи. И запихнула обратно. А сегодня их там не оказалось. Я осмотрел всю комнату – ничего. Значит уроды эти с самого начала не были украдены, а Надежда Антоновна больше всего убивалась именно из-за пропажи этих статуэток. Как это прикажете понимать? – Мерин вошел в такой раж, что не заметил, как превратил начальника в подследственного. – Как понимать?!

– Если ты меня спрашиваешь, – еле заметно улыбнулся полковник, – то у меня есть кое-какие предположения: или твоя малолетняя красавица все-таки подвирает – возраст способствует буйному фантазированию; или Надежда Заботкина каким-то образом связана с кражей в собственном доме; или коробки эти ей подбросили; или Аркадий Семенович подготовил их для своего делового братца с целью выгодной продажи... – он сделал пометку в настольном календаре... – не знаешь, как они ценятся на международных аукционах?

– Нет, Юрий Николаевич.

– Ладно, узнаем, не переживай. Так вот – или Антон подсуетился по чьему-то заказу, ты правильно сделал, что сам его не допрашиваешь, ваша «дружба» нам еще очень пригодится, я Труссу поручил, пусть потрудится, а то его опять в Парижи тянет; или Каликин Игорь навел, свою долю спрятал так, что никто бы никогда не догадался не будь твоей любознательной нимфы – ну, действительно, кому придет в голову искать украденное в доме потерпевших, а потом его как лишнего свидетеля убрали; или Герард этот таинственный, сдается мне, не последняя спица в колеснице – наследственность должна же как-то сказываться: сын жулика, приемный сын алкоголика, внук цековских вассалов. Кстати, он с ними общается, с дедушкой с бабушкой, не знаешь?

– Узнаю, Юрий Николаевич.

– Да уж, пожалуйста, сделай одолжение, это очень важно. Что это за Модест такой в наш родной ЦК затесался, что-то я не припомню, прямо Мусоргский какой-то. Как ты говоришь фамилия жены его? Неделина?

– Неделина, Юрий Николаевич, это ее девичья фамилия.

– Может быть, и девичья. А может, по первому мужу. Или по второму. А? Не знаешь?

– Не знаю, Юрий Николаевич.

– Ну не страшно, узнаешь. А что это ты все «Юрий Николаевич» да «Юрий Николаевич»? Давай без этого, а? Разрешаю за одну беседу два раза меня по отчеству назвать: здрастье, Ю. Н., и до свидания, Ю. Н. Все! А в середине – ни-ни! Договорились?

– Договорились, Юрий... – Мерин запнулся, залился краской. Скоробогатов расхохотался.

– Ну если хочешь – давай по именам, я не возражаю. – Он прошелся по кабинету, постоял у окна, вернулся за стол. – Так вот, с Герардом этим надо бы поподробней, как тебе кажется?

И какие у него отношения с композитором. Он ведь один из прямых наследников, этого никак нельзя со счетов сбрасывать; или мать его любвеобильная: при живом муже живет с другим человеком, а развода не хочет – тоже небось на музыкантские денежки виды имеет. Как, ты говоришь, сожителя ее..?

– Колчев Аммос Федорович, Юрий...

Скоробогатов преувеличенно рассердился, даже ладонью по столу шлепнул.

– Да что же это у них имена у всех какие: Модест, Аммос... Спасибо, что не Партос. Аммосом Федоровичем, помнится, судью одного, взяточника, звали.

– Какого судью, Юрий...

– А Ляпкина-Тяпкина, – хитро улыбнулся полковник и, поняв, что сидящий напротив него вареный рак не готов соответствовать шутливому тону, посерьезнел. – Ну да бог с ними, с судьями. А Аммосом этим я бы на твоём месте тоже поинтересовался: его с девяносто первого никто не издаёт, восемнадцать лет уже, а ведь есть и пить надо, любовницу содержать... Из Парижа недавно вернулся... Ну и конечно окружение этой связанной родственными узами троицы: Антона, Игоря и Герарда. И как можно шире.

Скоробогатов замолчал. Было понятно, что подчиненный несколько подавлен количеством неучтенных им направлений в расследовании, расстроен, даже растерян. Необходимо было как-то приободрить парня, тем более что сделал он действительно немало.

– А что касается Марата Антоновича, – он включил стоящий на столе миниатюрный транзистор, подождал начала музыки, увеличил громкость, – ты молодец, Сева. Говорить тебе этого я не имею права, я и не говорю, но почему-то верю, что твоя, будем справедливы, несколько экстравагантная работа с фигурантом даст всходы. Ведь о том, что Страдивари все эти годы находилась у известного нам теперь человека по известному нам адресу – уже грандиозное открытие и знаем об этом только ты да я, ну еще Самуил Какц, но это все равно, что сфинкс мраморный: бей, ломай – можно только разбить, слова не вымолвит. Так что готов войти в долю с «Корвуазье», хотя ты утверждаешь, что перешли на водку?

– Это по его просьбе, Юрий... ой, простите, это по его просьбе, я с ним не выпиваю, а он и не предлагает. – От похвалы полковника у Мерина заслезились глаза.

– А теперь вот что, Сева: ты мне изложил все факты посещения этой барышни, а теперь давай-ка еще раз со всеми нюансами какие помнишь, со всеми ее фокусами и вывертами – ведь без них наверняка не обошлось, так? Авось что подцепим. Давай. У тебя, я слышал, память стенографическая, чуть ли не Мессинг. Поехали.

Он откинулся в кресле и закрыл глаза.

... – а она рыдала по-настоящему, слезы во все стороны – жуткое зрелище, думал – никогда это не кончится. Но потом затихла и давай меня уверять, что вчера еще коробки были на месте.

«На каком месте-то? Под оттоманкой, что ли?» – «Да, да, вот здесь, я их сама вытащила, а потом опять засунула. Вот здесь они лежали, вчера еще..!»

Она опять по-пластунски кинулась под этот диван. Я схватил ее за ноги, выволок наружу, она сопротивлялась, хохотала – только что ревмя ревела, а теперь в голос смеялась, набросилась на меня, я упал... – Мерин на какое-то время замолчал, сказал негромко:

– Юрий Николаевич, вы сказали подробно.

– Да, да, именно, и как можно подробнее: ты упал... и что?

– Нет, ничего такого, я же сильнее. Я ей говорю: «Подожди, Тоша, то, что ты говоришь, очень важно. Ты даже не представляешь, насколько это важно». А она: «Если важно – благодари».

Как, черт возьми!? Ну я не сказал «черт», конечно, но говорю: «Как прикажете вас благодарить?» А она: «Обними и поцелуй». Совсем с ума сошла. Я говорю: «Подожди, Тоша!»

Резко так говорю. А она: «У тебя правда есть сын?» Я говорю: «Какой сын? Ты что, спятила?» А она: «Сам сказал. Врун, врун, врун...» И как давай меня кулаками молотить – по-настоящему, сильно, я еле успеваю отбиваться. Я и забыл, что сказал про сына. В общем, разобрались.

– Просьбу-то ее выполнил? – не открывая глаз, очень серьезно спросил Скоробогатов.

– Какую просьбу?

– Ну как? Обнять и поцеловать.

– Пришлось.

Мерин замолчал. Полковник выдержал паузу.

– Ну-ну, я слушаю.

– Да. Короче, я ей говорю...

– Нет, нет, Сева, не надо «короче». Все очень подробно. Будем вместе выискивать булавки в стогу: дело непростое. А если эта девочка заодно с кем-нибудь? И сеточки расставляет? Уж больно все у нее обаятельно-наивно для шестнадцати-то лет получается. Не кажется? Сейчас в этом возрасте давно уже бандами руководят и вдоль дорог стоят с предложением себя за бесценок в любой форме.

Скоробогатов заметил меринскую бледность, его вмиг воспалившиеся глаза, продолжил примирительно:

– Ты прости меня, старого циника, но у меня с доверительностью к людям с детства дела обстоят неважно. Сильно меня, видимо, в детстве обманом по башке шарахнуло, если до сих пор даже себе иногда не верю. Я ведь только через десять лет узнал, что родителей моих убили. Верил нашей пропаганде: остались на Западе, предали Родину, бросили сына, меня то есть. А когда узнал... Веру из меня каленым железом вырвали... Причем всякую, не только в людей – и в Бога, и в Дьявола... Жить с этим нелегко. С тех пор вот пытаюсь оправдать себя, что, мол, профессия обязывает, но это так, детский лепет, для бедных. – Он достал носовой платок, вытер вспотевшее лицо. Улыбнулся. – Ну, что пригорюнился? «Не принимай близко», как говорит наш общий товарищ Трусс, я это к тому сказал, что излишняя доверчивость в нашем деле действительно не помощница: доверяй, но проверяй. Поехали дальше: ты ее обнял, поцеловал...

– Юрий Николаевич, – взмолился Мерин.

– Нет, нет, я вполне серьезно, иногда ведь приходится такое (!) выделывать ради одного единого нужного словечка. Помнишь у Маяковского: «...Тысячи тонн словесной руды единого слова ради.» Гениально. Кстати, как целовались, в губы? – И заметив неприличный окрас меринской физиономии, продолжил: – Сева, ну что ты как маленький, честное слово? Двадцать лет человеку, а он при одном только слове «поцелуй» краснеет. Да пойми ты, что у большинства людей цель оправдывает средства: если ей нужно было от тебя чего-то добиться – завлечь, влюбить, заманить, подставить, лишит здравомыслия, наконец – она и отдаться могла тут же, благо диванов много и никого рядом, лишь бы задачку поставленную решить. А наша с тобой задача – распознать цель и не позволить средствам ее достичь, коли она против нашей воли. О, я с тобой уже стихами заговорил: «Коли-воли». Ну так как?

– Как целовались?

– Да, как целовались.

– Я ее поцеловал, а потом она меня. В губы.

– Ох, как с тобой трудно. – Полковник глубоко вздохнул и опять закрыл глаза. – Ладно, поехали дальше.

– Дальше я говорю: «Гоша, то, что ты сказала, очень важно, пойми». А она не дает мне говорить.

– Как это?

– Рот затыкает.

– Чем?

– Руками.

– Но ты ведь сильнее.

– И губами.

– Что «губами»?

– Затыкает.

– С ума с вами сойдешь. И что?

– И все. Руку положила.

– Куда?

– На грудь.

- На твою?
- На свою.
- А рука чья?
- Моя.

Скоробогатов выпрямился в кресле, долгим взглядом измерил подчиненного, процитировал не к месту: «И сказал тут Балда с укоризной: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». Подошел к стеллажу.

- Ты после меня куда?
- К Марату Антоновичу.
- Да, странная семейка. По пятьдесят можем позволить?
- Можем. – Лицо Мерина приняло цвет свекольного отвара.

Они выпили.

- Ты голодный?
- Нет.
- А если не врать?
- Немножко.

Валентина принесла бутерброды, чай, лимон, сахар, поставила поднос на стол.

– А лимон-то зачем? – вопрос прозвучал достаточно грозно. Секретарша на мгновение замерла.

– Лимон? Для чая, вы чай любите с ли...

– С лимоном я люблю коньяк, а не чай, пора бы усвоить за столько лет. Придется пить коньяк, но учти – под твою ответственность, ты спровоцировала. Наливай нам со Всеволодом по сорок девять граммов, не больше.

Трапеза прошла в молчании: коньяк пролетел незаметно, бутерброды оказались сказочно вкусными, чай горячим и ароматным, сахар – сладким.

– Ну, – растянулся в кресле Скоробогатов, когда Валентина с деланой обидой на лице удалилась восвояси, – и что?

– Ничего не было, Юрий Николаевич, клянусь вам – ничего не было, вот клянусь вам... – запричитал Мерин.

– Да я не об этом спрашиваю: не было и не надо, вам же хуже. Ты мне скажи, что ей от тебя надо, как думаешь? Понравился, импульс, молодая кровь выиграла? Или расчет какой?

– Не знаю, Юрий Николаевич, честное слово не знаю, но ничего не было, поверьте...

– Да верю я, верю, что ты заладил: «Поверьте, поверьте». Ве-рю. Не понимаю – это другое дело.

Возмущению Мерина, казалось, не хватило пределов начальственного кабинета: готовый затопать ногами, закричать, наброситься на полковника с кулаками – пусть навсегда увольняют после этого из органов, но больше подобного издевательства терпеть не вмоготу – он сделал попытку выскочить из кресла, но Скоробогатов его решительно остановил:

– Все! Хватит об этом! Все! Посудачили и будет! Мне надо знать меру, тебе научиться понимать шутки, даже если они не очень удачные. Все! – Он нажал кнопку селектора. – Валя, ко мне в три должен подойти Цыплаков... а, ну очень хорошо, пусть подождет. – И кивнул Мерину: – Давай, Сева, дальше и так же подробно.

Надутый сотрудник уголовного розыска непозволительно долго, как ему самому показалось, собирался с мыслями, наконец заговорил:

– Дальше было так. Она меня дураком назвала. «Дурак, – говорит, – уходи отсюда». Я говорю: «Никуда я не уйду, я здесь по делу, убили человека, Игоря Каликина, я это расследую, если не хочешь помогать – не надо». Она как про Каликина услышала – опять говорит: «Хочу». Я говорю: «Что хочешь?» – «Помогать». – «Ну так помогай, – говорю – а не дурдом устраивай». Она опять говорит: «Дурак», но уже не зло, а как-то даже нежно, ну так мне показалось. Мы спустились вниз на веранду, она говорит: «Чаю хочешь?» Я отказался, говорю: «Давай подробно про коробки». Так вот, оказалось, что накануне к Надежде Антоновне, ее матери, приходила Лерик, жена Марата, мать Антона... Она не

частый гость в доме после того, как ушла от Марата, а тут пришла, они долго сидели в комнате Надежды Антоновны, спорили, кричали даже, слов Тошка не могла разобрать, а когда вышла в коридор и стала подслушивать, поняла, что речь идет о каком-то серебре, которое надо спрятать. Надежда Антоновна не хотела, а Лерик упрашивала, говорила, что ее никто не заподозрит, а вот у них, у Лерика с Аммосом, как раз могут возникнуть неприятности, после московской кражи у них могут сделать обыск, а серебро это – подарок композитора им с Маратом на свадьбу и его могут конфисковать, никому ведь не докажешь, что это подарок. Потом Лерик кричала, грозила, что всем что-то расскажет, она, мол, знает, что у Твеленевых родственник – враг народа нереабилитированный...

– Стоп-стоп-стоп, это еще что за родственник? – Скоробогатов открыл глаза и всем телом подался вперед.

– Не знаю пока, Юрий... ой, простите, не знаю пока. Надеюсь узнать через Марата.

– Добре. Дальше.

– Дальше Тошка говорит, что Надежда Антоновна согласилась, она слышала, как та сказала: «Ладно, запихни под оттоманку». А на следующий день Тошка туда залезла и обнаружила вместо серебра этих японских уродцев.

– Она кому-нибудь об этом рассказала?

– Говорит, никому, хотела утром с матерью поговорить, но та спала. А после школы пришла – ее нет, тут я появился, никаких шагов в комнате матери она не слышала.

А с Лериком было так.

Когда Мерин, сухо попрощавшись с Тошкой, двинулся к выходу, та закрутилась у него под ногами, из кожи вон чуть не завывала в желании угодить, залебезила, как могла.

– Ну хочешь я тебя ей представлю?

– Спасибо – ни в коем случае.

– Почему, Севочка?

– Экспромт всегда лучше.

– Не скажи – иногда важна преамбула.

– Когда, например?

– Например, в любви.

– Господи, ты-то откуда знаешь? У тебя даже мозги девственны, не говоря ни о чем другом.

– Дурак.

Они только что, может быть, впервые в жизни преодолели безумное невладение своими желаниями, только что, обнявшись, как одно целое, стояли на краю манящей бездны, страх перед которой давно уже истомил их молодые, не испытывавшие погребели в этой бездне тела.

И в очередной раз празднуя над собой ненужную викторию, они тем не менее как молодожены после первой брачной ночи стеснялись смотреть друг на друга.

– Я пошел.

– Когда увидимся?

– Никогда.

– Я рада.

– Никогда – в этой комнате.

– В какой? В маминой?

– Да.

– А в какой?

Он молчал.

– В какой? В какой?

– В другой. Когда подрастешь.

– Ты что – совсем дурак? При чем здесь это?

Он молчал.

– Ну скажи что-нибудь.

– До свидания.

Она постояла минуту с опущенной головой, развернулась и побежала в дом.

Мерин дошел до конца улицы писателя Паустовского, повернул налево и остановился перед домом № 7 как раз напротив твеленевской дачи, только с обратной стороны. Добротный высокий забор, резные металлические ворота, калитка. Он позвонил. Первой откликнулась невидимая собака – твякнула вяло, беззлобно, скорее по привычке нежели от любопытства.

Потом заговорил домофон: «Здравствуйте. Вам кого?» – «Здравствуйте, мне бы хотелось повидать Валерию Модестовну Твеленеву». – «Представьтесь, пожалуйста». – «Моя фамилия Мерин Всеволод Игоревич. Я следовательно, веду дело о краже в московской квартире на Тверской улице». Аппарат помолчал, похрипел совсем как старый недовольный жизнью дачник, затем задал вопрос, который ввел Мерина в некоторое замешательство: «И что?» Разговаривать надо было, если он хотел добиться хоть какого-то результата, максимально вежливо, и Сева сказал: «Вот и все». Домофон еще на какое-то время затих и уж совсем хамским тоном произнес: «А от меня-то что вам надо?»

Мерин поиграл желваками, ладони непроизвольно замкнулись в кулаки. Ну что он мог сказать этому подвешенному на заборе подернутому ржавчиной уродливому доисторическому изобретению? Разве что дать по морде – разбить вдребезги и прислать повестку явиться завтра в прокуратуру для дачи показаний, тем более что настроение, напрочь испорченное Тошкой, к этому как нельзя больше располагало.

Он терпеть не мог диалогов с техникой, никогда не понимал – как это можно проводить всякие там селекторные совещания, летучки, беседы, не видя глаз партнеров, их молчаливых реакций – это же самое главное в любой беседе! Телефоном он пользовался исключительно в служебных целях, когда надо было сообщить что-то срочное или договориться о встрече. Он практически никогда, за редким исключением, не выполнял просьбы абонентов «оставить свои сообщения» на мобильном телефоне, предпочитая перезванивать или, в крайнем случае, пользовался СМС-ками. Даже с бабушкой Людмилой Васильевной он разговаривал стенографическим языком: «Я еду», «Задерживаюсь», «Буду утром»... чем приводил ее в ужас: «Севочка, – говорила она с неподдельным отчаянием в голосе, – ты разучился говорить по-русски, перечитай Толстого, Тургенева, Набокова, наконец, перед тобой величайшие примеры, в своей милиции ты скоро превратишься в неандертальца».

Мерин привычно утопил в левой ладони кулак правой руки, как бы примериваясь к удару, но именно этот порыв его охладил и даже несколько развеселил. В знак примирения он смахнул паутину с поверхности ненавистного домофона и максимально сладким голосом проворковал:

– От вас мне надо самую малость: получить ответы на несколько ни к чему, поверьте, вас не обязывающих вопросов. Я вас не задержу.

Переговорный аппарат заглох и сразу превратился в такое милое, никому не нужное, незащитное, ржавое убожество, что Мерин даже испытал к нему некоторую жалость: «Вот так, милый, – погладил он «собеседника» по голове, – никогда не исполняй чужую волю. Живи своим умом и никто тебя не обидит.»

Через какое-то время за забором что-то несколько раз щелкнуло, лязгнуло, закрипело, калитка отползла внутрь и в проеме явилось нечто, напоминающее портрет актрисы Самари великого Огюста Ренуара: переполненные желанием голубые глаза, яркие губы, напыленные щеки и рыжие кудельки вокруг нехуденького лица. Одетая «актриса» была в достаточно смелый для своего возраста топик и яркие в цветочек бриджи, обтягивающие выразительные нижетальные округлости.

– Ой, какой молоденький, а по голосу намного старше, я думала, дяденька со стажем, – как-то даже восторженно зазвучало «нечто», – сколько же вам лет?

Мерин утрудился поддержать комплиментарный тон и уйти от конкретики поставленного вопроса.

– Да, голоса не всегда соответствуют облику, мне многие говорили, что у меня старый

голос. Но и я тоже, признаюсь, немного обескуражен: по вашим интонациям, – он кивнул в сторону домофона, – я предполагал увидеть взрослого человека.

Она захохотала заливисто, как только могут воспитанные институтки, знающие, что подобное открытое проявление чувств не поощряется светским обществом, но радость услышанного не позволяет им соблюсти законы этикета.

– Ничего себе уголовный розыск, даже в краску меня вогнал: взрослую женщину он не увидел! Надо же! А кого увидели? А-а? Ну проходите, – она не без сексуального придыхания раздвинула створки калитки, – если не увидели во мне женщину, значит, я в безопасности. А-а? Нет?

Под ручку она потащила его по мраморной дорожке, с двух сторон усаженной яркими цветами. Дорожка оказалась не короткой, вела, было впечатление, в никуда, в лучшем случае – в лес, ибо никакого сооружения, похожего на жилище, в перспективе не наблюдалось, а когда миновало часа полтора и на горизонте миражом заалело некое кирпичное нагромождение, своими габаритами способное заткнуть за пояс любые средневековые поместья иных эстрадных нуворишей, стало очевидно, что в этом богом заброшенном уголке коротают свой век люди, знакомые с нелегким экономическим положением России разве что понаслышке. За время продвижения к гостевому отсеку правого крыла четырехэтажного корпуса парадного флигеля строения «взрослая женщина» успела: представиться Лериком; вскрыть некоторые душещипательные фрагменты непростой своей биографии, связанные с номенклатурным прошлым родителей, ныне влачащих весьма скромное существование («Подумайте, Сева, столько сделать для страны и в результате остаться практически ни с чем. Если бы не мы с Аммосом – неизвестно, как бы они выжили»); успела попенять нынешним книжным издательствам, в одночасье напрочь лишившимся всякого литературного вкуса и понимания высоты предназначения истинных тружеников пера с наступлением «этого жуткого смутного времени» («Поверьте, Севочка, Моську печатали на тринадцати языках: Болгария, Венгрия, Румыния, Польша, Чехословакия, ГДР, Куба, Китай, Монголия... и еще там какие-то...» – «И разные прочие шведы», – вставил Мерин. «Нет, нет, – замотала головкой Лерик, – шведы не печатали». – «Наверное, еще Корея?» – «Совершенно точно, Северная Корея, они все у нас на полке, я вам покажу, Моська ими до сих пор гордится...» – «А Моська это...?» – «Это сокращенный Аммос, так его папа назвал однажды и пошло...»); успела пару раз, неловко оступившись, «чуть не упасть» с мраморной дорожки, предоставляя Мерину галантную возможность убедиться в упругости и бесскладочности ее моложавого тела, а когда этого ей показалось недостаточно, успела, взяв его за руку, принудить присесть рядом с собой на корточки, наклониться долу и обратить внимание на какое-то весьма невыразительное соцветие, вопрошая лукаво-невинно: «Посмотрите, какая прелесть, правда ведь прелесть, не говорите, что вы равнодушны к природе, все равно не поверю» – при этом ляпочки ее вежд смежились и меринскому взору предстали два явления, которые по самому строгому гамбургскому счету нельзя было отнести к разряду недостатков их владелицы. «Ой, простите, – с некоторым запозданием отреагировала на произошедший конфуз Лерочка, и ей даже удалось покрыть свое личико румянцем, – пойдёмте в этот домик, он у нас специально для гостей».

Они к этому моменту завершили путешествие по мраморной дорожке.

– Дело в том, что я не совсем гость. А если и гость, то, как говорится, непрошенный. – Мерин отчаянно старался вскопать полосу препятствий между собой и Дериком, но пока это у него не очень получалось. – Я пришел по делу, для вас, может быть, не очень приятному, но такова моя работа: искать преступников и привлекать их к уголовной ответственности. А преступление, как вам известно, налицо, преступление, совершенное в особо крупных размерах...

Лерик широко улыбнулась.

– Господи, как вам не идут эти выражения: преступники, уголовщина, размеры какие-то... Я нашу милицию, увы, не очень-то жалую, все эти гаишники, оборотни в погонах, мздоимцы...

Вы не похожи на милиционера, Севочка, вам я готова рассказать все, что знаю, абсолютно все, но, к сожалению, знаю-то я почти ничего, может быть, слышали – мы с моим мужем Маратом разошлись, я там на Тверской не бываю почти, раз в год разве что...

– Простите, Валерия Модестовна...

– Да господь с вами, Севочка, меня даже сыновья называют Лериком.

– Хорошо, Ле...рик, – Мерин запнулся, для него это было так же дико, как, к примеру, Скоробогатова назвать Юриком, – скажите, вы давно расстались с Маратом Антоновичем?

– С Маратом? – зачем-то уточнила она. – Как вам сказать... Ну давайте все-таки заглянем внутрь на огонек, не на улице же нам общаться, тем более что вас интересуют такие интимности, как вы полагаете, Севочка? Вы не сердитесь, что я вас Севочкой называю?

– Нет, нет, пожалуйста, – поспешил заверить ее Мерин, мучительно соображая, о каких таких «интимностях» идет речь.

Они поднялись по ступенькам и оказались в просторном холле с многочисленными хаотично расставленными диванами, креслами, столами, диванчиками и столиками. Все остальные атрибуты благосостояния располагались строго по своим местам: камин в углу, плоский экран домашнего кинотеатра у стены, на стене картины, на полу ковры, на потолке люстры. Мерину подумалось, что сейчас его попросят, как нередко случается при входе в музейные залы, снять обувь и надеть тапочки.

– Нравится?

– Что именно? – искреннее удивление Севе решительно удалось.

– Ну... все... – Лерик изобразила пухлой ручкой полукруг, – все это, я старалась...

– Дд-а-а, неплохо... – с выражением владельца многопалубных яхт снисходительно заключил Мерин.

Она рассмеялась, встала вплотную перед ним, слегка обняла за плечи.

– Ну-ка, посмотрите мне в глаза, врунишка! То-то же! И это еще не все: наверху две спальни, джакузи, в подвале сауна на двоих, бассейн, хотите посмотреть? Пойдем. – Она, демонстрируя недюжинную силу, потащила его в угол холла к подъемной площадке лифта.

– Валерия Модестовна...

– Опять!!! Мы поссоримся! Ну-ка: Ле-рик.

– Валерия! Модестовна! – решительно настоял на своем Мерин. – Вы меня принимаете за кого-то другого. Повторяю: я следователь, расследую тяжкое преступление, которое связано не только с кражей, но и с убийствами, понимаете? У-бий-ства-ми! Я пришел к вам за помощью – пожалуйста, ответьте мне на несколько вопросов, может быть, это поможет следствию, я вам буду очень благодарен и тут же уйду – у меня масса дел...

Она неожиданно толкнула его в стоящее рядом кресло, повалилась к нему на колени, зашептала в ухо.

– Милый мой мальчик, ну какие убийства в вашем возрасте? Какой вы следователь? Какие могут быть вопросы-ответы? Я ничего не знаю, я знаю только одно: вы красивый молодой мужчина, сильный, очень сильный, я хочу, чтобы вы доказали мне свою силу, сейчас докажи, слышишь, сейчас, я чувствую – мы совместимы, чувствую, видишь, как я чувствую? А ты чувствуешь? Да? Да? Ну-ка покажи, как ты чувствуешь? Покажи – как ты хочешь? Ну...

Она поползла пальчиками вниз по его животу.

– Уы сеоня ыли на аче у Теленеуых? – Вопрос прозвучал громко, хотя слова получились не четкими – рот его был залеплен ее губами.

Лерик на мгновение замерла, потом резко выпрямилась, посмотрела на него в упор. Мерин повторил вопрос:

– Вы сегодня были на даче у Твеленевых?

– Идиот! – негромко выдохнула она, с силой оттолкнулась от его груди и на ходу поправляя на себе одежду вышла из комнаты.

Какое-то время Мерин находился в некотором оцепенении, продолжая неподвижно сидеть в удобном мягком кресле и никак не мог понять, что делать дальше. Больше всего его

беспокоил вопрос: как же он будет докладывать Скоробогатову о посещении этой особы? Рассказать все подробности? Даже сама эта мысль бросала в жар. Утаить? Соврать? А проклятая красная краска? Полковник не дурак – все сразу поймет, выйдет еще хуже. Какой черт угораздил его сегодня припереться к этой явно нездоровой женщине!?! Надо было послать Яшина, Трусса, а еще лучше – Ваньку Каждого, вот и посмотрели бы на новобранца в деле, а то на проходной стоять каждый дурак умеет. Вот и опять выходит, что Каждый – дурак. Эта мысль его позабавила, привела, наконец, в чувства и подвигла к действию: он не без сожаления освободился от прохладного охвата кожаного кресла, как мог разгладил на себе серьезно пострадавшую во время сексуальных баталий одежду и вышел на улицу. Валерия Модестовна сидела в беседке неподалеку от гостевого корпуса в позе оскорбленной нимфы. Мерин рискнул предпринять очередную попытку, мало, впрочем, рассчитывая на успех.

– Я еще раз прошу меня простить, – начал он тоном признавшего свою вину школьника, – но мне необходимо задать вам несколько вопросов.

Она откликнулась не сразу, так что Мерину пришлось уточнить.

– Валерия Модестовна, вы меня слышите?

– Слышу, слышу, отлично слышу, Всеволод Игоревич, но все вопросы закончились. Остались одни ответы. А ответ мой один: выход – прямо по этой дорожке, – она кивнула в сторону красной мраморной магистрали, – до лучших времен, мальчик, постарайся вырасти большим и умным.

Как это часто с ним случалось в определенные моменты, Мерин вдруг почувствовал какой-то внутренний дискомфорт, будто собеседник пытается сбить его с толку, а он пропускает что-то важное, крайне важное, но вот что именно – никак не удается понять. В таких случаях он делал в памяти «зарубку», откладывал ее на потом и продолжал диалог, предпочитая расшифровывать насторожившие его ощущения позже в спокойной обстановке. Так он поступил и теперь: дословно повторил про себя последнюю фразу Лерика и двинулся дальше.

– Дело в том, Валерия Модестовна, что вы не совсем понимаете мою задачу. Я преследую не личный интерес, а пытаюсь выполнить задание, которое мне поручило государство, наше с вами государство, в котором мы живем, и обязанность каждого гражданина этого государства – так, по крайней мере, написано в Конституции – всемерно способствовать правоохранительным органам в борьбе с правонарушениями. В данный момент я представляю эти самые правоохранительные органы и занимаюсь раскрытием преступления, связанного с кражей и убийством. И если вы отказываетесь оказать мне содействие в решении этой очень важной, повторяю – государственной задачи, мне не остается ничего иного, как отнести это на счет определенной вашей корысти, незаинтересованности в раскрытии данного преступления, что, как вы сами понимаете, наводит на весьма не выгодные для вас мысли.

Мерин глубоко вздохнул и замолчал, довольный формой высказанной банальности.

Лерик скользнула по нему удивленным взглядом.

– Ишь ты как! – казалось, искренне восхитилась она. – Повторить можешь?

– Могу, если не поняли.

– Да понимать-то тут нечего: плевать я хотела на твое государство, и на органы твои, и на твою Конституцию вместе взятые, вот в чем дело. Ты-то меня понял? Живу как хочу и тебе советую того же. Давай. – Она опять мотнула головой в сторону красной дороги.

– Ну что ж, – еще тяжелее вздохнул Мерин. – Хотелось избавить вас от некоторых возможных неудобств, но... – он картинно развел руками, – видит бог – не моя в том вина: завтра получите повестку.

– Какую еще? – вяло поинтересовалась Лерик.

– В прокуратуру.

Она округлила глазки, впервые за все время свидания в них мелькнуло беспокойство.

– С ума сошел совсем, какую еще прокуратуру? А ордер?

– Ордер нужен на обыск, вы путаете, если понадобится – будет и ордер. А пока всего лишь прокуратура: с вами поговорят, вы ответите на все поставленные вопросы и, я уверен, благополучно вернетесь домой.

– Никуда я не поеду.

– Тогда придется обратиться к нарочному.

– Это еще кто такой?

– Нарочный кто? – Мерин виновато улыбнулся: «То ли действительно эта молодящаяся бабушка так наивна, как кажется, то ли тщится себя таковой представить в глазах следователя, и в таком случае это высший пилотаж». – Нарочный – это, если позволите, такой представитель правоохранительных органов, который поможет вам преодолеть неприязнь к вашим гражданским обязанностям и доставит по месту, указанному в повестке, за государственный счет.

Мерину очень не хотелось уходить ни с чем, он понимал, что, если дело сведется к прокуратуре – пиши пропало: минимум половина из того, что можно выудить из собеседника в «гражданской» обстановке, навсегда останется за кадром: в прокуратуре невольно все из свободных граждан превращаются в подозреваемых, волнуются, зажимаются, тщательно взвешивают каждое свое слово и разговорить их бывает крайне сложно. А то, что матери двоих взрослых сыновей от разных мужчин, один из которых проживает в городе Париже и состоит на заметке у французской полиции, а другой целенаправленно истребляет себя алкоголем, есть что рассказать в связи с событиями последних дней, связанными с семьей большого советского композитора, Мерин не сомневался ни на минуту. Интуиция ему это подсказывала, и даже если бы сам Анатолий Борисович Трусс попросил его засунуть эту самую интуицию в «сам знаешь куда», требуя неопровержимых фактов, которых у него на сегодняшний день не было, он все равно остался бы при своем мнении.

Поэтому он продолжал свое бессмысленное стояние у входа в беседку, сам не зная на что надеясь.

Из двух зол, ей предстоящих, меньшее Валерия Модестовна выбирала довольно долго. И только когда холодный разум фанфарно заявил о себе в знак победы над затихающими эмоциями, она изящно вытащила из плетеного кресла не худшую часть своего красивого тела, подошла к перилам и разглядывая даль, не оборачиваясь, произнесла трагически-торжественно:

– Допрашивайте.

На Мерина эта ее благосклонность подействовала, как выстрел стартового пистолета на тщеславного спринтера. Он взлетел по деревянным ступеням стародавнего ночного приюта всех влюбленных, притормозил в шаговой доступности от ее волос, плеч, спины, талии и всего остального и, оказавшись в небезопасной близости от головокружительного запаха ее дорогих духов, левой рукой оперся на узорчатую балясину, правую же оставил в резерве для жестикуляции в подтверждение своей полной лояльности по отношению к незаслуженно обиженной, невинной, почти святой, страдающей по его, Мерина, вине женщине.

По крайней мере, ему очень хотелось, чтобы в представлении Валерии Модестовны это выглядело именно так.

Последовавшее же за этим прекрасным порывом словесная его адаптация несколько снизила пафос происходящего.

– Это никакой не допрос, – произнес Мерин интимным шепотом, – можете вообще ничего не говорить – ваше полное право. Про прокуратуру я сказал, потому что где-то ведь надо же поговорить, а вдруг ваши наблюдения помогут следствию выйти на верную дорогу, но и там вы имеете полное право ничего не говорить. Это мое к вам обращение, просьба, если хотите, – его вдруг воодушевило слово «просьба», и он за него зацепился, – дружеская просьба: я вас прошу, не настаиваю, не требую – боже упаси, а про-шу, просто прошу – помогите. Вы давно знаете семью Твеленевых, вы состоите в родственных отношениях с одним из ее членов, никто как вы знаете все тонкости взаимоотношений внутри этого,

согласитесь, странного семейства, я бы даже сказал очень странного... Вот вы разошлись...

– Мы не расходились. Садитесь. – Лерик втиснулась в свое плетеное кресло, Мерин замер в соседнем, превратившись в слух напротив нее.

– Вы правы, когда говорите о странности этого семейства. – Она достала из лежащей на столике пачки тонкую сигаретку, щелкнула зажигалкой, придвинула к себе пепельницу. – Видите ли, ушла из жизни баба Ксения, загадочно, кстати, ушла, может быть, вы слышали: отравилась, это было, дай бог памяти, – она ненадолго задумалась, – да, конечно, в тысяча девятьсот девяносто втором году, как тогда кто-то пошутил: «Ушла за советской властью», и Марат вдруг запил. По-черному! Не то что неделями или месяцами – вообще не просыхал: пил, трезвел, опять пил, опять трезвел... и так год почти. Пропивал все, что присылали родители – других доходов у нас не было, его не печатали да он и не мог ничего писать. И я ушла. В никуда ушла с ребенком на руках. Спасибо отцу с матерью – приютили. Вот такая биография, Севочка.

– Да, натерпелись, – сочувственно замотал головой следователь. – Счастье еще, что родные ваши старой закалки люди, не бросили в беде. Сейчас ведь каждый только о своем кармане...

Они, дай бог, здравствуют?

Мерин к этому моменту знал, что Модест Юргенович Тыно возглавляет совет директоров банковского холдинга и успешно рулит несколькими сталепрокатными заводами, а благоверная его отмазывает мужнее воровство в каком-то детском благотворительном обществе, так что задавал он этот деликатный вопрос без боязни нанести травму любящей дочери.

– А что с ними сделается? – Лерик недобро сверкнула глазами. – Нас переживут! – И тут же поспешила улыбкой разбавить неожиданную вспышку. – Будем надеяться.

– И то правда, – ответно растянул губы Мерин.

– А скажите, Вале... – он искусно запнулся, – скажите, Лерик, да? Ведь Лерик?

Она грубовато поддакнула, мол: «Давай, давай, работай, любовь закончилась».

– Скажите, Лерик, ваш сын Антон...

– Он с отцом живет. Его выбор. У меня, как вы заметили, места хватает, и в средствах не нищенствуем, но он сам выбрал. Его композитор содержит.

– А Герард?

– Герку Марат усыновил еще при бабе Ксене. Он ведь даун. Не совсем, даже внешне на дауна не похож, но все же даун. В школе трех лет не осилил, толком ничего не умеет. Умеет одно только: Марата любить. Как собака. Умрет за него без раздумий. Какой-то период за водкой для него бегал – счастливее человека не было. Носился с бутылками, как угорелый. А когда врачи сказали, что это отцу вредно – отрезало: как тот ни умолял – ни в какую. Марат всегда втайне от него пьет.

– Он с ним живет?

– Да где придется. Он беззлобный, ласковый очень, его все любят. Когда Марат на даче – он с ним, вон их дача напротив. У друзей своих каких-то часто ночует, их у него много. Сюда иногда заходит...по-разному.

Вопрос – кто из твеленевских родственников где находился в день кражи – беспощадно чесал Мерину язык, но как к нему подступиться, не спугнув зверька? Вздыбит шерстку, наострит уши, прыг – и поминай потом, как его звали: кролик безобидный, лис или волк-людоед. И заходя, как ему казалось, издалека, Мерин не ожидал, что так скоро получит столь необходимые ему сведения.

– Вы когда последний раз с ним виделись?

– С Гериком? Да вот когда эта вакханалия со столетием композиторским в Москве утихла, они всем кагалом сюда продолжать переехали, ну и Герка с ними, разумеется. Мне же отсюда все видно, до мелочей. Ко мне не зашел, а я сама тоже не больно-то: меня даже на торжества не пригласили, я все-таки невестка как ни как. Вот тогда в последний раз его и видела. – В мозгу у Лерика что-то заметно зашевелилось, и она всем корпусом повернулась к

Мерину: – А вы почему об этом спрашиваете? С ним что-нибудь случилось?!

Беспокойство ее выглядело настолько искренним и сильным, что Мерину пришлось взять ее за руку.

– Нет, нет, не волнуйтесь, ровным счетом ничего, во всяком случае вчера мы с ним виделись – он был в полном порядке.

Лерик еще какое-то время с недоверчивым испугом смотрела на него, затем освободила руку, спросила, как показалось Мерину, нарочито-безразличным тоном:

– Вы с ним виделись? И что?

– Ничего. Побеседовали. Я же расследую эту злополучную кражу, общаюсь с пострадавшими, мне нужно знать как можно больше подробностей. Вот и с вами мы беседуем...

– Ну, я-то не пострадала. К счастью. Меня эта кража ни сверху, ни снизу не... волнует.

– Не скажите. – Мерин старательно не заметил вульгарного двусмыслия последней фразы. – Вы ведь, если, как сами говорите, не оформили разводные документы с Маратом Антоновичем, одна из прямых наследниц немалого состояния. И сыновья ваши. Не знаете, Антон Игоревич не составлял завещания? Девяносто лет все-таки, многие в таком возрасте подстраховываются. Хотите, я наведу справки в адвокатских сферах, моя работа это допускает.

– Да нет, зачем же?! – Она решительно отвергла меринское предложение, подтверждая его неприемлемость для себя болезненной гримаской на личике. – Еще не хватало заподозрить нас с Аммосом в корысти. Мы не нуждаемся ни в каком наследстве.

– Ну и слава богу, ну и гора с плеч, в таком случае вы лицо незаинтересованное и тем более мне важны и интересны ваши суждения, – обрадовался Мерин, – вы мне просто руки развязали. – Он повальяжнее расположился в кресле, закинул ногу на ногу. – Скажите, какие отношения связывают вас с Надеждой Антоновной? Что она за человек? Чем она занимается? Насколько я понимаю – она ведь нигде не работает?

Он помолчал, дожидаясь ответа, Лерик же набрала в рот дыму и сосредоточенно отправляла его в пространство колечками, ему пришлось продолжить.

– Мне довелось прочесть составленную сыном вашим Антоном опись похищенного: там упоминается какая-то ее коллекция китайских фигурок, числом... э-э-э... – он какое-то время напевно растягивал эту букву, пристально наблюдая за Лериком, но та никак не реагируя на его слова бросила непотушенный окурок в пепельницу, – э-э-э, числом... э-э-э... не упомяну, да это и не так важно в конце концов. Что это за звери такие? Не прольете свет на темноту моих познаний?

– Сева. – Женщина закинула обе руки за голову и выпятив грудь с громким прихрипом затажно потянулась. – Возьми соответствующий справочник, открой страницу на букву «н» и найди слово «нэцке» – тебе все станет ясно. Это первое. Второе. Сева, зачем ты передо мной, как говорит один знакомый артист, так выеживаешься? Зачем? Говори проще. Ты меня очень сильно обидел. Даже полным импотентам так вести себя с дамой непозволительно, а ты, я успела заметить, этим недугом пока не страдаешь. Так что формулируй свой вопрос попроще, не тяни резину: лопнет – дети пойдут, и мотай удочки – улова сегодня у тебя не получится. В другой раз, может быть, найдем общий язык. Нет? Не красней, маленький, под «общим языком» я сейчас не на сексуальные игры намекаю. Сексом мы с тобой займемся на твоём совершеннолети. Пригласишь?

– Непременно и не единожды, – Мерин весело рассмеялся, давая понять, что шутки он понимает. – Тогда последний вопрос. Скажите, вчера вы виделись с Надеждой Антоновной Заботкиной?

Лерик зло на него зыркнула.

– Далась же вам эта Заботкина. Виделась. Именно вчера...

– А сегодня?

Мерину показалось, что она вздрогнула.

– Что сегодня?

– Сегодня вы к ней заходили?

Она достойно справилась с секундным замешательством.

– Сегодня – нет. А вчера я отнесла к ней фамильное серебро и попросила спрятать. Все?

– Спрятать? Зачем? От кого прятать? – Он ужаснулся очень искренне, сиюсь любимым способом заискрить обесточенный контакт.

– От вас, от вас, Сева, от вас, ментюгов прожорливых, от кого же еще прятать. – Она, минуя высокие ступеньки, прыгнула на траву и походкой стареющей лани направилась в сторону дома. – Эта дорожка выведет вас к калитке, – крикнула издали.

И уже у самого выхода, у самой собачьей будки, постоялица которой приподняла заспанную морду и беззлобно, скорее для обозначения своего присутствия, рыкнула, у Мерина вдруг – это с ним часто случалось при расшифровке «зарубок» – застучало в висках так, что он даже остановился.

– Лентяйка, как тебя зовут? – обратился он к собаке. – Небось Раймонда? Или Цицилия? А главное – как звали твоего батюшку?

«Откуда она могла знать его, Мерина, отчество? А ведь она назвала его Всеволодом ИГОРЕВИЧЕМ! Значит... Значит заранее узнала, кто ведет следствие. Зачем, если эта кража ее, по ее же выражению, «ни сверху, ни снизу..? Зачем, Валерик?»

– Так-то вот, – сказал он собаке по имени Раймонда или Цицилия, – значит, с какого-то боку тебя эта кража все-таки волнует. Только интересно вот – с какого?

Та, на этот раз не поднимая головы, вильнула облезлым хвостом.

Проходя через калитку, Мерин увидел въезжающую в ворота поместья темного цвета спортивную «Мазерати» с номерным знаком Т-555-МК, за рулем которой сидел незнакомый ему молодой человек.

К Марату Антоновичу Твеленеву Мерин опоздал, по сравнению с обещанным, минимум часа на два.

Дверь широко распахнулась, как только он поднес указательный палец к звонку. Было похоже, что его ждали, не отрываясь от дверного «глазка».

На пороге стоял сердитый человек в белоснежной рубашке, поношенном черном пиджаке, такого же цвета мятых брюках и тапочках на босу ногу. Не произнеся ни слова, он взял из меринских рук пакет и растворился в полутьме коридора.

Сева по-хозяйски закрыл входную дверь на замок, включил свет, расправил скомканный половичок, тщательно поскреб об него негрязными башмаками. Прислушался. Из кухни – он приблизительно помнил «географию» квартиры – донеслось едва различимое звяканье посуды. Углубляться в чужие пределы без сопровождения хозяина не хотелось, и он приготовился к долгому ожиданию, но Марат Антонович, будучи, очевидно, человеком по природе светским и гостеприимным, тотчас же возник в конце коридора и что-то счастливо пережевывая широким жестом предложил гостю чувствовать себя по-домашнему.

– Проходите, Всеволод, не стойте в дверях, там все готово, я сейчас. – И он опять исчез с приветливой миной на лице.

В кабинете Твеленева действительно «все было готово»: на заваленном бумагами огромном письменном столе с краешку размещались два хрустальных стаканчика, тарелочка с неопределимой беглым взглядом снедью и бумажные салфетки.

Не успел Мерин расположиться в знакомом уже кресле, как в комнате возник сам хозяин, ни в каком приближении не похожий на человека, минутами назад встретившего гостя в дверях: лицо его было занято радужной улыбкой, руки – початой бутылкой водки.

– Ну, рассказывайте, что случилось? Заставляет ждать больного – не гуманно, а я... – он неожиданно принял позу декламатора и процитировал: – «Друг мой, друг мой, я очень и очень болен! Сам не знаю, откуда взялась эта боль...» Есенина уважаете? Его не убили, я в этом почти уверен, ему просто жить надоело. Он заболел желанием не жить. – Марат Антонович наполнил свой стаканчик, сказал утвердительно: «Вам я не наливаю, вы на

работе».

– Совершенно верно, – улыбнулся Мерин, вспомнив свой предыдущий приход.

– Итак, на чем мы в прошлый раз остановились, мой молодой благодетель? – Он смачно, с удовольствием крякнул, зацепил щепотку чего-то с тарелочки, величественно переместился в кресле. – Если мне не изменяет память, мы споткнулись на родословной Антона: чей он сын. Правильно?

– Вроде да... – неуверенно протянул Сева.

– Да не вроде, а именно на этом мы и споткнулись. Скажу откровенно, чтобы к этому не возвращаться: он сын меня и Лерика, то есть я хочу сказать – мой. А Герочка не мой, но он больше мой, чем мой. Я понятно говорю?

– Абсолютно. Вы его усыновили.

– Именно. Божий человек, святая душа, такие, к несчастью, в наше время не живут долго. Единственный изъян: не признает верховную власть алкоголя. Ну я смирился, это у него возрастное, пройдет, надеюсь. Он сын Лерика и младшего брата Дюшкиного мужа Аркадия Заботкина – Николая Заботкина. Есть здесь у Герочки еще один брат по отцу Заботкину, но он им обоим не отец, так как живет в Париже, и мне рассказывал Аркаша, когда мы с ним еще выпивали, у него там есть еще дети и сыновья, которым он тоже не отец... – Марат Антонович хотел наполнить свой стаканчик, но передумал, поставил бутылку на прежнее место. – Так, ладно, по-моему все родословные мы с вами выяснили, теперь расскажите-ка, доктор, что вас так задержало с визитом к больному? Ведь могли и опоздать. Знаете про яичко к Христову дню? Антон мой лет в шесть, не поверите, что выкинул. У нас собака жила, рыжая овчарка, послушнее, умнее, преданнее существа в природе быть не может, но был у нее один изъян: патологическая сластена, мы с ней так играли: клали на нос кусок сахара, говорили: «Сидеть», она замирала, потом кричали: «Взять», она его подбрасывала, на лету ловила, хрупала и тут же клячила еще. Так этот стервец Антон, когда никого не было в доме, положил ей на нос сахар, велел: «Сидеть!» – и ушел во двор на коньках кататься. Когда через два часа мама вернулась с работы, она застала такую картину: пес наш лежит на полу, дрожит всем телом, на носу у него кусок сахара, перед ним огромная лужа слюней и когда мама крикнула: «Взять», он не смог подбросить сахар, силы его покинули, он повалился на бок и умер. – Марат Антонович опять взялся за бутылку, на этот раз наполнил свой бокальчик, но пить не стал, наслаждаясь произведенным на Мерина эффектом рассказанного. – К счастью, реанимация приехала моментально – помогла фамилия композитора – собаку откачали, но с тех пор он к сахару стал равнодушен. Вы понимаете, что со мной вы сегодня поступили примерно так же – с больными нельзя так жестоко: посулить и не дать. И должен вас огорчить: если меня когда-нибудь, так же как пса моего, в последний момент вернут к бытию, я ни за какие коврижки не изменю отношения к своему «сахару», – он приподнял перед собой стаканчик и залпом осушил его.

Они оба помолчали вовсе не потому, что говорить было не о чем.

– Скажите, Марат Антонович... – начал Мерин.

Тот охотно откликнулся.

– Вы хотите спросить, как мы его наказали?

Мерин хотел спросить совсем другое, но предпочел согласиться.

– Д-да.

– Первый и последний раз в жизни я его отлупил ремнем так, что он неделю потом не садился на эту свою «мадам сажу». Мама всю ночь не могла унять рыданий, но в тот момент она меня не сдерживала.

– Скажите, Марат Антонович... вы представляете себе, хотя бы приблизительно, масштаб случившейся кражи.

Изменение направления беседы произошло столь неожиданно и даже не на триста шестьдесят, а на все семьсот двадцать градусов, что оба одновременно замолчали: один в ожидании ответа, другой же, перед тем расслабленно полулежавший в кресле, выпрямился, поджал под себя ноги и склонил голову на бок, при этом глаза его очень медленно, со

скоростью, пусть даже часовой стрелки, но тем не менее непрерывно, стали расширяться, и продлись меринское молчание подольше – орбит могло не хватить.

До этого момента Сева никогда не понимал смысла выражения: «Как баран на новые ворота», но тут его вдруг осенило. Ну конечно! Ведь «баран» в народном фольклоре – существо не шибко богатого ума, и когда такой баран, вернувшись домой с пастбища, видит перед собой новые ворота, хотя вчера еще были старые, он не может понять – откуда же они взялись. И взгляд его при этом не просто удивленный, но и немного возмущенный, испуганный, растерянный – остолбенелый. Именно такого барана являл из себя сидящий перед ним Марат Антонович Твеленев: он, как ни силился, никак не мог взять в толк, о чем же его спросили.

Выдержав небольшую паузу, Мерин пришел ему на помощь.

– У вас в этой квартире несколько дней назад произошла кража, – начал он вкрадчиво, – пропало много вещей. Я занимаюсь этим делом и хотел бы узнать, что из ценностей пропало у вас лично.

Возврат к человеческому облику у Марата Антоновича произошел революционно: он шлепнул себя ладонью по лбу, шумно выдохнул со словами: «Ф-ф-ух ты, господи!» и энергично схватился за бутылку.

– Нет, за это грех не выпить. Вы меня напугали, Всеволод: думаю, что за масштаб? Какой такой масштаб? – Он опрокинул в себя стаканчик, не закусывая откинулся в кресле и опять выдохнул: «Ф-у-у-ухх». – Милостивый мой благодетель, запомните раз и навсегда: «масштабы» бывают только после катаклизмов – войн, землетрясений, водных стихий, массовых убийств или атомных взрывов. Вот тогда – масштабы последствий. Их нельзя подсчитать, измерить – они безмерны. Как подсчитать масштаб трагедии детоубийства в Беслане? Или количество трупов мировых войн? Или гибель Помпеи? Герника, газовые камеры, концлагеря, Чернобыль, а Христа когда распяли – вот где масштаб... Масштабы – навечная трагическая память поколений хомо сапиенс. На-веч-на-я! Простите меня за пафос, но это так. А вы – «масштаб домашней кражи»! Немудрено, что я не сразу понял. Ф-у-у-у-у, – в третий раз освободился от избытка кислорода Марат Антонович, – Честное слово, вы меня опять принуждаете выпить.

– Неудачно выразился, согласен, признаюсь, – улыбнулся Мерин, – пусть не масштабы, пусть потери, так скажем. Меня интересует какие потери понесли лично вы в результате этой кражи?

– Да ничего я не понес! Ничегошеньки! Нечего у меня нести! Книги разве что, так самые ценные Антон еще в отрочестве своем потаскал-попродавал, остались Энгельс с Лениным, вон пылятся – он указал на стеллажи за меринской спиной, – так они на мелованной бумаге изданы – их даже непотребно не используешь.

– А родные ваши, сестра, например? Антон утверждает, что у нее пропала какая-то дорогая, баснословно дорогая коллекция...

– А ему что за дело? Он тут каким боком?

– Он опись составил...

– Опись!? Ишь ты, какой писатель отыскался...

Он хотел еще что-то сказать, но в прихожей заскрежетали входные замки. Марат Антонович проворно спрятал недопитую бутылку, прикрыл бумагами тарелку со снедью, крикнул:

– Герочка, это ты? Заходи, мальчик, я познакомлю тебя с очень интересным человеком.

– Я к деду пошел. – Герард, не заходя в кабинет, протопал мимо по коридору.

– Стесняется, – умиленно произнес Твеленев, извлекая из-под стола спрятанную жидкость. – Теперь долго не придет – помешать боится. Божий человек, не устану Бога молить о его здоровье. – Он поднял высоко над головой наполненный стаканчик, обратился с тостом к приемному сыну. – Твое здоровье, Геронька! Дай Бог тебе подольше жить, не зная мерзостей этого мира. Пока копчу небо – защищу, а там... э-эх, ладно, за тебя!

Он виртуозно, как фокусник огонь, проглотил водку, всем корпусом повернулся к

Мерину.

– Ну-с, так о чем мы?

– Мы о краже, Марат...

Тот скривился.

– Оставим в покое эту щекотливую тему, ладно, тем более что нас с Герочкой она не задела, я вам лучше о текущем моменте мысли свои выскажу, хотите? Прелюбопытное время, доложу я вам...

Мерин поспешил его остановить.

– Марат Антонович, ваш отец на днях вызывал к себе музыкального эксперта. Скажите, вы знаете об этом?

– Эксперта? Первый раз слышу. Меня вообще мало интересует, с кем общается этот человек.

– Эксперта он вызывал для подтверждения подлинности хранящейся у него в кабинете очень старинной скрипки, чуть ли не Страдивари. Вы знаете об этом?

– О чем?

– О том, что у вас в доме хранится музейный раритет?

Он криво ухмыльнулся.

– Если вы имеете в виду этого композитора Антона Игоревича, то смею вас заверить, что он не очень-то «раритет» – так, грубая подделка, три копейки в базарный день.

Мерин не принял шутки, продолжал внимательно изучать лицо изрядно уже захмелевшего собеседника. Тот посерьезнел.

– Я шестнадцать лет уже не захожу в его покои. Ни разу после смерти мамы. Что он там у себя хранит – одному черту известно. О скрипке я знал, мама ведь играла, говорят, очень прилично для любителя, ее даже на торжества во всякие дворцы культуры приглашали. А потом – я смутно помню, мне лет пятнадцать-шестнадцать было – в доме произошел какой-то грандиозный скандал, мама ночи напролет плакала, с опухшим лицом, помню, ходила, долго стеснялась на люди показываться, и как отрезало: с тех пор она инструмент в руки не брала.

– Из-за чего скандал – не вспомните?

– Молод я был, Всеволод. Молодо-зелено. Ни до чего мне было. До себя только. Вам это еще знакомо? Нет? Понимаю. Молодость – она, знаете, когда заканчивается? Когда родители умирают. Многим везет – до старости лет в молодых ходят. А моя вот в девяносто втором закончилась...

– И что за скрипка была – тоже не знаете?

– Нет, я в этом не разбираюсь. Меня пытались на фортепьяно учить, но я как узнал, что нот всего семь штук и из них только надо комбинировать, так и бегом от инструмента, не сел больше ни разу, до сих пор изумляюсь, когда старую музыку слушаю: как это возможно такое из семи нот сотворить? Ну для новой-то и двух много, все эти крутые-перекрутые на одной нотке шоу-бизнес свой научились мастрячить, не о них речь, а Чайковский? Бетховен? Малер? – он широко развел руками. – Недоступно понимаю...

– Скажите, Марат Антонович, в день кражи вы находились в Москве или на даче?

Твеленев, на этот раз не быстро поняв о чем идет речь, нарочито сбросил голову на грудь – мол, достал ты меня со своей кражей, улыбнулся.

– Севочка... ничего, что я вас так запросто?

– Да что вы, конечно – отмахнулся Мерин, но Твеленев воспринял это по-своему.

– Ну хорошо, тогда Всеволод Игоревич. Я правильно помню – Игоревич? Так вот, Всеволод Игоревич, в день этой вашей злополучной кражи в Москве находилась одна только Нюра, да и то только по причине крайней старости, сейчас возраст свой она скрывает, но известно, что, когда я родился, а случилось это в сорок втором, она уже успела расстаться со своим третьим мужем и попросила у мамы приюта, ибо жить ей было тогда негде, да так с тех пор у нас и осела. А было ей уже за тридцать, когда я родился, и теперь она на дачу не ездит, говорит, что та ее старит – молодые годы напоминает, а обращение памятью в

прошлое – верный признак старости, так она считает, поэтому в тот день она одна в Москве оставалась, а весь кагал твеленевский отмокал от юбилейных возлияний на даче, и я вместе со всеми. – И он, не переводя дыхания после столь продолжительного и подробного рассказа, опасаясь, как бы его опять не окунули в эту «злополучную кражу», продолжил без паузы: – Я ответил на ваш вопрос? Это, если помните, Горбачев виртуозно умел уходить от поставленных вопросов: его про Фому, а он долго и нудно про Ерему. Тоже ведь талант своему. Я это называю «партийным талантом», кто им не владел – в компартии делать было нечего. Нынче-то и этого не нужно – просто морды воротят, никому ни на какие вопросы не отвечают, все двери позапирали – не достучишься. Спросишь, к примеру: «А это вы какое право имеете под моими окнами дом строить?», а они: «Нам велели, мы люди маленькие». – «А большие кто?» – «Не знаем». – «А кто велел?» – «Не ведаем». Идешь выше: «Вы стройкой ведаете?» – «Мы». – «Разрешил кто?» – «Дед Пихто». – «Где этот дед?» Плечами пожимают, глазами бесстыжими в небо указывают. Ну а туда, в поднебесье ихнее, лоб расшиби – не преуспеешь: такими кордонищами себя окопали – ни поговорить с кем, ни вопрос задать кому. Сегодня, Всеволод Игоревич, тот «теленок», что «с дубом бодался», да простит меня советский классик, – детский лепет, не более. Вот прохожу я недавно...

– И что – простите, я опять за свое, – Мерин и сам дивился своей наглости, – весь кагал был в тот день на даче или, может быть, кто-то отсутствовал?

– Какой кагал?

– Твеленевский.

Марат Антонович посмотрел на него, как на безнадежно больного, опорожнил очередной стаканчик, бутылку проверил на просвет, заметил грустно.

– Надо же, как быстро убывает. Ни одна жидкость на свете так быстро, как водка, не заканчивается. Не успеешь оглянуться... «Оглянуться не успеешь, как зима катит в глаза...». Как там дальше, не помните? «Нет уж дней тех светлых боле, где под каждым ей листом был готов и стол, и дом. Злой тоской удручена...» Вот и я, Всеволод Игоревич, нынче, похоже, этой самой тоской удручен: в чем вы меня все время подозреваете? При чем тут кагал?! Между прочим, у кагала этого самого – несколько значений, это не только шумная толпа, но еще и еврейское общинное самоуправление и еще община в Польше. Так я хочу понять – вас национальность моя интересует или...

– «Или», «или», Марат Антонович, именно «или». Национальность ваша мне известна, меня интересует исключительно твеленевская, как вы выразились, «толпа», которая «отмокала» с вами на даче. Последними, как мне удалось выяснить, из Москвы в Переделкино отбыли Надежда Антоновна с Аркадием Николаевичем, это было пятнадцатого сентября, в субботу. А кража датирована воскресеньем шестнадцатого, то есть на следующий день. Так вот, меня интересует – не отлучался ли кто-либо из домочадцев ваших в этот день из Переделкино...

Твеленев вдруг посуровел, отодвинул подальше от себя недопитую бутылку, как не имеющую к нему никакого отношения, мутные голубые глаза его налились сталью.

– Вы что же – всерьез меня подозреваете? А известно ли вам, милостивый государь, что девичья фамилия моей мамы, Ксении Никитичны, Бенуа, она дворянскую грамоту только после моего рождения в сорок третьем сожгла, боясь моего преследования, то есть я хочу сказать – за меня преследование... за мое... тьфу, черт, как сказать-ть? Ну вы поняли – чтобы меня большевики не преследовали...

– Марат Антонович, да что вы в самом деле, господь с вами, – Мерин выскочил из кресла, присел на корточки возле Твеленева, – никого я не подозреваю, даю вам честное слово. С вашими домочадцами я уже познакомился, и с Антоном, и с Тошкой Заботкиной, даже с Валерией Модестовной – прелестные все люди, смешно кого-то подозревать, просто у меня, поймите, профессия такая: всех тоскливейшим образом пытаться-выспрашивать – вдруг какая малость да пригодится. Так что, если я спросил, не отлучался ли кто с дачи в то воскресенье – то отнюдь не из-за каких-то там подозрений – еще не хватало подозревать потерпевших. Просто подумал: а вдруг кому по своим делам в Москву понадобилось

вернуться и, проезжая, допустим, по Тверской, довелось заметить нелогичность какую на дороге или там номер машины, из двора вашего выезжающей, – всякие чудеса на свете случаются, а мне бы это помощь неоценимая. Нет?

– Что «нет»? – Твеленев милостиво вернул бутылку на прежнее место, но наливать не стал.

– Я говорю – нет? Никто не отлучался?

– Плохой я вам помощник, Всеволод Игоревич, никуда не гожусь, потому как внимание свое направляю исключительно на то, чтобы рюмка всегда была наполнена, на прочие мелочи не размениваюсь. Родственничков по полгода не вижу, – без надобности, раз в месяц только к композитору этому, – он кивнул головой в сторону комнаты Антона Игоревича, – за зарплатой своей Герочку отошлю и назад в келью. Топливо за малое вознаграждение Турсоат доставляет.

– Турсоат – это?..

– Дворник наш, таджик или узбек, толковый малый: я ему по мобильному набираю, как в магазин заказов, что покупать он уже давно выучил, я только в зависимости от потребности количество называю, например: «Турсоат, три с половиной», он отвечает: «курдобэй», это по-ихнему, наверное, «понял», я не уточнял, курдобэй так курдобэй, какая разница, и можно на часы не смотреть – ровно через шесть минут звонок в дверь: несет мой улыбчивый Курдобэй три «столичных» и бутылку пива...

– А «зарплата»?

– Что «зарплата»?

– «Зарплата» – это что такое? Вы сказали – к отцу за зарплатой раз в месяц...

– А-а-а, зар-пла-а-а-та, – протянул Марат Игоревич, как бы вспомнив что-то давно забытое, – это сокращенное от «заработной платы». Я каждый месяц зарабатываю.

– Ухаживаете за отцом? – робко предположил Сева.

– Нет. Просто молчу. – И, заметив меринское изумление, пьяненько улыбнулся. – Что тут непонятного: молчу, как рыба об лед. Нравится вам такое выражение – «рыба об лед?» Мне очень. Молчу, а он мне за это денежки платит. Шестнадцать лет уже молчу, иначе его давно бы здесь не было: чертей бы в аду болезнями своими пугал. Это не шантаж, не подумайте, я не из-за денег пасть свою на замке держу. Это исполнение завещания – заговорить, только когда он подойдет, а Антон Игоревич, как назло, с этим не торопится, у других, недоживших, годы себе ворует. Но ничего, даст бог, дождусь – всему миру расскажу, чтоб под него там поленьев в костер подбрасывать не забывали. У меня и повесть документальная давно на выданы – в сейфе часа своего дожидается – со всеми подробностями.

Марат Антонович замолчал и по тому, как через короткую паузу он схватил со стола бутылку и, минуя стаканчик, вылил в себя немалые остатки водки, стало понятно, что нервы у него на пределе.

– А день кражи вашей, Всеволод Всеволодович, я потому запомнил, что молодежь тогда повела себя весьма гуманно: с вечера после застолья из напитков ничего не оставалось, я это точно запомнил, а в воскресенье просыпаюсь – трубы гудят, голова чужая, в руках еврей Паркинсон хозяйничает – того гляди, окарачунюсь, пошарил по сусечкам – ничего, а холодильник открыл – он, спаситель мой, от переизбытка аж стонет – пиво, водочка, сухарек беленький – все для продолжения жизни. Молодежь позаботилась.

Мерин, рассчитывая на продолжение монолога, перестал дышать, сидел не шелохнувшись: «Значит кто-то все-таки отлучался с дачи в день московской кражи!» Но Марат Антонович, как и в прошлый его приход, без предупреждения неудобно пристроил голову на письменном столе и закрыл глаза. Стало очевидным: аудиенция окончена. Сева какое-то время посидел в тишине, на всякий случай, скорее себе самому, чем прикорнувшему собеседнику, задал негромкий вопрос: «Отчего же все-таки ушла из жизни Ксения Никитична?», но вопрос этот, ответ на который был ему жизненно необходим, так и остался висеть в неуютном кабинете Марата Антоновича Твеленева.

Анатолий Борисович Трусс считался лучшим во всем МУРе «колотилой», как с незапамятных времен по чьему-то меткому выражению в Конторе называли следователей, умеющих «раскалывать» самых неразговорчивых подозреваемых. Своими разнообразными методами воздействия на собеседников майор ни с кем из сослуживцев не делился, и многие, завидуя блестящим показателям труссовских допросов, перешептывались по углам, дескать, не все из этих методов укладываются в строгие рамки уголовного законодательства. Но, как принято считать в среде правоохранительных органов, – победителей не судят, поэтому, если арестованный после очередного «собеседования» с Анатолием Борисовичем и выходил из его кабинета с разноцветной и несколько увеличенной в объеме физиономией, то считалось, что просто бедняга вовремя не посмотрел себе под ноги, обо что-то споткнулся и неудачно ударился лицом об пол. Правда, справедливости ради, случалось это нечасто, Трусс отдавал предпочтение победам психологического характера. Особенно когда перед ним оказывался подследственный, по его выражению, «ума близкой соотносительности», каким в данный момент и представлялся ему Антон Твеленев. Беседа протекала неспешно и стороны, не пуская до поры в ход когтей, мягкими лапками, не без пиетета друг к другу развлекались невинностью вопросов и отточенной искренностью ответов.

– Вы уж не обессудьте – такими словами обратился майор к введенному в его кабинет молодому человеку, – следователь Мерин ненадолго отлучился по делам службы и поручил мне подписать ваш пропуск на выход. А я, старая перечница, привык вникать в суть происходящего и поэтому прошу разрешения задать вам несколько вопросов. Не возражаете?

– Да, пожалуйста. – Идя под конвоем на допрос, Антон придумал держаться вежливо, но без какого бы то ни было по отношению к себе амикошонства.

– Я постараюсь не быть назойливым. Вас ведь когда сюда доставили? Вчера после убийства?

– Совершенно верно.

– Как его, напомните...

– Кого?

– Убитого.

– Игорь. Игорь Каликин.

– Каликин. Это фамилия по отцу?

– По матери.

– Что «по матери»?

– Фамилия.

– А-а-а, а мне подумалось – это вы меня хотите «по матери». А почему не по отцу?

– Не знаю. Он их оставил.

– А его как?

– Заботкин.

– Забо-о-откин. Ан и не позаботился. Вас эти добры молодцы из местной ментуги сразу сюда доставили?

– Нет, сначала у себя пытали, а потом уж сюда.

– Так прямо и «пытали»?

– Именно «прямо».

– С применением?

Антон не понял вопроса.

– Что вы имеете в виду?

– Ну я имею в виду – с применением орудий-то пыточных?

– Нет, без применений. – Антону не понравился следовательский юмор, и он не счел нужным это скрывать. – Но словесные орудия применялись в полной мере.

– Головоотяпы. Платят им с гулькин нос, вот они и мечут икру. – И, заметив изменение в настроении собеседника, «поспешил исправить оплошность». – Вы, случаем, не знаете, кто такая Гулька?

– Не интересовался.

– А я вам скажу – это голубей иногда так называют ласково: гулька. У них носы маленькие. Расскажите-ка поподробней – как это произошло?

– Что именно?

– Ну, убийство это. Это же, насколько я в курсе, на ваших глазах случилось?

– Я вашему сотруднику подробно рассказывал.

– Ну и мне, не в службу, а в дружбу.

Антон нарочитой улыбкой потушил в себе приступ подступающего раздражения.

– Позвольте, я уж лучше «в службу»?

– Ничего не имею против, извольте, коли дружить не расположены.

– Мы ехали в лифте...

– А в лицо смогли бы узнать убийцу?

Антон некоторое время молча разглядывал следователя.

– Нет, я его не видел. Там было много народу... Игорь упал, только когда все выходить начали...

– А до этого – ни звука?

– Нет.

– Странно, не кажется вам? Он ведь не мгновенно умер?

– Нет.

– Вот видите. Я полагал, когда нож в спину всаживают, прежде чем концы отдать, человек как-то реагировать должен. Кричать, на помощь звать. Нет?

– Не знаю, не пробовал. – Антон, в очередной раз сiallyсь улыбнуться, показал зубы.

– За что, как вы думаете, убили вашего друга?

– Не знаю.

– Вы ведь дружили?

– Да.

– Домами?

– Что вы имеете в виду?

На этот раз твеленевскую «непонятливость» широкой улыбкой отметил Трусс.

– Дома ваши я имею в виду. Ваши дома и ничего более.

– Если вас интересует – бывали ли мы в гостях друг у друга, то да, бывали.

– Ну вот, именно это меня и интересовало. С матушкой его, стало быть, знакомы?

Антон неопределенно пожал плечами: мол виделись, конечно, но...

– Понятно – разные поколения. Вам ведь?..

– Сколько мне лет? – уточнил вопрос Твеленев. – Это тоже имеет отношение к убийству Игоря?

– К убийству Игоря до поры до времени, пока мы не нашли убийцу, имеет отношение абсолютно все, – виновато констатировал Трусс. – Итак...

– А лет ему отроду двадцать два, – Антон предпочел не услышать появления стали в голосе следователя, – а на щеке у него бородавка...

– А ему?

– Сколько лет Игорю? – опять уточнил для себя молодой человек.

Трусс молчал.

– Ему, если не ошибаюсь, примерно столько же.

– У него были враги?

– Нет, по-моему...

– А найденные в доме Каликиных драгоценности откуда?

Ответ прозвучал через паузу.

– А у него нашли драгоценности? Откуда же я знаю...

– А то, что они в розыске, это вы знаете?

– Знаю. Мне ваш сотрудник сказал, Мерин.

– А то, что Клавдию Григорьевну тоже зарезали, знаете?

Удар был рассчитан точно, попал в солнечное сплетение и обернулся нокаутом: противник согнулся пополам и никаких десяти секунд, чтобы прийти в себя, ему не хватило. Трусс терпеливо ждал: в его планы входило продолжение поединка, а не его, пусть и победное, завершение. Наконец Антон глухо выдавил:

– Как резали?

– Да так, ножом по горлу. Как? Была семья, мать и сын, и в одночасье не стало. В чем провинились эти несчастные, как вы полагаете? Ведь не бывает же – просто, за здорово живешь.

Твеленев закатил глаза и стал медленно сползать в кресле – Трусс успел обежать стол, подхватил его под руки.

– Э, э, э, что с вами? Ну-ка сядем на место, сядем, во-от так. Зеркало дать? – покойников любящие родственники в гроб кладут краше. Может быть, воды? Эй! – он похлопал его по щекам.

Антон зашевелил белесыми губами.

– Отпустите меня домой, пожалуйста, мне плохо, – и добавил через паузу, – я не сбегу.

– Зачем вам сбегать, – майор вставил в его руку стакан с водой, – сбегают преступники, а вам зачем? Оклемайся чуток, расскажи мне – что это тебя так повело, попей водички, – он незаметно, чтобы, как любил выражаться, «размякнуть» собеседника, перешел на доверительное «ты», – все равно до дома в таком виде не доберешься, посиди вот спокойно, о житье-бытье подумай, и мы продолжим с божьей помощью. Глядишь – еще чего интересного друг другу расскажем. Но только без отключек, договорились? Сиди, отдыхай.

Сам он вернулся к столу, повертел диском телефона и, когда раздалось привычное: «Приемная полковника Скоробогатова», сказал приказным тоном.

– Это майор Трусс. Не пускай ко мне никого, меня нет.

И повесил трубку.

Это был пароль.

Это был их с секретаршей Скорого Валентиной Сидоровной «славянский шкаф».

Как у Штирлица, вернее, у писателя Юлиана Семенова, горшок цветов на подоконнике.

После услышанного пароля Валентине вменялось в обязанность минуты через три-четыре перезвонить в трусовский кабинет и после того, как тот поднимет трубку, нажать на отбой. Все. Больше от нее ничего не требовалось.

За эту услугу Анатолий Борисович всякий раз преподносил секретарше начальника коробку любимых ею конфет «Рафаэлло» и ликер «Куантро». Дорого, конечно, но овчинка выделки стоила.

На этот раз телефон молчал непозволительно долго, а когда наконец противно заверещал, Трусс, хватая трубку, успел подумать, что не видать завтра этой шалаве полковничьей французского сорокаградусного, как дырок на мочках своих ушей.

– Майор Трусс, – недовольно рявкнул он в трубку, выключил кнопку обратной связи и тут же перешел на елейно-подобострастный тон. – Слушаю вас, товарищ полковник.

Он удобно устроился на стуле и, украдкой поглядывая на Антона Твеленева, начал «разговор с полковником» (трюк этот назывался «беседой с куклой»). Анатолий Борисович гордился изобретением, таил его от сослуживцев не менее тщательно, чем вдревле китайцы от врагов формулу бездымного пороха, не часто доставал из арсенала своих «методов воздействия», а дорогую цену платил Валентине за не бог весть какую услугу еще и потому, что та умела язык держать за зубами.): «Никак нет, товарищ полковник, в Париж я завтра, утренним рейсом. ...Бумаги на его выдачу французская сторона уже подписала. ...Так точно. ...Так точно, товарищ полковник, фактов у нас в достатке. ...Никак нет, орудие убийства не обнаружено, но... ..Опрошено восемь человек. ...Нет, в лифте было больше, но опросить удалось восьмерых... – Он взглянул на Антона, отвернулся к окну, заговорил вполголоса, «неслышно». – Товарищ полковник, разрешите на этот вопрос я вам отвечу позже. ...Да. ...Там, на Пресне, много «пальчиков» обнаружили – и на полу, и на стенах, и на ноже кухонном, не профессионал работал, его хозяйка сама впустила, знакомый, должно быть, так

что думаю – вопрос времени... Никак нет, исчезли, версия: из-за них ее и Так точно, скрипач у нас, его Мерин сейчас ведет. ...Пока стоит на своем – не знал, для какой цели... Так точно, товарищ полковник, подделок для благих целей не делают. Дождем без проблем. Так точно, бесе довали. ...Это по мужу, а девичья – Тыно. ...Нет, с ударением на «ы» – Тыно. ...Так точно, того самого. ...Колчев его фамилия. Писатель. ...Есть, взрослый сын от раннего брака. ...Федором. ...Да, по отцу – Колчев. ...Пока неизвестно. ...Так точно, у нас. ...Разрешите, я на этот вопрос позже отвечу? ...Никак нет... не знаю. ...Нет ...Нет..., – Трусс, не спуская глаз с Антона, надолго замолчал. – Я понял вас, товарищ полковник. ...Есть – держать вас в курсе».

Трубка легла на рычаг, стало слышно, как через оконное стекло муха рвется на свободу.

– Ну что, Антон Маратович, – Трусс заговорил негромко и выглядел очень расстроенным.

– Мерин приказал мне пропуск ваш подписать, но, выходит, придется с этим повременить: обстоятельства новые возникли.

– Новые обстоятельства? – еле слышно переспросил Антон. – Какие?

– Это я от вас хочу услышать. Не торопитесь, подумайте хорошенько, может, что и вспомните. Мы не прощаемся. – Он сделал знак вошедшему милиционеру. – Уведите.

Когда дверь захлопнулась, Анатолий Борисович развалился на стуле, с удовольствием, звучно растянул затекшие мышцы: в том, что «разговор с куклой» произвел на подозреваемого нужное впечатление, сомневаться не приходилось. Более того, пресловутая меринская интуиция обещала на этот раз ему, майору Труссу, в недалеком будущем массу небезынтересных подробностей со стороны не на шутку перепуганного Антона Твеленева, хотя доказательств тому пока никаких не было.

Он даже решил сменить гнев на милость, набрал номер приемной Скоробогатова.

– Валентина Сидоровна? Трусс. Все в порядке, Валюта, спасибо. Готовься – за мной не заржавеет. Целую.

И он громко чмокнул телефонную трубку.

Последний день питерской командировки Аммос Федорович Колчев решил посвятить себе. Исключительно себе. Утром посетил Эрмитаж – так положено, полюбовался старинными статуями Летнего сада, затем подробно отобедал в ресторане восточной кухни гостиницы «Европейская», прошвырнулся по Невскому проспекту, и теперь вот, за несколько часов до «Красной стрелы» возлежал на неудобном позолоченном диване в гостиной трехкомнатного люкса и заставлял себя радоваться жизни.

Неделю без малого он, по категорическому настоянию Лерика, добросовестно обивал пороги многочисленных редакций, встречался с недавними своими друзьями-издателями, вчера еще в очереди стоявшими за любой его свежей строчкой, а теперь с трудом вспоминая его имя, с пеной у рта защищал достоинства привезенных им из Москвы новых романов и повестей и, проглатывая комья унижения, намекал на свое неистребимое желание видеть их напечатанными, но...

И сегодня с утра он твердо решил: хватит валять дурака – он давно уже не мальчик. Слава богу, Герой соцтруда, дважды лауреат сталинской премии, ленинской, РСФСР, одних побрякушек ленинского комсомола – не мудрено запомнить: последние доперестроечные годы их ему вручали чуть ли не ежеквартально – секретарь бывшего Союза писателей СССР, почетный член Болгарской академии болгарских искусств, искусств ГДР, Монголии... Хватит, кажется, чтобы в свои не старые еще годы не печься о хлебе насущном и спокойно, без страха перед завтрашним днем приближаться к заслуженной пенсии. Пером-то золотым накоплено немало – никаким дефолтам не заглохнуть оказалось: ни Павлову с Горбачевым, ни этому сосунку Кириенке с Ельциным. Поубавилось, конечно, в закромах после бандитизма ихнего, поистожились книжечки сберегательные, так ведь не зря же он, не жалея глотки, всю сознательную жизнь осанну им пел: нашлись благодетели – за мзду, не без этого –

заблаговременно о финансовых штормах предупредившие: удалось-таки детишкам на молочишко сохранить толику в банках дальномудрых швейцарцев, так что и тут, как сказано – ни хлебом единым думы озабочены. А что перо его воистину золотым являлось – тут и сомневаться не приходится: щедро власть за правоверность воздавала, ценила, лелеяла – оберегала куриц своих с яйцами. Нынешние вот, правда, птицам этим золотоносным крылышки укоротили – не печатают, другие певцы из диссидентских нор повылезали, другой власти жопы лижут. Так и что теперь – как настаивает ненасытная гражданская возлюбленная Лерик – перья спешно в триколор перекрашивать и «снова в бой, покой нам только снится»? Не по рангу ему, классику советскому, да и возраст не располагает с нуля начинать. И потом – терпение иметь надо: вон живопись-то наша соцреалистическая как на Западе в ценах взлетела – что твои импрессионисты – и краснощеких доярок-депутаток раскупают, и лениными-сталиными на трибунах не брезгают, и хрущевыми-брежневыми в кукурузных зарослях да на малых землях восторгаются. Авось, глядишь, и о них с мдиванями-абалкиными хоросим долларом вспомнят.

Аммос Федорович накапал в фужерчик старолетней французской жидкости, полукругом под носом провел – ароматом насладился, пригубил: много-то после инфаркта вредно, а так – язычок намочить, да по небу, по небу – как отказать? Все можно: себе, чай, не кому-нибудь посвятил сегодняшний день многотомный трудяга писательской нивы. Да, не Толстой, не Чарльз даже Диккенс, а книжечек на полочках не меньше ихнего будет, и не уныло-одноблеклых каких, а все в разноцветных облициях – глаз радуют. Так-то вот! И напрасно всемогущий, как он себя называет – «гражданский тесть» – Модест Тыну, его, Аммоса, теперь презирает – оба они два сапога пара: и власть одну добровольно вылизывали, и из одних ее сосков сытились. Да тот еще и поизощреннее его будет: он-то, Аммос Колчев, в энциклопедии на букву «К» красуется – «большой советский писатель» (не могли уж написать «великий», суки), а у этого цековца сраного всего и талантов-то – кореш школьный Главного Апологета Застоя Страны Советов, вместе одних поблядушек щупали-брюхатали. А ведь было время – на всех своих сходках партийных в пример Аммоса ставил, «патриотизму» учиться у него наказывал, бумажки наградные не глядя подписывал... ну да что теперь, не держать же зла на небедного родственничка – пригождается, слава богу, не жадничает.

Телефонная трель прервала его размышления.

Звонили из гостиничной «публичного отдела», вкрадчивым голосом предлагали услуги: «одиночество с молодой девушкой скрасить не желаете? Беседы на интересующие вас темы? Развлечения? Интим в доступной позе...»

За неполные семь дней постоя в пятизвездочной «Астории» подобные предложения Аммосу Федоровичу поступали чуть ли не ежевечерне, он к ним привык, не дослушивая предложений бросал коротко: «Спасибо, я русский», и вешал трубку. Но на этот раз, французским нектаром расслабленный, заинтересовался.

– В какой позе, вы говорите, интим?

– В доступной.

Писатель Колчев помолчал.

– Вас как зовут?

– Вера.

– Скажите, Вера, под «доступной позой» вы что понимаете?

В трубке засмеялись.

– Я вам все покажу. Открывайте.

– Стоп-стоп-стоп, – он зашпешил остановить девушку, – не торопите события.

Перезвоните минут через десять: я должен принять ванну.

Аммос Федорович немало отхлебнул из бокальчика, прошелся по люксу, задержался в спальне. Что за черт? В висках стучало пуше обычного, да и сердечные толчки прослушивались без фонендоскопа. Не хватало еще загнуться здесь в объятиях какой-нибудь развратной старательницы. Он, конечно, знал из Бунина, которого в молодости почитывал

втайне от партийного окружения, что проститутки проституткам рознь: бывают девственнее закоренелых девственниц, но самому пользоваться услугами жриц любви никогда не приходилось. Зачем тратить деньги, когда стоит только посмотреть на любую понравившуюся...

Да и не практиковалась никогда платная любовь при «его» власти. Была в СССР подпольная проституция, не без этого – так повелось на Земле еще со времен потомка Адама, Ноя – ковчегостроителя и родоначальника послепотопного человечества, но чтобы не таясь, в открытую содержать в гостиницах бордели с дамами по вызову, вернее даже – без всякого вызова – с навязывающими себя для интима дамами?! Не случилось такого с Ноем. Да и с Аммосом Федоровичем не случилось ни в одной из многочисленных стран мира, в которых довелось побывать ему в свое время по делам Союза писателей. Себя, правда, не обманешь, чего греха таить – было бы небезынтересно узнать, что это за поза такая – «доступная», никогда раньше даже слышать о такой не приходилось – в писательской среде говорили, преимущественно, о высоком, да и в других компаниях подобные темы предпочитали обходить стороной – расширить же рамки своих сексуальных познаний никогда не вредно: сам-то он в своей небогатой практике использовал – стыдно признаться – всего две общеизвестные «позы», но Аммос Федорович – кремень мужик – решительно наступил на горло зазвучавшей было в нем «песне», покинул просторную спальню, вернулся в гостиную, лег в прежней позе на диван и еще глотнул из бокальчика: «Нет, нет и нет. Никаких треволнений: коньяк, лимончик, бездарный телевизор и сладкий сон под стук колес – вот все твои «доступные» позы.

Десяти минут не прошло, а телефон напомнил о себе скрипучей трелью.

Аммос Федорович по-доброму улыбнулся, поднял трубку: грубить он не станет ни в коем случае – женщина не виновата, что жизнь вытолкнула ее на обочину.

– Слушаю вас, деточка. Эка вы нетерпеливы. Но должен вас огорчить: свидание не состоится, ибо сексом я занимаюсь исключительно в позе подвешенного за ноги жеребца и боюсь, что она не покажется вам доступной. – И поскольку долго никто не отвечал, он спросил: – Вы меня слышите?

– Ты что, охренел? Какой жеребец подвешенный?

Трубка огненным всполохом полоснула писателя по щеке, он швырнул ее подальше от себя и она, стукнувшись о ковер, замерла на мгновение, закашляла и заговорила глухим мужским голосом: «Алло, алло, алло, Аммос, алло, ответь мне, Аммос...»

Аммос Федорович осторожно, двумя пальцами поднял ее с пола, опасаясь нового ожога, на расстоянии от уха послушал какое-то время, спросил робко:

– Кто это?

– Аммос, алло, ты слышишь меня, алло...

– Слышу. Кто вы?

– Это Аркадий, Аммос, алло...

Он узнал наконец голос Аркадия Заботкина, но на всякий случай спросил:

– Какой Аркадий?

– Да Заботкин, «какой», Аркадий Заботкин. Что там у тебя? Тебя что там – за яйца подвесили?

Какой «жеребец»?

– Нет, нет, – поспешил успокоить его Аммос Федорович, – все в порядке. Я... я вас слушаю.

Он не помнил, чтобы они обращались друг к другу «ты» – последний раз виделись очень давно.

– Ну смотри, а то сейчас у них это запросто: за ничто оторвут – не побрезгуют. Отдай все, что просят, здоровье дороже: они тебе еще самому пригодятся.

– Нет, нет, все хорошо, все на месте. Вы откуда?

– Я из Парижа, завтра вылетаю. Я что звоню: мне Федор твой позарез нужен, а он куда-то исчез, не могу отловить. Он где?

Аммос Федорович успел прийти в себя, заговорил спокойно:

– Аркадий, я неделю уже в Питере, где там кто из них – не знаю. Созвонимся утром, я «Стрелой» буду, разберусь.

– Ты разбирайся там как хочешь, а сына найди. Повторяю: он мне позарез.

– Хорошо, хорошо, а что случил ось-то?

– Не по телефону.

– Даже так? Тогда утром...

Париж зазвучал короткими гудками.

Аммос Федорович положил трубку на рычаг. Интересное кино: так грубо этот твеленевский прихлебай никогда с ним не разговаривал. Что могло случиться и при чем здесь Федор? Что общего может быть у этого великовозрастного бездельника с его сыном?

Федора он воспитывал один, без матери, которая, восстановившись после родов, вернулась в свое модельное агентство, где до этого с пятнадцати лет – четыре года – преуспевала благодаря необыкновенной щедрости к ее фактуре природы-матушки, была отправлена с коллекцией каких-то сарафанов а-ля рюс во Францию и через неделю пребывания в мекке мировой моды предпочла подиуму постель известного парижского кутюрье. С тех пор Аммос Федорович получил от нее три письма: одно короткое с уведомлением о принятом решении, второе – года через два с просьбой об оформлении заочного развода и, наконец, год назад примерно – длинное, на нескольких листах убористым почерком, покаянное, где она делилась не покидавшим ее все это время – двадцать с лишним лет – беспокойством о сыне, о нем, ее Амоське-писаке, жаловалась на «поганых французишек», на тоску по России, Москве, друзьям-подругам...

Поначалу управляться с младенцем Аммосу Федоровичу помогала его мать – нестарая еще тогда большевичка со стажем, а когда шестнадцать лет назад в доме появилась Лерик – вообще все замечательным образом устроилось: Лерик привязалась к Феде, умело его воспитывала, с удовольствием посещала школьные родительские собрания, наконец, с помощью своего отца без проблем определила в МГИМО, и когда после окончания института Федю – высоченного широкоплечего красавца, в мать статью – по распределению определили в Министерство иностранных дел и он стал «важной птицей», между ними установились близкие дружеские отношения. Аммоса Федоровича это вполне устраивало, он был благодарен Лерике, а то, что дружба эта иногда представлялась ему несколько даже преувеличенной – так он ругал себя за эти черные мысли, гнал их подальше, «бил себя по мозгам».

Звонок из Парижа его озадачил: что с Федей и зачем он понадобился этому нахлебнику?

К клану Заботкиных Колчев относился сдержанно: Аркадия знал шапочно и недолюбливал, а его младшего брата Николая, которого никогда в глаза не видел, но с Лерикиной подачи был немало наслышан, успешно презирал заочно.

Какие общие дела могут быть у его сына с этими, прости господи, евреями – широких общечеловеческих взглядов писатель, он тем не менее с некоторым недоверием относился к отдельным представителям этой национальности. Когда и на какой дорожке смогли они пересечься с Федором? И главное, с какой целью?

Он уже собрался было позвонить в Москву, Лерику, что там у них в самом деле черт возьми происходит, как телефон опять напомнил о себе. Звонила Вера.

– У вас все время занято, вы что, передумали меня видеть?

Аммос Федорович взорвался.

– Да, передумал, и даже не столько ПЕРЕдумал, сколько вообще никогда не думал, это вы можете понять? Вас некому трахать? Я тут причем? Обратитесь в службу спасения, они помогут, к Шойгу обратитесь в Министерство по чрезвычайным ситуациям, куда угодно, а мне больше не звоните, ясно?

Он швырнул трубку на рычаг и тут же устыдился своей вспышки: маразматик старый, за что обидел ни в чем не повинную женщину? А все эти Заботкины, будь они неладны.

С отвращением допил коньяк – производят же такую гадость, подхватил со вчерашнего еще вечера собранный чемоданчик и, хлопнув дверью, вышел из номера.

Людмила Васильевна, урожденная Яблонская, уже несколько дней со все возрастающим нетерпением ждала этого звонка, но, когда услышала в трубке голос Скоробогатова, умело закрылась маской вежливого безразличия.

– Юрий Николаевич? Очень рада. Что-нибудь случилось?

Тот нашелся не сразу.

– Нет. Почему – «случилось»?

– Ну вы так редко звоните, я подумала – не дай бог, с Севочкой...

– Нет, нет, – оборвал ее полковник, – все в порядке. Просто я подумал, в прошлый раз вы сказали, что любите Малера, ну вот я подумал...

– А его что, дают сегодня?

– Дают, дают... Я подумал... дирижер... забыл фамилию...

– Сходите обязательно, получите колоссальное удовольствие. А какие произведения в программе?

– Да я, собственно, и не посмотрел... Отец скрипичный концерт его играл когда-то, я в афише увидел «концерт» и подумал... может быть... там в семь начало... я подумал...

– В семь? А сейчас... без пяти шесть. Успеете?

– Да я-то успею, я рядом работаю, на Петровке, я подумал... я на машине, если за вами заеду – мы вместе успеем... попробуем...

– Вы меня приглашаете в консерваторию? – удивилась Людмила Васильевна.

– Ну да, я подумал...

– Я готова, Юрий Николаевич, приезжайте, я успею собраться.

– Так я уже... я подумал... приехал...

– Вы хотите сказать... – она не договорила. – Хорошо, поднимайтесь, мы успеем выпить кофе.

Вернись Мерин домой именно в это время, он застал бы такую картину: расфуфыренная, в длинном шелковом платье с оборками, неумело напояженная бабушка Людмила Васильевна металась между кухней и комнатой, задавшись, по всей видимости, целью перенести туда все содержимое холодильника, а руководитель следственного отдела МУРа по особо важным делам полковник Юрий Николаевич Скоробогатов сидел в углу на стуле, виновато поджав под себя ноги, и старательно хмурил лоб в потуге выудить из памяти хоть какую-нибудь тему для светской беседы.

... Овдовела Людмила Васильевна рано – было ей чуть за сорок.

Иван Прохорович ее мальчишкой прошел отечественную от звонка до звонка (как и отсидел потом, после демобилизации, пять лет, до сих пор неизвестно, за что), был контужен, ранен много раз – под пули лез по глупости, фронтовая песня «Я по свету немало хаживал, жил в землянках, в окопах, в тайге, похоронен был дважды заживо...» написана как раз с него. Вернулся в Ленинград: ни дома, ни родных, живые сказали – умерли во время блокады. Оставаться в этом городе он не смог (никогда впоследствии туда не возвращался), перебрался в Москву. Работал на стройках, жил в общежитиях. В шестьдесят втором, девятого мая, увидел ее, четырнадцатилетнюю выпускницу седьмого класса, она гуляли с подругами в парке Горького, отозвал в сторону – время было счастливое, никто никого не боялся – она подошла сразу.

– Тебя как зовут?

– Люся. А что?

– Меня Иван. Тебе сколько лет?

– А вам что? – нагрубила Люся. – Четырнадцать.

– Четырнадцать – повторил зачем-то Иван. – Теперь, Людмила, слушай меня очень внимательно и поступай, как знаешь: я завтра беру билет на Север, там «полярные» хорошие,

три года буду работать, деньги зарабатывать нам на жизнь. Через три года вернусь – тебе семнадцать – поженимся. Согласна?

Она смотрела на него с испугом.

– Вы что, больной?

Иван на вопрос не ответил.

– Если согласна – жду тебя девятого мая тысяча девятьсот шестьдесят пятого года на ступеньках Центрального телеграфа. Знаешь это где?

– Знаю, – почему-то ответила она.

– Тогда до встречи.

И он ушел.

Она рассказала поджидавшим ее подружкам про «больного Ивана», вместе с ними от души посмеялась и к вечеру того же дня благополучно о нем забыла.

На следующий день вспомнила: странный какой человек.

И опять забыла.

За годы эти произошло в Люсиной жизни очень много событий: исключили из партии и посадили в психушку за антигосударственную деятельность отца – профессора права; скончалась от туберкулеза мама, приютила ее тетка, сестра отца; во второй четверти девятого класса ей по поведению поставили двойку, за то что она ударила пристававшего к ней мальчика по голове «Родной речью»: «Дети врагов народа должны вести себя скромно»; потом все вокруг стали говорить, что закончилась какая-то «оттепель», хотя ей, хорошенькой девочке Люсеньке Яблонской жить было по-прежнему тепло и весело; неожиданно вернулся – исхудавший, совсем полысевший, но такой родной, такой необходимый отец; годовое сочинение за девятый класс она писала левой рукой – правую сломала, когда прыгала по физкультуре через «козла»; накануне нового шестьдесят пятого года – последнего в школьном марафоне – ей купили первые туфли на каблуке, в которых она ответила отказом мальчику, объяснившемуся ей в любви...

Много событий самых разных – грустных и не очень, а иногда даже приятных произошло за эти годы в жизни Люси и, бывало, она подолгу не вспоминала о «больном Иване», по месяцу кряду, а то и больше, но всякий раз, когда память возвращала ее в тот солнечный день, в парк Горького, она неизменно ловила себя на том, что улыбается: какой странный человек, надо же придумать такое.

На свой семнадцатый день рождения – двадцать первого марта – она заказала отцу крепдешинное платье и, примеряя его у зеркала, придирчиво вглядываясь в свое отражение и в очередной раз не обнаруживая в нем ничего отталкивающего, неожиданно для себя поняла, что именно так – в этом роскошном наряде и в туфлях на каблуке – 9 мая пойдет на Красную площадь. Нет, к Центральному телеграфу.

Накануне праздника Люся легла пораньше, часов в девять, и, засыпая уже, вдруг поняла, что не помнит, в котором часу назначена встреча. Три года прошло, она, как вчера, слышала его голос: «Жду тебя девятого мая тысяча девятьсот шестьдесят пятого года на ступеньках Центрального телеграфа». И все! А во сколько? Забыла?!

Она проворочалась всю ночь, заснула под утро, проспала до двенадцати, вскочив, в ужасе пометалась по квартире, и, нечесанная – с вечера устроила замысловатый головной прикид, распавшийся теперь на спутавшиеся пряди, неумытая, накинув на ночную пижаму старенькое пальтишко, проскочила мимо ошарашенной бабушки на улицу, не вспомнив даже ни и о крепдешинном платье, ни о туфлях на высоком каблуке.

Улица Горького кипела знаменами, портретами вождей, искусственными цветами и разноцветными надувными шариками. Репродукторы захлебывались победными маршами, люди в праздничных нарядах водили хороводы, танцевали, пели и выкрикивали здравицы.

От Пушкинской площади, где жили Яблонские, до Центрального телеграфа – рукой подать – она добралась минут за пятнадцать: пробиться через толпу ликующих соотечественников оказалось делом нелегким.

И еще издали увидела его...

Он стоял на верхней ступеньке телеграфного крыльца, держа в поднятой высоко над головой руке букетик завядших крокусов, и смотрел по сторонам.

Она подбежала, с трудом переводя дыхание проговорила:

– Прости, я проспала.

Он вздрогнул, долго не опускал руку с цветами, как бы не желая с ними расставаться, смотрел на нее недоверчивыми глазами. Затем протянул букетик, спросил строго:

– Твоя как фамилия?

– Зачем тебе? – Нагрубила Люся. – Яблонская.

– Красиво. – Одобрил Иван. – Будешь Мерина.

Он не спрашивал. Он утверждал.

Она взяла его за руку.

– Пойдем.

Всю обратную дорогу они не сказали друг другу ни слова. Она протащила его против бурлящего натиска людского потока, через недоодетый еще весенний Пушкинский сквер, завела во двор дома, подняла без лифта на третий этаж.

Дверь им открыли не на шутку перепуганные ее паническим исчезновением отец Василий Дмитриевич и тетя Мотя.

– Знакомьтесь, – только тут выпустив руку своего спутника, объявила урожденная Яблонская, – это Иван Мерин.

– Здравьте, – за двоих ответил Василий Дмитриевич, – проходите, пожалуйста, очень приятно.

– Проходи, Ваня, он правду говорит – подтвердила Люся, – это мой папа, Василий Дмитриевич, и тетя Мотя, Матрена Дмитриевна. А это, – обратилась она к родственникам, подталкивая Ивана вперед – мой муж.

И, чтобы не видеть их реакции, ушла в свою комнату.

Потом она всю жизнь жалела, что не видела в тот момент лиц обожаемых отца и тетки.

...Через год у них родился сын Игорек.

Родилась и умерла дочь Машенька – сорок дней Людмила Васильевна не приходила в сознание.

Иван Прохорович Мерин умер в девяностом, за месяц до их «серебряной» свадьбы.

Ей было немногим за сорок...

... Скоробогатову так и не удалось найти тему для светской беседы и он сказал:

– Если ехать, то ехать.

– А перекусить? – переполошилась Людмила Васильевна. – У меня все готово.

– Не успеем.

– Ах, как жаль. Котлеты домашние пропадут... Я их из говядины и свинины делаю, еще немного баранинки, белый хлеб, разумеется, лук, соль, черный перец, один перчик болгарский обязательно, тогда они помягче, но без чеснока: лук с чесноком не сочетаются...

– Разве? А аджепсанда?

– Это что такое?

– Это еда такая восточная: баклажаны, морковь, помидоры, перец тоже болгарский и лук с чесноком. Очень вкусно.

– Не знаю, никогда не пробовала, я вообще к восточной кухне равнодушна – слишком остро...

Надо будет как-нибудь приготовить... Ну, ехать так ехать.

В прихожей, в лифте и в машине до самой консерватории они, перебивая друг друга, весьма успешно продолжали развивать гастрономическую тему.

Мерин несколько раз нажимал кнопку звонка, за дверью слышались мелодичные трели, но никто не открывал. Он уже собрался уходить, когда из прихожей раздался басовитый женский голос: «Никого нет дома». «Нюра», – понял Мерин и вернулся к запертой двери.

– Откройте, пожалуйста, я к Марату Антоновичу.
– Нет его. Они спят.
– Дело в том, что мы договаривались, – соврал следователь, – он мне назначил.
– Вы кто? – после продолжительной паузы спросил бас.
– Я из следственного комитета органов внутренних дел, из отдела по раскрытию особо важных преступлений, – как можно подробнее отрекомендовался Мерин, – по вопросу произошедшей у вас кражи.

– Ну. И что?
– Хотел поговорить с кем-нибудь... Кто есть дома...
– Никого нет. Спят все.
– Как нет? – не сдавался Мерин. – А вы? Вы же дома?
– И меня нет.
– Ну как же так? Вы Нюра? Вас Нюрой зовут?..
– Ну.

Издалека донесся голос Марата Антоновича: «Нюра, кто там?» Она недовольно проворчала:

«Никого нет, из комитета какого-то». – «Какого комитета?» – «Не знаю я». – «Открой». – «Надежда Антоновна не велела». – «Открой, я сказал». – «И врачи тоже». – «Я тебе сейчас покажу «врачи»! Открывай сказано!»

Заскрипели замки, дверь приоткрылась сначала на цепочку, захлопнулась и опять открылась, образовав «негостеприимную» щель.

Мерин протиснулся в прихожую, обогнул безразмерную Нюру, знакомым уже маршрутом проследовал в кабинет Твеленева – Марат Антонович в халате и тапочках полулежал на диване, и по тому, каким восторженным выкриком встретил его хозяин, и по тому, что представлял из себя письменный стол – книги, листы бумаги, тарелки с недоеденной закуской вперемешку с пустыми бутылками, он понял несвоевременность, если не бессмысленность, своего визита.

– Ура-а-а, дай, Джим, на счастье лапу мне! – закричал сын композитора пьяненьким голосом, протягивая Мерину руку. – Даже представить нельзя, насколько вы своевременны: вокруг – полный обскурантизм – мракобесие и непонимание моих интеллектуальных потребностей. Так жить нельзя! Такой хоккей нам не нужен! Руки прочь от Вьетнама! – Он весьма проворно для своего состояния перебрался за письменный стол, сдвинул в сторону находящиеся там предметы, расчистил перед собой плацдарм. – Наливай!

Мерин попробовал протестовать: мол, они заранее не сговаривались, его приход случаен – просто шел мимо, дай, думаю, зайду, накипело много вопросов, но Марат Антонович и слушать ничего не хотел.

– Не-не-не, все потом, охота пуще неволи, простота хуже воровства, унижение паче гордыни – наливай! – материя первична!

– Нет у меня, Марат Антонович, не принес я, честное слово – не принес, – ощупывая во внутреннем кармане бутылку коньяка и глядя в умоляющие глаза Твеленева, соврал Мерин, – да и, простите, что не в свое дело мешаюсь, хватит вам, по-моему, на сегодня, этак вы себя совсем погубите, Марат Антонович...

– У-у-у-у, и вы туда же, – горестно заукал тот, откидываясь в кресле, – никому не дано понять умирающего с Поволжья. Да что там «не дано» – это бы полбеды – не хотят (!), вот в чем весь ужас. Сами себе только всему мерило: как мы, так и все вокруг, да? – ни на йоту в сторону: шаг влево, шаг вправо – расстрел. Так? Ну стреляйте, я всем мишень, все на мне меткость свою оттачивают, думал, хоть вы не стрелок, а вы... Ну стреляйте, да поскорей, чтобы не мучаться...

– Зачем вы так, Марат Антонович?..

– Да затем я так, затем, юный мой недавний еще друг, что все мы одним миром мазаны: понять ближнего своего, возлюбить его, как самого себя – удел людей великих, божеских, их – раз, два – и обчелся. Мама моя, Ксения Никитична, из них была, прибрал ее к себе Господь,

простил за слабость и призвал под крыло свое, она вчера мне говорит: «Мартушка, – я в марте родился, она всегда меня Мартом звала, – Мартушка, говорит, ты сам все знаешь: и сколько тебе нужно, и сколько можно, и когда закончить пора, ко мне вернуться – заждалась я тут тебя...», она не себя исповедовала – меня внемала, недаром сказано: внемли и обрящешь, такие по Земле светлячками развеяны путь нам, убогим, указывать, а мы с вами в их святые ряды никогда не впишемся, не дано, себя только слышим-видим-чувствуем, лучше всех все про других знаем: что кому нужно, что полезно, что вредно, как лечить кого... а вылечить-то один только из миллиона может, остальные сердце наше не слышат – удары считают: раз, два, три... а сердца не слышат; вы вон сказали: «Хватит на сегодня», а, может, мне, чтобы выжить, глоток всего и нужен-то? А может, спасаюсь я так, нельзя мне до срока уйти – долг свой наказанный не исполнить, вот и подливаю извиня в спиртовку догорающую, чтобы теплилась жизнь-то моя никому не нужная до поры, Богу одному угодная, а вы – «Погубите вы себя!», да я давно не жить научился, НЕ ЖИТЬ, и тщетны попытки вернуть меня к тому, что я разучился делать, бытие без участия в жизни – что может быть завидней? Вон фикус в углу – ест, пьет, нас с вами слышит, болеет-выздоровливает, в жизни людской не участвует, но – живет, курилка! И меня научил, и я засохну, когда срок придет, не задержу никого, к отцу с матерью в обитель мне угодованную давно душой там, но не прежде долга черную кровь смыть: вот он, ключик-то, от сусека, где исповедь-то рукотворная праведной кровью мироточит, – он достал и тут же засунул обратно висевшую на груди небольшую белую коробочку, – со святой иконой ее равняю и не богохульствую, потому как икона и есть, безвинно страдавшая, упокой, Господь милостивый, душу его безгрешную... отместут... мамама... левена... и имя во...

Марат Антонович повесил голову на плечо и закрыл глаза.

Мерин подождал какое-то время, подошел близко, наклонился: на распахнутой груди хозяина кабинета действительно висела миниатюрная белая ладанка.

Неожиданно, не открывая глаз, грозно, так что Мерин вздрогнул, Марат Антонович произнес:

– Не зумай зять, Сеолод, тока через мой труп. И то не поможет: я один знаю, где сусека. Сбегай в крул...кру-гол...кру-лго-сучечный, если что-нибудь понял. Аминь.

Сева вытащил из кармана бутылку, свернул пробку, налил в два фужера.

– Ваше здоровье, Марат Антонович.

Тот, заслышав бульканье, прозрел, недолго смотрел на коричневую жидкость, выпил залпом, без слов, не чокаясь, откинулся на спинку кресла и уставился на Мерина. Потом спросил:

– У тебя медицинское образование?

– Нет. Почему?

– Ре...реним...реанитамо... Ну как этого, ты понял...

– Реаниматология? – Предположил Мерин.

– Да, ты врач-реваним...матолог, правильно. Ну вот и всех делов-то: слухи о его безвременной кончине оказались преувеличенными, – он выпрямился в кресле, заложил ногу на ногу, с удовольствием долго тер ладошки, – я по нечетным только пьянею, если одну выпью и больше нет, умереть могу, а если две – я как стеклышко, можно четыре, лишь бы не три и не одна, а то плохо, проверено многократно, ну – будем продолжать? Ты меня направляй, Всеволод, а то я мыслями по древу, у тебя есть вопросы – давай, валяй, задавай, наливай... – и когда Сева потянулся к бутылке – запротестовал: – не-не-не, я это к рифме, не гони лошадей, ямщик, торопливость знаешь, когда нужна? Когда в винный перед закрытием опаздываешь. Давай...

– Конечно, у меня есть вопросы, но мне как-то неловко, вы себя не очень хорошо...

– А вот это не на-а-а-до, мой юный друг, вы, конечно, рен... реаматолог, но не психолог: чувствую я себя преотлично. И стесняться не надо – что тут неловкого? Сейчас ведь век не стеснений, понятия такого давно уже нет, слово даже забыли, ТЕСНЕНИЕ – есть, все теснят дружка дружку, кому не лень, а не лень – никому: век такой – нестеснительный, а

стеснение... Я ночью, когда бывало приспичит в круглосуточный – хорошая, кстати, придумка, одно время с этим швах было дело: жди до одиннадцати, хоть умри, а теперь хорошо: круглосуточно – так вот, о чем я, да, а когда в круглосуточный, то мимо двух театров проходил, раньше-то я театры уважал, ни одной премьеры старался... увидеть, мамочка моя приучила, так на обратном пути нет-нет да и задержусь у фотографий, поинтересуюсь: кто что нового играет, всех артистов знал, любил, а теперь – мимо прохожу, и в театры эти калачом меня не заманишь: на всех фотографиях, на всех(!), не вру, на переднем плане ни одного артиста, только главный режиссер с открытым ртом крупным планом, а остальные – мелочь пузатая, за его спиной их и не видно. И в другом театре то же самое: только главный режиссер в разных гримах. Они что, лучшие артисты этих театров? Если так, театры эти надо закрыть и никогда больше не называть театрами: никакие они не артисты, совести у них на донышке, статья по ним плачет – использование служебного положения. Вот где теснение-то в чистом виде, вот кто перешагнет-переступит и дальше пойдет, вот у кого нынче учиться жить-то надо, а вы говорите «неловко». Казалось бы, подумаешь: несколько недоумков с тщеславиями справиться не могут – мелочь, плюнуть, растереть и забыть, ан, во-первых, их не «несколько», их полстраны, а, во-вторых, именно мелочь и жизнь нашу красит, копейка рубль бережет, нет копейки – и культуры русской нет. Я не про деньги, не в них дело – в мелочах, которых в России никогда не было: все значение имело – и как ты с прислугой, и как с начальником своим и с самим собой как – или ты, безгрешный, без сомнения, всех лучше – тогда вон, поди, русским называться не тщишь, или ты слушать умеешь, воспринимать, слышать, сомневаться, а главное – скромность в тебе, вот чем русская культура велика была – кротость, смирение, тихость, приличие. А ведь какие храмы строили, великую литературу имели, театральному искусству мир научили, уникальные русские песни, романсы пели, а теперь... – одна Пахмутова на двести пятьдесят миллионов осталась, да и ее не поют давно: под барабанный треск гадость иностранную вырывают, кто громче, тот и лучше.

Он наполнил свой бокал, пригубил и, пока Мерин открывал рот, продолжил:

– Я иногда думаю: хорошо, что матушка моя, Ксения Никитична, раньше этого распада из жизни ушла – она своего личного горя пережить не смогла, а тут для всей страны горе – совесть пропала – и ничего, живем, в ус не дуем. И вот что изумительно: не ищет никто совесть-то эту, никому она не нужна, на руку всем пропажа оказалась... что бизнес, что культура, что политика – все в бесстыдстве погрязло, все без совести обходится припеваючи. Телевизор задумай включить – проще в выгребной яме время коротать да падалью утробу сытить: кровь, насилие, генитальный юмор и все под вывеской заботы о нас с вами, грешных. Это мы с вами, оказывается, дебилные сериалы любим да кровавые трупы показывать просим... Да, похоже, так уже и есть: обезмозглили народ, к лоботомии приучили...

– А отчего она ушла?

Марат Антонович глянул на него непонимающе, хотел не услышать вопроса, продолжить о совести, но передумал, замолк надолго. Наконец заговорил:

– Она вместе с Россией ушла, Всеволод, России не стало и ей нечего делать выпало. Она ведь того поколения, что войну на своем горбу несло, трудом победило – и в тылу, и с ружьем, и руками голыми. И веселиться оно умело, поколение ее, жизни радоваться, плясать, хороводы водить, хоть и обмануто было в семнадцатом году вселенским обманом. Война всех примирила, утешила, надеждой сблизила, а их по помойкам еду собирать определили – как тут не уйти... Смерть – не война, это не так, что смерть всех примирит-уровняет, нет, это тот придумал, кто в жизни грехами Землю изранил и ада боится, утешает себя, надежду всепрощения лелеет. Нет, милость Божия, она вселенна только по величию своему, а по всему остальному предел имеет, границу, иначе б и Божьей не была, отсюда и мы в обычай взяли – лучше придумать не смогли (да и возможно ли?): кому выговор, кому год, пять, десять, а кому и пожизненно – ад тот же, только земной, не на том свете – на этом, так что оставь надежду всяк лишивший жизни себе подобного, не бывает забвения без памяти: здесь

спастись удалось – там воздастся сторицею, не мною сказано – Вечной Книгой. Она у безбожников этих иностранных в каждой казенной тумбочке, как телефонный справочник в будке на перекрестке, не читана никем никогда, слава тебе, Господи, этого мы пока у них не переняли, но скоро уже, сдаваться – так с потрохами, церкви вон для радости их глаз сусальным золотом мажем, свою нищую, голодную паству с подажаниями приваживаем, хотя б одного нежирного попа где увидеть – нет, поперек себя все, как сказал кто-то... если в музее выставить нежирного священника, то ротозеи весь день в этом музее бы... величайший, талантливейший поэт нашей эпохи... вешатель бирок, критик литературный, а где теперь киндзмараули ему кто? – ничего, водку пей, коли Россией правишь, а сало русское ешь, едят, еще один «талантливейший» на наши головы, сколько вас таких, хотя жить всем хочется, не все на амбразуру за потомков, не все мусульмане-смертники – не герои они, как на них смотрят, попрошайки – корысти ради иноверцев подрывами изводят: на жирную добавку в обедню на том свете у Аллаха своего рассчитывают, ни один священнослужитель ихний в смертники не идет, не дурак, своей, божеской смертью уйди и получишь горбушку с маслом, и еще на посошок нацедят, в какой еще религии Создатель самоуход приветствует и в добродетель возводит? Маму, Ксеночку, Христос простил, потому как ангелом во плоти Землю украшала, иначе и ей гореть бы, как мне, за то, что божескую дань сокращать смею...

– Марат Антонович, почему она ушла – вы знаете, мне в руки попало вот это. – Мерин достал из внутреннего кармана перевязанный черной ленточкой конверт, протянул его Твеленеву. – Это, я полагаю, написано вашей матушкой, ее предсмертная записка, адресованная дочери, вашей сестре, Надежде Антоновне. Тут не все слова разборчивы, но главное слово – «скаел» – мне расшифровали: «знает». «Марат все знает» – так заканчивается это письмо. Скажите...

Мутные глаза пьяного человека впились в пожелтевший листок, постепенно взгляд обрел осмысленное выражение.

– Откуда это у вас?

– Я его случайно обнаружил в спальне вашей сестры... Скажите, Марат Антонович...

Он не договорил.

Твеленев с трудом вылез из кресла и цепляясь за стеллажи вышел из кабинета.

Аммос Федорович Колчев всю ночь не сомкнул глаз – ворочался, принимал снотворное, вставал, пил воду, выходил в тамбур подышать, даже курил понемножку, не затягиваясь, – все было напрасно: заснуть никак не удавалось – слишком взбудоражил его телефонный звонок из Парижа – что понадобилось от его сына этому твеленевскому прихлебаю?

Федя давно, пять лет уже – сразу после окончания МГИМО отец подарил ему квартиру – жил один, но навещал их с мачехой достаточно часто и жил подолгу, предпочитая Москве переделкинский комфорт, так что Аммос Федорович знал о нем буквально все: и в котором часу утром уезжает на работу, и когда возвращается, и когда задерживается по службе или отбывает в командировки. Заграничные поездки случались у него часто, долгосрочные, иногда по несколько недель и тогда, как правило, его сопровождала Лерик, за что Аммос Федорович бывал ей крайне благодарен: сам он последнее время не любил границу – наездился да и самолетов откровенно побаивался.

За три дня до его поездки в Петербург Федора от МИДа командировали в Марокко, Лерик на этот раз осталась дома – поездка предполагалась недолгая, но, видимо, что-то в планах министерства, как это не однажды случалось и раньше, изменилось, иначе сын давно уже должен был вернуться в Москву.

Последний раз Аммос Федорович разговаривал с Лериком по телефону два дня назад и та его успокоила: Федор не вернулся, но звонил, передавал привет, обещал прилететь не позднее понедельника, в крайнем случае – во вторник утром: что-то там у них какие-никакие сложности. Да он и не волновался – мало ли что может задержать работника Министерства иностранных дел в служебной командировке. А то, что Лерик обещала рассказать ему по

приезде о каком-то якобы трагическом событии, за время его отсутствия имевшем место быть в семье «дальних родственников», как она величала Твеленевых, Аммос Федорович забыл сразу же, как только они закончили разговор: какие могут быть «события», да еще «трагические» у людей, которые его нимало не интересовали, более того, знать которых он не знал и ведать не ведал? Что ему до чужих несчастий? Ни с кем из клана Твеленевых он не был знаком даже шапочно, ни с кем ни одним словом никогда не перекидывался и более того – зная через Лерика о какой-то страшной тайне этой семьи, держался от них подальше: время хоть и не конец тридцатых прошлого столетия, а все-таки береженого бог бережет – недаром же этого Марата, называющего себя писателем, никогда на его памяти не печатали, хотя уж кто-кто, а композитор мог бы вовремя подсуесться, где надо.

Нет, никто из родственников гражданской жены его никогда не интересовал.

А с Аркадием Заботкиным они виделись, чтобы не соврать, раза три-четыре за всю жизнь, не более того, и то очень давно, до переезда Лерика к нему, Аммосу, а за последние шестнадцать лет как отрезало – не встречались ни разу. И что за хамская фамильярность, почему вдруг на «ты»?!

Сидя перед грязным окном одноместного купе и провожая взглядом постепенно обретающие очертания промельки подмосковных пейзажей, он неожиданно для себя почувствовал волнение: если практически незнакомый человек позволяет разговаривать с тобой в подобном тоне, он или хам от рождения, и тогда это простительно и даже достойно сожаления, или он имеет для проявления подобного хамства веские основания, ставит перед собой цель оскорбить, унижить собеседника и в таком случае все, что им говорится и делается, обретает принципиально иной окрас.

Несколько часов назад, после короткого разговора с Парижем, Аммос Федорович вышел из отеля, поймал такси, простоял в пробке на Невском проспекте и чуть не опоздал на «Красную стрелу», невкусно отужинал ресторанной баландой, принял снотворное, разделся, тщетно попытался сосредоточиться на какой-то странного содержания газетенке, погасил свет, долго, до боли глазных яблок всматривался в черноту сентябрьской ночи... и все это время ничего, кроме брезгливого раздражения, вызванного телефонным звонком Аркадия Заботкина, он не испытывал. Каков наглец! И только к середине ночи, так и не сумев заменить неприятные мысли сладкими сновидениями, он вдруг почувствовал почти осязаемую тревогу: Федору грозит опасность.

Вспомнились его прошлогодние чуть ли не еженедельные отлучки в Париж, Аммос Федорович даже как-то пошутил – что так часто, уж не новая ли там революция?

Вспомнились телефонные переговоры, которые последнее время он проводил втайне от всех.

Вспомнилось, как однажды ближе к ночи, все уже легли, позвонили по городскому телефону, спросили Федора. Аммосу Федоровичу голос показался знакомым, он даже поинтересовался – кто это. «Это мой приятель, ты не знаешь», – был ответ, а теперь он мог поклясться, что в тот вечер звонил именно Заботкин. Но как, каким образом умудрились пересечься интересы столь непохожих ни по возрасту, ни по каким бы то ни было иным признакам людей: Федор – подающий надежды дипломат с блестящим карьерным стартом, тремя языками и невестой – дочерью посла России, и этот нехлебник, шестнадцать лет тому вовремя завязавший с марксизмом-энгельсизмом и от капитальной теории деньги – товар – деньги благополучно перешедший к практическому ее воплощению? Да и бизнес-то у него, если верить Лерику, – пороссятам на смех: огранщик-любитель – может «огранить» что-нибудь кому-нибудь по знакомству. Такое скажи в приличном обществе – стыда не оберешься.

А если это так, если в ту ночь звонил действительно муж Надежды Твеленовой – Аркадий Семенович Заботкин, зачем Федору понадобилось скрывать факт их знакомства? Будь это его младший брат Николай – тогда понятно: подонок, невозвращенец, ныне занимающийся темным зарубежным бизнесом, говоря проще – воровством, вроде даже объявлен в международный розыск – было бы что скрывать, чего стыдиться.

А так-то зачем?!

Аммос Федорович вышел в коридор, разбудил проводницу, попросил принести стакан горячего чая – бессонная ночь готовилась заявлять о себе височными спазмами, и кроме крепкого горячего чая ему ничто не помогало. В свое время, кажется, чего он только ни перепробовал за время бесконечных своих кабинетных эмпирей: и наше, кремлевское, и иностранное горстями пил – ни от чего не было голове покоя, а вот посоветовал кто-то, уж забылось кто: а ты чай крепкий горячий попробуй, не поверил – попробовал и с тех пор блаженствует: забыл, с какой стороны голова растет – вот ведь загадка.

Загадок же Аммос Федорович не любил с детства. Не любил и не признавал (случай с чаем был, пожалуй, единственным, в котором он так до сих пор и не разобрался): все в жизни должно быть понятно или уж во всяком случае объяснимо – никаких оккультизмов, шаманств и прочих подобных мистик. «Жизнь человека – это дорога, прямая и ясная», – часто говаривал своим студентам руководитель семинара Литературного института, в юном возрасте прославивший себя в советской поэзии беспримерным по глубине наблюдением: «Жизнь прожить – не поле перейти», – это дорога светлая и понятная, и идти по ней надо так, чтобы не было мучительно стыдно перед современниками и потомками». Аммос Федорович по присущему молодости легкомыслию не с первого захода оценил скрытую в словах учителя тонкую аллегорию, но когда к середине, примерно, обучения до него дошел-таки истинный смысл сравнения «Жизнь – дорога...», то он проникся мудростью изречения до такой степени, что стал часто, не всегда к месту, повторять его в разных компаниях, наконец вывел печатными буквами на листе ватмана, повесил в своей комнате над кроватью и сам не заметил, как литературная формула эта сделалась его глубочайшим убеждением. И до сих пор герои романов писателя Аммоса Колчева шагали по дорогам жизни с открытым забралом, не сворачивая на тропинки, не плутая в переулках и проходных дворах сознания.

Вот только новые хозяева поменяли полярность нравов с плюса на минус – то, что было черным, стало белым, и наоборот: жестокость, мрак, кровь, трупы, насилие, секс, мат, заумь, жаргон, пеледины, сорочины – хорошо, берем, питаем падалью молодые души; все, что светло и радостно, – отрыжка социализма.

Э-э-эх, зла на вас нет: сами вы отрыжка. Ничего, проживем – увидим, утро вечера мудренее.

Проводница неприветливо внесла чай, Аммос Федорович обжигаясь, жадно выпил полстакана, посидел с закрытыми глазами, неторопливо вылил в себя остатки мутноватой жидкости. Черт, конечно, надо было попросить два стакана, да что уж, теперь поздно, эта баба и так его чуть не убила. Ладно, за окном, вроде, Удельная, недолго осталось.

Он прилег на подушку поверх одеяла – в вагоне было жарко натоплено: вот бы удалось вздремнуть минут сорок.

Писать он начал рано, первую свою повесть напечатал в журнале «Юность» в восемнадцать лет, не закончив еще первого курса Литературного института. Называлась повесть бесхитростно – «Юность», по-видимому, автор тем самым настаивал на своей полной солидарности с художественной и политической линиями популярного молодежного издания. Особо громкого успеха у широких читательских масс «Юность» не имела, в первой же рецензии, которую по прочтении Аммос тут же выбросил, некая критикесса даже договорилась до того, что, дескать, «автор – молодой, да ранний, конъюнктура прет из всех щелей – хорошо бы новому поколению начинать не с такого бесстыдного верноподданничества», но альма-матер будущего советской литературы грудью встал на защиту своего ученика: литературной даме, задержавшейся в полыньях замерзающей уже «оттепели» (на дворе хозяйничал 67-й год) через высокую прессу дали достойный отлуп. Завязалась полемика, имя Колчева стало поначалу скандально популярным, затем желаемым в писательских рубриках, издательствах и, наконец, – неприкасаемым.

И так до самого момента несчастья – кончины СССР – ни одной враждебной рецензии...

Ах, как бы вернуть это благословенное время, где... – он улыбнулся, вспомнив

школьного дедушку Крылова... где под каждым ей листком был готов и стол, и дом? Где за каждым углом ему были рады, где ждали его новых романов, ценили суждения, просили советов и помощи в устройстве бытовых нужд, и он по мере сил помогал, звонил, отстаивал, пробивал... Где на каждой литературной сходке он – куда твой генерал на свадьбе, даром что без лампас да без звезд – сам звезда, отражался в каждой восторженной женской улыбке да мужской завистливой гримасе.

И первая жена, Виолетта, ноги от ушей, грудь – Царь-колокол, соски ладони царапали, в свои неполные девятнадцать все ему прелести открыла, сына родила, а поди ж ты, расстались без печали, много вокруг претенденток в очереди стояло, часа своего дожидаясь – недосуг было печалиться, да и Лерик без его, Аммоса, утруждения манной небесной сама в руки свалилась вместе со своими коммунистической партией прикормленными родителями и вот уже, слава богу, шестнадцать лет душа в душу прощают друг другу маленькие сторонние увлечения...

Хотя, если честно, за годы этого мучительного безвременья и «романы» давно сошли на нет, и даже «повести» с «рассказами». Спасибо, Лерик еще не побросала – молодая ведь совсем, собой хороша, в умении женском толк понимает...

Москва настроения не прибавила – холодный, не сентябрьский дождь, пока шел без зонта по открытой всем ветрам платформе, промок до нитки и замерз – какое к черту бабье лето. Что стоило взять зонт – настаивала же Лерик – нет, видите ли, дальний прогноз «на ясно»: тепло и сухо. Ну вот и сохни теперь с головы до ног, если тебе сухо, не хватало еще простудиться и слечь с его-то дырявыми легкими и ангинами.

С такси тоже не повезло: «бомбил» он терпеть не мог – все, как на подбор, наглые здоровенные бугаи бесцеремонно хватают за руки, вырывают чемоданы – сиди потом у такого в вонючем коробке и жди, когда он тебя монтировкой по голове оглоушит, а на стоянке толпился мрачный невыспавшийся народ, человек десять, и ни одной машины.

Аммос Федорович сунулся было в метро (со студенческих лет, наверное, не спускался под землю), толпа снесла его вниз по эскалатору, измяла, придавила, оттоптала ноги, до поезда он так и не добрался, проклял все на свете и, с грехом пополам выбравшись наружу, предпочел гибель от рук кровожадных частников. Выбрал самого шуплого, невзрачного с виду дяденьку, напустил на себя вид бывшего уголовника и в полном безмолвии, при нескрываемом взаимном опасении друг друга они добрались до Переделкино.

Тяжелые металлические ворота оказались открытыми. Колчев мысленно поблагодарил жену за заботу – дождь усилился и ему, видимо, предлагалось подъехать к самому крыльцу, но он предпочел не заезжать на территорию парка, расплатился с шофером и потрусил к дому.

Собаки в будке не оказалось, и это его насторожило: он купил ее щенком на птичьем рынке, она проживала свою двадцать первую осень и последние уже несколько лет никуда от дома не отходила. Он даже заглянул внутрь – не спряталась ли? Нет, собаки в будке не было.

Беспокойство усилилось, когда, подбегая к крыльцу, он обнаружил, что и входная дверь распахнута настежь и стучит на ветру как вбиваемые в крышку гроба гвозди. Это еще как понимать?!

А когда выяснилось, что прихожая, гостиная главного корпуса и прилегающие к ней помещения – весь нижний этаж – охвачены разором: на полу разбитые стекла, вывернутые ящики шкафов, сдвинутая, перевернутая мебель – беспокойство сменилось лишившей его на время рассудка паникой. В полной прострации, не в состоянии взять в толк, что же все это могло означать, пошел он по дому и, только когда преграждая дорогу дыханию к горлу подступил рвотный комок, схватился за телефон.

– Модест Юргенович, Лерик у вас?

– Кто это? – Время было раннее, сонный голос «гражданского тестя» не выражал ничего, кроме недовольства.

– Это Аммос Колчев, Лерик у вас?

– Аммос? – утренний сон олигарха, по всей видимости, был крепок, чтобы вернуть себя

к реальной жизни ему требовалось время, – какой Аммос?

– Аммос, Аммос Колчев, муж Лерика, Лерик у вас?

– А-а-а, Колчев, – недовольно протянул наконец «тесть», – так бы сразу и говорил. Ты что в такую рань? Спят еще все...

– Скажите, где Лерик? Лерик у вас?

В трубке помолчали, потом ответили вопросом на вопрос.

– Почему она должна быть у нас?

– Я подумал... Я только что вернулся из Петербурга, а никого нет, и я подумал... я говорил с ней вчера по телефону, а сегодня приехал – ее нет, все открыто, перевернуто, я подумал...

– Подожди, подожди, не тараторь, дай что-нибудь понять. – Наступила долгая пауза, было похоже, что высокопоставленный абонент переместился в другое помещение. Наконец, он снова заговорил. – Что там у тебя открыто-перевернуто?

– Все, все нараспашку – ворота, дверь входная, все комнаты, мебель перевернута, люстра на полу – все разбито, собаки нет – будка пустая...

– Подожди, так тебя жена интересуется или собака?

«Собака, собака меня интересуется, – хотелось закричать Аммосу Федоровичу, – собака», но он сдержался: тесть был их с Лериком безлимитным банком и не любил, когда об этом забывали.

– Модест Юргенович, умоляю, Лерик у вас?

– Вот что, Аммос, если тебя ограбили – вызови милицию, больше мне посоветовать нечего. Сиди и жди – придут, разберутся. А паниковать не надо, со всеми время от времени что-нибудь да случается, не велика беда – дело наживное... Да? Нет?

– Что «наживное»?! – благим матом завопил Аммос Федорович. – Лерик «наживное»? Где она? Где ваша дочь?

– По-вто-ря-ю, – громко по складам повторил Модест Юргенович Тыно, – не на-до па-ни-ко-вать! Ты меня понял? А вопрос «где моя дочь?» нужно мне тебе задать, а не наоборот, вот я тебе его и задаю. Спокойной ночи.

Он повесил трубку.

Тошка Заботкина чувствовала себя именинницей: никогда еще в своей жизни не была она так необходима посторонним взрослым дядям и тетям, никогда так перед ней не заискивали, не добивались ее расположения, не задавали столько вопросов – она нужна была решительно всем – и переделкинской милиции, и следователю из МУРа по фамилии Яшин, и дактилоскописту – молоденькой девушке в форменной тужурке и погонах с тремя звездочками и всем-всем-всем сотрудникам, приехавшим на милицейских машинах, и корреспондентам нескольких московских газет, интересовавшихся, казалось, не столько случившейся кражей, сколько богатством разоренного интерьера. Она сидела в кресле посреди огромной, неудобной, засыпанной битыми стеклами комнаты и чувствовала себя королевой.

Первый и последний раз она была в этом доме сто лет назад, в своем далеком детстве, когда двоюродный брат Антон Твеленев взял ее, еще дошкольницу, в гости к своему лучшему переделкинскому другу Федору Колчеву – тот закончил десятилетку и родители устроили в его честь грандиозный костюмированный бал с фейерверком, мороженым и настоящим шампанским, которое Тошка и не преминула тогда же впервые испробовать. И случился конфуз: напиток ей не понравился, но все пили большими бокалами, она в компании была самой маленькой, а хотелось быть самой большой, над ней подсмеивались, подливали, хохотали, она хохотала громче всех и в результате ее неожиданно очень некрасиво стошнило прямо на скатерть. Федины одноклассницы, повскакав из-за стола, с визгом разбежались в разные стороны, одна даже, кажется, устроила истерику и уехала с шофером домой, а Федя – это она отлично помнила, несмотря на свое тогдашнее состояние – во всеуслышанье заявил Антону: «Убирайся вон отсюда со своей гадиной и не смейте

никогда больше здесь появляться».

Это она потом только узнала от Антона, что Федя – приемный сын его матери, Лерика, очень умный и хороший мальчик, поступает в МГИМО и будет дипломатом, уже сейчас знает три языка, на подходе четвертый, увлекается Востоком, «Битлами» и гоночными автомобилями, что родная мать его живет во Франции и он дважды уже бывал в Париже – привозил оттуда жвачку и газовые зажигалки...

Больше она не бывала в этом доме ни разу.

С тех пор прошло около десяти лет, Федор с Антоном продолжали общаться, были у них какие-то общие дела, общие интересы, то дружба – водой не разольешь, по несколько раз на дню встречались, то по полгода не виделись, конфуз с шампанским давно порос быльем, но Тошка в их компаниях не принимала участия никогда.

А не далее как вчера произошла странная вещь: она вернулась из школы поздно, в седьмом часу, во всем огромном доме не было ни души – мама Надежда Антоновна второй день где-то пропадала, дед по-прежнему отлеживался в Москве, дядька, по своему обыкновению, пил горькую, Герардик, ясное дело, находился при нем, отец не вернулся из какой-то очередной поездки, Антошку еще не выпустили из милиции – давно бы уже, кажется, пора, с ума, что ли, все походили – более отдаленные родственники после дедова юбилея все расплозились по своим щелям, слава богу, век бы их не видеть: ни уму, ни сердцу одноклассника Гришку Бякина она прогнала, повелев в будущем за ней больше не таскаться и осталось Антонине Аркадьевне только залезть с ногами на кровать в своей комнате, набить за щеку лакрицы и отдаться истомным мечтам о том, кто последнее время так прочно застрял в ее извилинах. Сначала она представила себе его лицо, и оно показалось ей достаточно красивым: не мешало бы побольше мужественности, но это придет со временем; волосы она бы заставила его отрастить, не до плеч, конечно, косичек она на мужчинах терпеть не могла, но так, чтобы закрывали уши, а то они у него торчат в разные стороны; запретила бы горбиться, это в первую очередь, ну и что, что высокий, кто сказал, что это плохо, разве какой-нибудь коротышка Бякин лучше? Затем они под ручку гуляли по Лондону, она купила ему английский вельветовый костюм, коричневые мокасины и светло-бежевую рубашку с воротничком под галстук-бабочку, он заявил, что не надо делать из него петрушку, никогда в жизни он этого не наденет, а когда она разревелась, стал ее утешать, гладить по голове и по лицу, а потом поцеловал в губы, и еще раз, и еще, тогда она сказала: «Значит, ты меня обманул: целоваться ты очень даже хорошо умеешь», и опять разревелась, а он прижал ее к себе так крепко, что в груди стало не больно, но как-то странно, никогда так раньше не было – страшно оттого, что он сейчас встанет и уйдет, и она заревела еще громче, а он не встал, и все тело ее вдруг начало ныть – и шея, и грудь, и живот, и живот... ныть и обжигаться о его раскаленную наготу, и она задохнулась, забилась в этом невидимом пламени – она умирала, и тогда он зарычал сперва еле слышно, потом все громче, громче...

Тошка открыла глаза: над ней нависала огромная собачья морда и подавала какие-то голосовые сигналы. Какое счастье, что никто не мог видеть ее сна – сквозь землю бы провалилась.

Она зажгла лампу – часы показывали начало первого ночи, значит, спала она не меньше пяти часов. За окном чернела осенняя ночь – она заснула, не зажигая света.

Сверху слышались едва различимые шаги – значит, мама вернулась и не хочет ее будить, и чего ты разрычался, делать тебе нечего, дурной пес, жалко было дать досмотреть, чем все это кончится, да? Интересно же. Дурак.

Тело продолжало гореть, руки-ноги затекли и теперь неприятно кололо тысячами иголок.

Дурак. Иди спать.

Ху перестал рычать, но продолжал проявлять не свойственную ему нервозность.

Иди спать, я сказала!

Неожиданно сверху опять слышались шаги, на этот раз не в маминной комнате, а в кабинете деда. Тошка села на кровати, прислушалась: это странно, уж он то вряд ли мог

приехать один без посторонней помощи. Дядька? Он, как известно, никогда не заходит в комнату своего отца ни здесь, ни в Москве, никогда, это уж стало в семье притчей во языцех, да и на ключ дед всегда закрывает свой кабинет, когда отсутствует.

– Ху, кто там?

Собака взглянула на нее недовольно: мало того, что спит как сурок, не добудишься, так еще и дураком обзывает.

Девушка погасила свет, вышла в коридор, на цыпочках поднялась по лестнице – дверь на второй этаж оказалась запертой на ключ. Она приложила ухо к замочной скважине и, стараясь не дышать, простояла несколько минут в таком положении: шаги – не шаги, но какое-то шевеление на втором этаже явно происходило.

Трусихой она никогда не была – в детстве братья, Антон и Герард, всегда именно ее будили по ночам и отправляли бродить по темному дому, если им чудилось что-то страшное, и она, лязгая зубами, выполняла их поручения – но и сказать, чтобы походы эти как-то особо с годами закалили ее характер и прибавили через край бесстрашия, тоже было бы неверно. Рассудительностью же она отличалась, и достаточно выгодно, даже по сравнению со своими старшими братьями.

В данном случае логика ее размышлений была такова:

если дверь на второй этаж закрыта на ключ (а она закрыта), значит, находящийся там человек или вошел и закрыл ее за собой, или залез через окно. Если второе – это злоумышленник, если первое – кто-то из своих;

но если жулик – почему не лает Ху, а только загадочно рычит? А если свой – зачем лезть через окно?

если жулик, то уходить он будет, по всей вероятности, тоже через окно, а если свой, то можно предположить, что воспользуется дверью. Но определить это удастся не ранее, как незнакомец надумает покинуть дом;

значит что? Значит, надо запастись терпением и ждать, а потом уже решать, как быть с милицией – вызывать или не вызывать.

Логика собственных умозаключений девушке представилась убедительной, она прокралась обратно в свою комнату, заперлась на все возможные замки, не зажигая света устроилась у окна и стала ждать.

То, что довелось ей увидеть в ту ночь, и пыталась теперь во всех подробностях передать Антонина Заботкина столпившимся вокруг нее газетчикам и представителям правоохранительных органов.

– ... Я сидела, наверное, минут тридцать, если не больше – полная тишина, ни звука, потом раздался какой-то шорох, и я увидела в окне темный силуэт человека, спускавшегося по водосточной трубе. Через плечо у него висел продолговатый предмет, завернутый в черную тряпку. Двигался он очень медленно, неслышно, а когда проползал мимо моего окна – его глаза блеснули в свете уличного фонаря, и он меня увидел: мы встретились взглядами и, как замороженные, мне показалось, целую вечность смотрели друг на друга. Я его узнала и очень испугалась, потому что этого не могло быть – усы, борода, черная кепка, маскарад какой-то.

Я отскочила от окна и тут же услышала такой ржавый грохот – по-видимому, труба не выдержала нагрузки, обвалилась и ночную тишину как взрывом прошило.

– Прошило взрывом? – переспросил кто-то из журналистов. – Это как же?

– Ну как? Полная тишина – в ушах звенит и вдруг гром над самой головой, как будто тебя медным тазом ударили... звуком прошило... по голове...

– Интересно. – Молоденький журналист подсел к ней поближе, соболезнующе заглянул в глаза. – Очень интересно. А «ржавый грохот» – не прокомментируете, – это что за зверь?

Тошка не уловила иронии, ее переполняли эмоции.

– Ржавый грохот – это когда железом по железу, так что даже мурашки высыпают...

– А в сурьму железо не обмакивают перед этим?

– Какую сурьму? Никакой сурьмы. Грохот, похожий на обвал, знаете, когда камни с гор

падают и на пути своем все сметают, такой гул идет, аж уши закладывает...

– Вы, девушка, стихов не пишете?

– Пишу, – честно призналась Антонина и тут же спохватилась, – но сейчас речь не об этом.

Почему вы про стихи? Вам не интересно, что я говорю?

На выручку к ней пришел Яшин.

– Интересно, даже очень интересно. Молодые люди, вы нам мешаете. Сидите молча или я вас выгоню. Рассказывайте, Антонина Аркадьевна.

Тошка победно взглянула на журналиста: так-то вот! Продолжила:

– Потом опять тишина. Я подождала какое-то время, подхожу к окну, а он лежит на дорожке внизу на спине и над собой в вытянутых руках держит этот предмет в тряпках...

– А кто «он», – Ярослав очень надеялся на успех.

– Мне показалось... но это глупость... и потом темно совсем, видно только, что лежит, а кто... Он долго лежал, я даже выйти хотела, вдруг убился – высота небольшая, но дорожка-то из плит каменных, но побоялась, потом он зашевелился, на четвереньки перевернулся, встал и пошел к калитке, а на дороге фонарь светит – он в джинсах, в темной какой-то куртке, черная кепка, борода, но... не старый, высокий... А Ху все время молчит, ни разу голос не подал, я его спрашиваю: «Кто это?», а он молчит, это очень странно, он всегда предупреждает, когда чужой. Потом он исчез: смотрю, смотрю – нет его. А потом этот звонок...

– Какой звонок?

– По телефону, на мой мобильник.

– В два часа ночи? И кто это был?

– Не знаю. Незнакомый мужской голос: «Дайте воды, умираю от жажды».

– Вы свет не зажигали?

– Нет, страшно.

– И что он еще сказал?

– Ничего. «Дайте воды». И все.

– И вы что?

– Я хотела открыть, пошла в кухню, набрала воды, хотела вынести, но Ху зарычал, не пустил меня, встал перед дверью, а уж он, если чего не захочет – ни за что не пустит...

– Да-а-а, и такое случается: собаки умнее хозяев, надо же быть такой... – журналист не договорил, осекся под жестким взглядом Ярослава Яшина.

– Говорите, говорите, Антонина Аркадьевна, что было дальше?

– Ничего. Еще раз позвонили, но я не стала отвечать. Смотрела в окна, перебегала на цыпочках от одного к другому – больше никого не видела.

– А номер звонившего вы мне верный дали?

– Конечно.

– Проверьте, пожалуйста, еще раз.

Она достала из кармана брюк телефон.

– Все верно – 8 903 260 18 12.

– Спасибо. Продолжайте, пожалуйста.

– Потом какая-то машина проехала, я на другой стороне дома была, пока прибежала – она исчезла. Я на второй этаж полезла, открыла дверь – мамина комната открыта и деда, остальные заперты, похоже, ничего не исчезло, но я невнимательно смотрела... да и не знаю я, что там у них... Потом опять к себе спустилась... И вот тут страшно стало: на крыльце кто-то стоял, я дыхание слышала, потом постучали тихонько, я не ответила, испугалась очень: можно было витражи разбить – у нас там витражи – и залезть. Слышу опять: «Пить дайте». И Ху опять зарычал, грозно так... Я до шести у дверей простояла, а потом этот крик: «Помогите!», несколько раз, явно оттуда, через дорогу от нас, там писатель Аммос Федорович Колчев с Лериком живут, я к окну прилипла – у них вдалеке в доме свет загорелся, вижу какие-то тени туда-сюда мечутся, и опять «помогите», потом ворота

открылись, машина взвизгнула и исчезла, ну я вам и позвонила, мне Всеволод Мерин телефон дал...

– А машина какая?

– Машина? Легковая, кажется.

– Нет, это я понимаю, а марка, цвет?

– Я их не различаю. Темная.

В комнату вошел Аммос Колчев, поднял перевернутое кресло, сел, сказал в сердцах:

– Собаку надо было, она бы след взяла, а так что...

– Собака тут ни при чем – злоумышленник на машине уехал. – Яшин понимал состояние потерпевшего, старался говорить сдержанно. – Протектор мы сняли, будем искать.

Он подошел к девушке-дактилоскописту, слегка тронул ее за локоть.

– Сонечка, как у тебя?

– Да вроде закончила.

Простые слова произнесены были тихо, по делу, но ни у кого из присутствующих в помещении не могло возникнуть сомнения в глубине и подлинности чувств, связывающих между собой этих двух людей.

Затем он подошел к Тошке.

– Антонина Аркадьевна, будьте любезны, еще раз проводите нашего сотрудника к себе в дом, ей необходимо там поработать, потом мы с вами продолжим беседу.

Когда те ушли, Яшин прогнал журналистов.

– Все, господа акулы пера, быстренько расплылись по редакциям, мир ждет сенсаций, все-все-все, дальше мы без вас попробуем обойтись. Удачи.

Он придвинул свой стул к Колчеву.

– Давайте побеседуем, Аммос Федорович, не возражаете?

– Да, да, конечно. Все, что могу.

– Скажите, вы когда обнаружили это разорение?

– Сегодня, я «Стрелой» приехал, в Питере был, в командировке.

– Долго?

– Что, в Питере? Неделю.

– Неделю. Значит, кража случилась в ваше отсутствие?

– Какая кража?

– И вы о ней не слышали?

– О чем?

– А супруга ваша... Валерия Модестовна...

– Она – неизвестно где. Звонил ее родителям – и там ее нет... Какая кража?

– И ни записки, ничего?..

– Абсолютно! Вчера говорил с ней по телефону – все было нормально, сын звонил из Марокко, должен был прилететь третьего дня, но задержался, обещал завтра... Какая кража?

– И где она может быть, вы не предполагаете?

– Абсолютно! Подожду немного и объявлю во всесоюзный розыск. Так что вы имеете в виду под кражей? Она мне говорила, что случилось какое-то несчастье у дальних родственников, но какое...

– У вас что-нибудь пропало?

– Пока вроде ничего, я так посмотрел... Побили только все, изгадили, варвары. А так ничего не пропало. Кроме жены, разумеется. Да, собака вот пропала.

– Скажите, Аммос Федорович, вы с какой целью Санкт-Петербург посещали, если не секрет, конечно?

– Никакой не секрет: жена настояла, чтобы я обошел старых знакомых-издателей на предмет возобновления деловых отношений.

– Понятно. И удалось?

– Что? Возобновить отношения? Нет, знаете ли, время изменилось настолько, что я и предположить не мог...

– А сами вы рассчитывали на успех?
– Да нет, знаете ли... теперь ведь все перевернулось с ног на голову: моими идеалами они брезгуют, я их не принимаю и не приму никогда...

– И зачем же ездили?

– Говорю, жена настоящая.

– А вояж этот в Северную столицу нашу заранее был запланирован или возник спонтанно?

– Совершенно спонтанно: накануне мне купили билет и я уехал. Простите, ваше имя-отчество?..

– Ярослав Ягударович.

– Скажите, Ярослав Ягу... – он запнулся, – скажите, вы какую кражу в виду имели?

– Я имел в виду кражу, которая случилась прошлым воскресеньем в Москве в квартире композитора Антона Игоревича Твеленева.

Колчев долго непонимающе смотрел на Ярослава Яшина и наконец произнес:

– Что вы говорите?

– Да, но там проще: взяли все, что смогли унести, вернее, увезти на грузовике. А у вас, вы говорите, ничего не взяли, вот что плохо.

Колчев всем корпусом повернулся в сторону Яшина.

– Что значит «плохо»? Вы считаете, что это плохо?

– Ну а как же, Аммос Федорович? Вы сами подумайте – что мы искать будем, если ничего не украдено? Хулиганство, не более того, в милицию надо, а уголовный розыск тут ни с какого боку – кражи нет, никто не ранен, не убит никто, кроме собаки...

На подобную реакцию писателя Яшин не рассчитывал: тот вскочил, опрокинув кресло, бросился к двери, потом обернулся и, чтобы не упасть, ухватился за косяк. Лицо его было мертвенно белым.

– Как убита!? Убита?!!

Яшин поспешил к нему, провел обратно к креслу.

– Простите меня ради бога, я думал, вы знаете, на заднем дворе в мусорном баке, два выстрела...

– Я хочу убедиться... – Аммос Федорович опять было рванулся к двери, Яшину стоило немалых сил его удержать. Он почти насильно усадил его, затараторил.

– Ее там нет, успокойтесь, ее увезли, сядьте и успокойтесь, постарайтесь успокоиться, нам нужно извлечь пули для определения оружия, может быть, оно где-то раньше встречалось, всякое бывает, если бы украли что-нибудь, хоть малость какую, пусть безделушку, и то зацепка, а так... Все перебили, испакостили и что? Где мотив?

А без него в нашем деле никуда. Кто-то против вас большой зуб держит. Вот вы и вспоминайте, кто за что вас так невзлюбил, и с милицией поделитесь своими соображениями: авось, сообща и выйдем на след вандалов. А так хоть бы безделушка какая...

– А Лерик?! – истошно закричал Аммос Федорович, нервы которого, по всей видимости, к этому моменту находились на пределе.

Яшин даже вздрогнул.

– Что, простите?

– Жена моя! Где моя жена?! Это вам не зацепка?! Человек пропал – это вам меньше даже безделушки?!

– Нет, нет, успокойтесь, Аммос Федорович, жена ваша намного конечно же больше любой безделушки, и она обязательно объявится, думаю, уже минут через сорок, максимум – через часок, поверьте мне...

– Объявится? Но где она?

Ярослав широко развел руки в стороны, что можно было трактовать и как «понятия не имею», и как «знаю, но хрен скажу».

– Но у нее телефон не отвечает, – плаксиво пожаловался Колчев.

Ярослав удивился.

– Seriously?

– Где Валерия Модестовна?! – опять сорвался Аммос Федорович.

– Тихо, прошу вас, успокойтесь, должно быть она в таком месте, откуда ей не очень удобно отвечать на телефонные звонки, есть такие заведения, их не так много по Москве, но они есть, у них там иногда даже на какое-то время телефоны конфискуют, чтобы соблазна не было кому позвонить, но она в полной безопасности, слово чести. Приедет и сама вам все, как на духу, расскажет. Вместе посмеетесь. А вы мне лучше, пока суть да дело, вот какую завакву растолкуйте: почему гражданская жена ваша, Валерия Модестовна, шестнадцать лет не имела ничего против питерских издателей, которые в вас в одночасье разочаровались и печатать перестали, а на семнадцатом году вдруг вспылала к ним такой лютой неприязнью, что отправила вас в их логова без вашего на то желания, спонтанно, без предварительного их согласия на встречу, без какой бы то ни было надежды на успех с вашей стороны?

Очевидно, несколько успокоенный яшинскими заверениями по поводу безопасности своей жены, классик советской литературы не услышал или предпочел не услышать в вопросе следователя никакого неприятного для себя намека. Он спросил только:

– И что вы хотите этим сказать?

Яшин улыбнулся.

– Только то, что женщины в своих поступках, увы, согласитесь, не всегда следуют доступной пониманию логике.

Дактилоскопист Соня просунула в дверь голову.

– Слава, можно тебя?

– Да, Сонечка.

Она отвела Ярослава в сторону.

– Вот, нашла на дорожке под окном комнаты Антонины Заботкиной.

В руке девушка-дактилоскопист держала перстень желтого металла с вкрапленным в него красным камнем.

Во вторник поздно вечером все собрались в кабинете на четвертом этаже. Договорились на двадцать три часа, но Трусс, как обычно, опоздал и, ворвавшись в кабинет, начал с порога:

– Почему на столе пусто? Кончины моей ждете? У меня с утра из еды, можно сказать, только поцелуй любимой на губах. Я что, один за всех буду думать, как ночь коротать? Мало того, что достойный экземпляр лучшей половины человечества по вашей милости остается сегодня без необходимого еженощного мужского внимания, так они еще и меня задумали голодом в импотента известить. Где до блеска вымытый хрусталь, где серебро приборов, фарфор посуды, нектар напитков, частичка в томате, где? Вы зачем здесь собрались с такими скорбными рожами, угрозы недоученные, зачем небо коптите, если жизнь – не праздник, а Трусс – не скатерть-самобранка? А-а-а?! Ну-ка долой вашу писанину, шелкоперы-бумагомараки, объявляю благословенный час пополнения утроб.

С этими словами он смел с рабочего стола Мерина бумаги и заменил их извлеченными из своего «дипломата» двумя бутылками водки, четырьмя пива, хлебом, колбасой, маслом, сыром и действительно банкой частичка в томате.

– За десертом побежит, кому выпадет на морского: мороженое-пломбир, фрукты и кофе-глице.

Затем он встал по команде «смирно». – Теперь слушай мою команду: «На-ва-а-а...лись!»

Возражений особых не последовало – все действительно были голодны, как серые волки в студеную зимнюю пору. Разве что Мерин, как старший группы, несколько скривил нос, но и он сделал это невызывающе, деликатно.

Все сели за стол. Разлили по первой. Для произнесения тоста поднялся Яшин.

– Только не тяни, Яш, – попросил Трусс.

– За!.. – сказал Яшин и сел.

– Молодец.

Выпили, не чокаясь. Запили пивом каждый из своей бутылки. Долго молча жевали. Наконец, Трусс сказал:

– По шестьдесят два с половиной – это издевательство над личностью.

И разлил по второй.

Яшин опять встал, подумал недолго, завершил начатый тост:

– Нас!

И сел.

Чокнулись. Выпили. Закончили с закуской. Остался хлеб и неполная банка с частичком.

Трусс обратился к Каждому:

– Ваня, выложи рыбок на тарелку, посчитай – сколько их, раздели на четверых. А мы пока продолжим. Давай, Яша.

Яшин поднялся и начал неспешно с грузинским акцентом:

– Есть хороший обычай: в радостный момент жизни вспоминать всех хороших людей, на твоём пути попадавшихся. Их, как правило, не так много, но они случаются у каждого. Это люди крепкой закалки, высоких моральных устоев, ясных устремлений и жизненных перспектив. Начать мне хотелось бы с руководителя нашей небольшой, но дружной команды Мерина Всеволода Игоревича, и отнюдь не только потому, что он руководитель, а потому, что нет в настоящем и не было в обозримом прошлом человека более преданного благородному, не всегда благодарному, но столь необходимому для страны делу борьбы со вступившим в противоречие с законом бандитским элементом за чистоту и безопасное существование нашего многоликого, многочисленного, многострадального, талантливого, трудолюбивого, многоначитанного, умудренного богатым жизненным опытом электората. – Он сделал небольшую паузу и, поняв, что Каждый близок к выполнению поставленной перед ним задачи, продолжил: – Родился он на самом гребне кончины советской власти, как бы заменяя своим появлением на свет целую историческую эпоху – общественный строй, который неизбежно приходит на смену проклятому капитализму и характеризуется общественной собственностью на средства производства, отсутствием эксплуатации человека человеком, планируемым в масштабах всего общества товарным производством и при котором осуществляется принцип «от каждого по способностям, каждому по морде». Как, помнится, сказал Владимир Владимирович: «Пусть нам общим памятником будет построенный в боях социализм». С молодых ногтей Всеволод Игоревич Мерин...

Иван Каждый его перебил:

– Их двенадцать.

– Кого? – не понял Яшин.

– Частиков.

– Двенадцать? Тогда за Александра Александровича. За Блока. – Погасил он вопросительный взгляд Ивана Каждого.

Они выпили по сто двадцать пять за великого русского поэта и заели поделенными поровну рыбинами.

После этого Трусс пересел за свой стол, сладко зевнул и сказал со строгой укоризною:

– Ну что, и сколько можно чревоугодничать? Завтра в восемь, – он взглянул на часы, – почти сегодня уже на ковер к Скорому, а они все никак с грехом библейским не покончат. Взв-о-о-д, слушай мою команду: кабинет из пищеблока привести в рабочее состояние, я не могу – я старший по званию, Мерин не может – он главный, Яшин просто не может, остается Иван Каждый. Давай, Ваня, тряпку в руки и за дело. Как справишься – звони, я у Морфея.

В подтверждение сказанного он удобно привалился к стене и закрыл глаза.

Надо было как-то начинать подготовку к завтрашней выволочке у Скорого (а в том, что это будет именно выволочка, Мерин не сомневался), и он понимал, что сделать это придется ему: никто из «подчиненных» инициативу на себя не возьмет, хотя бы в отместку за

назначение сбора в столь позднее время. Он и решил начать с извинения.

– Я п-почему так поздно п-п-попросил вас собраться... Дело в том, что накануне я договорился по телефону о встрече с Н-надеждой Антоновной Твеленева – это дочь Антона Игоревича Твеленева, композитора, жена Аркадия Семеновича Заботкина, мать Антонины Заботкиной и младшая сестра Марата Антоновича Твеленева...

– А родственников по линии бабушки у нее нет? – Трусс задал свой вопрос, не открывая глаз и не отделяя головы от стенки. – Ты собрал нас в столь необычный час, чтобы поделиться знанием ее родословной?

– Нет, нет, – спохватился Мерин, – п-п-просто я договорился с ней лично, она сказала: «Жду, приезжайте», а, к-когда через пол-часа приехал, ее дома не оказалось, кто-то ее увез, и вот сегодня я узнал, мне ее дочь п-п-позвонила, она ей п-позвонила... Тоша, то есть Антонина п-п-озвонила, я просил ее п-позвонить, п-позвонила и сказала...

Трусс оторвал голову от стены и широко раскрыл глаза:

– Ты что, бредишь? Кто кому позвонил?

– Тьфу, господи, да неважно кто кому п-п-позвонил, просто я узнал, что она будет дома в девять...

– Кто?

– Надежда Антоновна. Надежда Антоновна Заботкина будет дома в девять часов, и я решил п-п-оехать без звонка, мы ведь накануне договаривались о встрече, и я побоялся, что она мне откажет на этот раз...

– Кто?

– Надежда Антоновна.

– Почему?

– А почему мы договорились, а она уехала?

– Ты у меня спрашиваешь?

– У вас.

– Не знаю. Может, ты ей намекал на что-нибудь скабрезное?

– Анатолий Борисович, ни на что я, как вы сами п-понимаете, не намекал...

– Почему ты так думаешь?

– Как?

– Что я сам понимаю, что ты не намекал?

Первым решил втиснуться в диалог Ярослав Яшин:

– Ребята, вы нас извините: мы с Ваней вам не мешаем?

Трусс оживился:

– Не только не мешаете, но обязаны помочь: сегодня без третьей нам не разобраться, так что давай, Ваня, через круглосуточный, Мерин не может, так как, по-моему, немного не в себе, я не могу, как старший по званию, Ярослав Ягударович просто не может и все, так что кроме тебя некому, а разобраться, кто кому звонил и какие говорил скабрезности, надо. – Он достал из кармана крупную купюру, протянул Каждому. – Я сегодня получил взятку от подследственного – угощаю. Кстати, там по одной не дают, две возьми.

Когда за Иваном закрылась дверь, Анатолий Борисович подставил свой стул поближе к Мерину и сказал совсем уж каким-то паточным тоном:

– Да не тушуйся ты так, Севка, мы ж не первый день знакомы. Скажи мне: «Толик!», я скажу:

«Что?», а ты скажи: «Положи прибор на столик», и мы будем квиты. Просто надраться захотелось, есть не сильно приятный повод. Не бери в сознание. Давай, давай дальше. Встретились с этой Заботкиной?

– Встретились, но б-бесполезно: она какая-то запуганная – ничего не говорит. «Серебро вас просили спрятать?» – «Нет». – «На машине увозили?» – «Нет». – «Где сутки находились?» – «Не помню». – «Почему со мной не встретились, как договаривались?» – «Не помню». Беспольный разговор.

– Может, ее к нам вызвать? Изнасиловать. В смысле – допросить.

– Против нее нет ничего – молчать будет. А у вас что?

– Ну а у меня с Заботкиными, вроде не стыдно рассказать: круг парижского общения младшенького – одни русские, вернее, русскоязычные, там из всех бывших наших намешано, большинство нелегалы, бери голыми руками; последний раз в России был в 99-м, с тех пор ни ногой – есть чего опасаться; но самое интересное – отечественные связи: при Советах был в тесной связке с Модестом Тыно...

– Тыно? – изумился Яшин.

– Да, да, тем самым. Регионы схвачены периферийные, но жирные: Урал, Сибирь-матушка, Якутия, Украиной не брезгует, одним словом, не наш клиент: или на кого-то из СБ работает, или из наших кого прикрывает. А вот братец его – сошка помельче, этот и нас может заинтересовать: какие-то дела с младшеньким своим задумал – в Парижи зачастил. Ну, пленочку-то с их диалогом мы помним, предположения строить можно: итальянку страдиварную умыкнули, фуфлом подменили, пока вроде еще не вывезли, но тужатся – это очевидно, а вот какую следующую ролишку в этой комеди Аркашка-Несчастливцев получил, еще выяснять и выяснять. Он всю жизнь любительской глиптикой прикрывался. – Анатолий Борисович достал пачку сигарет, закурил, спросил укоризненно: – Почему не интересуетесь, что это за зверь такой – глиптика?

Яшин пожал плечами.

– Так это в средней школе в начальных классах проходят, только двоечники и не знают: резьба по драгоценным и полудрагоценным камням. В самых начальных классах.

– Ну то-то же. – Трусс выглядел уязвленным. – Так он из этого предмета начальной школы «крышу» себе смастерил, а на самом деле всю жизнь картишками пробавлялся по-крупному – преферанс, деберц, покер, гастролер, своих «катал» прикармливал, по всему Союзу гулял, а тут, видно, не пошла карта, к родственнику за подмогой ломанул. Ну это-то дело терпит, вернется в пенаты – мы его, голубка, булавочкой в гербарий определим, а вот я наемни твоего подопечного допросил, Твеленева Антона – крепкий орешек, неспелый еще, а удар держит – любой матерый зэк позавидует. Ни с одной стороны, вроде, не замаран, чист, как только что из баньки, покойника спокойней, но вот тут-то моча в голову мне и ударила: интуиция твоя, Севка, сраная меня чуть на тот свет не отправила: ни одной зацепки, ни единого фактика, ничего, а я чувствую твоим мудацким чутьем, что рыло у юноши в говне. Вот прямо твоим чутьем так и чувствую и все тут, ничего не могу с собой поделывать, заразная болезнь оказалась эта твоя гребаная интуиция.

Мерин снисходительно ухмыльнулся, сказал, как по плечу погладил:

– А вот как раз в этом случае, мне кажется, вы ошибаетесь: нет там ничего, просто спеси больше, чем гонору, а гонору – чем спеси.

Трусс удивленно вскинул брови:

– Ишь ты, ну-ка повтори, я запишу для потомков. – И полез в карман за авторучкой.

– Может быть, я и ошибаюсь, Скорый тоже считает, что там не все чисто...

– Смотри, Яш, какая скромность нечеловеческая: он ошибается! – Анатолий Борисович в знак возмущения всплеснул руками. – Да не родился еще тот, кто бы его переинтуичил и не родится никогда, я прав, скажи, а он – ошибаюсь, видите ли! Прямо в краску нас с Ярославом вогнал, честное слово. Звони, Яш, немедленно, пусть выпускают этого агнца божьего и транспорт пусть предоставят, суки. – Он протянул Ярославу свой мобильник.

Тот, не набирая цифр заговорил в трубку:

– Отдел предварительных расследований? Яшин говорит, Ярослав Ягударович. Вы какого рожна там у себя невинных обижают? Ну то-то же, отпустить и немедленно! – Он вернул Труссу телефон, обратился к Мерину: – Уже выпускают.

Сказано это было настолько серьезно, что Сева расхохотался: все-таки театр в лице Яшина потерял очень много.

– Ладно, спасибо и на этом, может, правда выпустят, он на свободе полезнее будет. Скажите, а от Заботкиных в котором часу позвонили?

– В семь без чего-то, там девчущка – Тошка, да? – очень славная, сказала – ты ей

телефон нашей конторы дал, натерпелась страху всю ночь, бедняжка. Назвала свой адрес, мы приехали через час примерно, что-то около девяти без чего-то – Минка в оба конца стоит, по встречной не проедешь, а там у соседнего дома, напротив, уже местная милиция и газетчиков с полсотни, мне показалось, не меньше, и Тошка эта крутится: «Пойдемте, – говорит, – туда, там важнее, там убийство, а у меня только кража, но мне звонили два раза, – говорит, – и тоже хотели убить». По дороге она мне назвала номер мобильного звонившего, я первым делом конечно же попытался узнать, на кого зарегистрирован телефон. И можете себе представить? Не поверите! – Как всякий хороший артист перед важной репликой Яшин выдержал натягивающую до предела нервы слушателя паузу. – На Каликина Игоря Николаевича!

«Реплика» действительно оказалась неожиданной: смерть Каликина Игоря, 1985 года рождения, была констатирована судмедэкспертом не далее, как двое суток тому назад, тело его вместе с телом его матери, Каликиной Клавдией Григорьевны, убитой в тот же день, находилось еще в муровском морге, и специальный ритуальный отдел занимался поисками родственников погибших для организации похорон.

Первым на высказанную Яшиным новость отреагировал Трусс. Он сказал:

– Каликин не мог звонить при всем желании.

Открылась дверь, в кабинет вошел разгоряченный Иван Каждый с громким заявлением:

– Я взял еще банку частика, никогда раньше не пробовал, очень вкусно, и колбаски.

Двое сотрудников встретили его появление молчанием, Анатолий же Борисович окинул вошедшего грустным взглядом, отвернулся и произнес в пространство:

– И все-таки каждый мудака... мудаку рознь.

Иван, не без основания рассчитывавший за проявленную инициативу и оборотистость на начальственную похвалу, поставил принесенные продукты на стол и сказал с горечью в голосе.

– Опять начинаете? Не надоело?

– Мальчик, надоест, когда ты усвоишь, что при входе в помещение, где разговаривают старшие, сначала надо услышать, о чем идет речь, и только потом раскрывать рот со своим частичком. Тебя разве этому в школе не учили? – И, не получив ответа на поставленный вопрос, продолжил: – Так вот, Каликин звонить не мог при всем своем желании, ибо подозреваю, что никаких желаний в тот момент у него уже не было. Стало быть, делаем вывод: или «очень славная девочка» Тошка... я правильно вас цитирую, Ярослав Ягударович? – повернулся он к Яшину. Тот промолчал. – Значит правильно: или эта милая девочка сознательно ввела сотрудника правоохранительных органов в заблуждение, сообщив ему номер телефона накануне ушедшего в мир иной Каликина... ты, кстати, своими глазами видел эти цифры или поверил девочке на слух?

– Или, – буркнул Яшин.

– Понятно, молодец, девочкам надо верить, пятерка по поведению. Так вот, или девочка эта сколь мила, столь же склонна к обману доверчивых дяденек, или же ночному посетителю этой очень славной девочки было выгодно прикинуться перед ней, читай – перед следствием – убийцей Каликина, воспользовавшимся его телефоном. Есть еще несколько гипотез, но, ребята, не молчите – возражайте, соглашайтесь, опровергайте, мне оппоненты нужны, иначе, вы же знаете, – я не гений. Спорьте.

Трусс замолчал.

Голос подал Мерин:

– Анатолий Борисович, вы не правы...

– Так, так, – оживился майор, – это уже интересно, деловой разговор.

– Вы не правы, – продолжил Мерин, – не правы, когда не хотите нам раскрыть еще несколько ваших гипотез.

Яшин отменно хмыкнул, Каждый не понял, Трусс легко заплодировал:

– Остроумно. Но неконструктивно. Записывайте, пока я жив: а) В морге не Каликин, б) убийца убивал правой рукой, а доставал из кармана жертвы его телефон левой, или если он

левша, то наоборот, в) на имя убитого было зарегистрировано два мобильника, г) на имя убитого было зарегистрировано три мобильника, д)...четыре, е)...пять... Достаточно или продолжать до конца алфавита?

Яшин позволил себе возразить:

– Труп опознал Антон Твеленев...

– Насколько я осведомлен, труп пока никем не опознан, Твеленев был только свидетелем, а возможно, – не при Всеволоде Игоревиче будет сказано – и соучастником покушения. По-ку-ше-ния, а не убийства, скончался он по дороге в больницу – давайте будем пока оперировать только тем, что знаем наверняка. Опознают – другое дело, тогда мой пункт «а» отпадет. Но сейчас меня больше интересует вот что: как связано ночное посещение к «очень славной девчужке» с разбоем в усадьбе писателя Колчева и связано ли? Почему оттуда ничего не взято? Что за завернутый в тряпки продолговатый предмет, который злоумышленник, падая с трубы, оберегал ценою собственной жизни? Куда исчезли собака и жена писателя? И, наконец, самое главное: почему все это время так упорно хранил молчание кобель с нечасто встречающейся кличкой Ху? Теперь дальше: Яша, ты выполнил приказ Скорого?

– Опробовать всех, с кем когда-либо общался Игорь Каликин за все двадцать три года своей жизни? Нет, конечно. Говорил, с кем успел...

– Так, прекрасно, – констатировал Трусс. – А ты, Ванюша?

– Я узнал, что комиссок в Москве больше ста...

– Ну, и?

– И все.

– И сколько обошел?

– Зачем? Или все, или ни одной...

– Так. Тогда тебе завтра лучше к Скорому не ходить – заболей.

– Как «заболей»? – не понял Каждый. – Чем?

– Да хоть сифилисом – все безопасней.

– Но их всех за месяц не обойдешь...

– Это ты уже на другой работе будешь рассказывать, дворникам в дворницкой. Теперь последний вопрос и перехожу к предложению. Вопрос, хоть по субординации и не имею на него никакого права: Всеволод Игоревич, у вас, как у любимчика руководства, по вашему персональному направлению все ясно для завтрашнего отчета?

– Анатолий Борисович, вы шутите, я не знаю, как отвечать...

– Отвечать всегда советую, положи руку на сердце: тогда хоть внешне создается впечатление, что человек врет не стопроцентно. Положи и отвечай.

– Нет, не все, но...

– Стоп-стоп-стоп. Очень хорошо. Не надо «но». Вопросов пока больше нет, перехожу к предложению. – Он демонстративно загнул рукав пиджака, взглянул на часы, шумно втянул ртом воздух. – А-а-а-х ужас какой, мои вперед, что ли? Через семнадцать минут без десяти два? Так, озвучиваю предложение: несмотря на то что за последние сутки нами, как выяснилось, сделано немало, особенно Ваней Каждым, надо признать, что от окончательного завершения этого дела и подведением под ним черты мы еще не то, чтобы совсем далеки, но, будем самокритичны, на некотором расстоянии, согласитесь. Более того, ни у одного из нас, кроме Вани, разумеется, нет ни одного приемлемого для доклада руководству предложения по поводу путей продолжения расследования. Так? Так. А предложения должны быть, если мы хотим по-прежнему получать бешеные деньги два раза в месяц в дни выплаты заработной платы. Хотим? Хотим, правда ведь, Ваня? Дело это – нахождение, обсуждение и выработка путей продолжения следствия, я так понимаю, не быстрое, раз мы до сих пор имеем в запасе всего-навсего лишь несколько моих гипотез по поводу мобильного телефона да интуитивное мое же ощущение о причастности некоего фигуранта к оному делу, на ковер сегодня к восьми нам предстоит дружной шеренгой отправляться прямо отсюда, из этого кабинета не усладив надтруженные тела свои утранным омовением, не говоря уже о прочих,

часто совсем неожиданно возникающих необходимостях человеческих проявлений, поэтому – внимание! Предлагаю: дабы чуткое, можно сказать – материнское поведение нашего товарища Вани Каждого не осталось без внимания, предлагаю, прежде чем погружать себя в трясины умственных напряжений – чтобы с этим покончить раз и навсегда и больше к этому не возвращаться, предлагаю... предлагаю... что? по-у-жи-нать! Кто «за»? Все «за». Я так и думал.

Поначалу трое слушателей, рассчитывая на дельные предложения, внемали своему старшему коллеге с почтительным усердием, но в какой-то момент, когда всем, кроме Каждого, все стало ясно, расслабились. Яшин даже проворчал беззлобно:

– Старик, ты стареешь: спич затянулся – минут пятнадцать коту под хвост.

Анатолий Борисович молча смел бумаги с меринского рабочего стола, все четверо расселись вокруг в позах, точно соответствующих прерванному периоду ужина.

Второй тайм прошел в гробовом молчании, без тостов, силовых приемов и удалений.

Минут через пятнадцать Трусс на глазах у изумленных сотрудников поднялся, убрал в шкаф бутылки, стаканы, тарелки, смахнул со стола крошки, тщательно вытер его поверхность, даже подмел часть пола, чем снискал у присутствующих особо неподдельное уважение, и сказал тоном доброго пионервожатого:

– А теперь – что мы имеем с гуся. Давайте, мальчики, поочередно, коротко, по-деловому. Глядишь, успеем до восьми придавить чуток. Можно, я начну?

Ему не ответили, и это означало благодарное согласие.

– Значит так. Младшего Заботкина, у которого рыла из-за пуха не видно, за жопу не возьмешь – надо ждать экстрадиции, а это годы, если вообще возможно. Старшего я беру на себя, сдастся мне – дяденька тоже в говне по уши, с нетерпением жду его возвращения. Теперь вот что: пока вы тут водку жрали, я напряженно думал и понял, что Сивый прав: сидельца надо выпускать, он нам на воле много чего в блюдечке принести может. Если хочешь, – повернулся он к Мерину, – давай «побазлаемся», готов свою репутацию замарать на алтаре общей победы – мальчик впечатлительный, может клонуть, в «куклу» он, по моему, поверил. Как ты?

Слова прозвучавшие для Вани Каждого шарадой – он аж недоуменно округлил сонные глаза свои – Трусс расшифровывать не стал: остальным сотрудникам все было ясно. «Базл» – на языке Анатолия Борисовича означал спор двух следователей в присутствии допрашиваемого, когда один стоит за продолжение его нахождения под стражей, другой – за изменение меры пресечения на подписку о невыезде. В таком случае благодарный подследственный, по мнению автора инсценировки, проникается желанием услужить благодетелю и легче идет на контакт с правоохранительными органами.

Мерин не ответил – он полагал, что в случае с Антоном Твеленевым этот труссовский прием категорически неуместен – человек умный, все поймет с полуслова, но предпочел не возражать: все знали, что Анатолий Борисович ревностно относился к своим многочисленным психологическим изобретениям.

– Ну что, подумай, не торопись, в любом случае я к твоим услугам. – Не получивший восторженного согласия на свое предложение, Трусс умело скрыл недовольство. – В конце концов вы с ним ровесники, может, тебе и карты в руки.

Он замолчал.

Эстафету перехватил Яшин.

– Докладываю: материальное положение семьи Каликиных оставляло желать много хорошего: мать – женщина интеллектуального ума, трудилась в библиотеке, подрабатывала какими-то переводами на дому. Можно без труда представить, как они оба вылезали вон из своих кож в попытках раздобыть лишний рубль, особенно если учесть, что мальчик недавно начал баловать себя травками...

– Это откуда? – подал голос Анатолий Борисович.

– Из ярко накрашенных уст одной его очаровательной сокурсницы. – Огрызнулся Яшин, ему не понравился труссовский допрос. – А ты решил, что я рассказываю вам свои

ночные видения? Нет, девочка сказала о наркоте, как об известном всему институту факте. У них там это якобы в порядке вещей, многие замешаны. И родительницу его, Клавдию Григорьевну, в пример привела, мол, та была в курсе и даже помогала по мере материальной возможности, ни в чем сыну отказать не могла – любила нематерински. Там, – Анатолий Борисович, это я тоже от сокурсников узнал, – полный инцест, видимо, устраивавший обоих: мать – сорок лет, моложава, хороша собой, родила в семнадцать. Игорю двадцать три – ни одной знакомой девицы, в университете женский пол его держал за «голубого», нормально ориентированные мужики избегали по этой же причине, так что друзей у него не «ах» – был замкнутым, нелюдимым: дом – институт, дом – институт, никаких там дискотек, тусовок. Ни в каких компаниях не замечен, жильцами характеризуется исключительно положительно: вежливый, обходительный – всегда сумку тяжелую поднесет, коляску детскую с лестницы спустит. Близко общался по понятной причине только с матерью и с Антоном Твеленевым, они даже в каком-то родстве...

– А точнее.

Яшин удивленно глянул на Трусса: что это с ним, никогда не вдавался в подробности чужих показаний.

– Точнее ты сам определи, мне не по силам: отец Игоря Каликина – младший брат отца племянницы Антона Антонины.

– Ну что, – удовлетворенно резюмировал Анатолий Борисович, – все понятно, очень близкое родство: троюродные племянники шуриного деверя.

– И еще часто встречался с неким Федором, – продолжил Яшин после некоторой паузы, – это мне тоже жильцы рассказали – молодой парень примерно его возраста, часто приезжал на дорогой машине – марку никто из них не знает, должно быть сильно крутая, темного цвета...

– «Мазерати», – вставился Мерин.

– Почему ты думаешь?

– Я видел, когда уходил от Лерика, какой-то парень въехал в ворота на такой машине.

– От кого уходил? – недовольно переспросил Трусс. – От какого Лерика? – Похоже, он не отошел еще от неприятия Мериным изобретенного им метода работы с подследственными и готов был придирается к любому поводу.

– Лерик – это мать Антона и Герарда, жена Марата Антоновича, гражданская жена Аммоса Федоровича Колчева, золовка Надежды Антоновны Заботкиной Валерия Модестовна Твеленева, Тыно в девичестве, единственная дочь Модеста Юргеновича Тыно и Неделиной Фаины Викторовны.

Это была явная наглость со стороны Мерина. Все затаили дыхание, Ваня Каждый даже поперхнулся воздухом и закашлялся, но, вопреки ожиданию, грозы не последовало. Анатолий Борисович нешироко улыбнулся, мотнул головой и констатировал:

– Ничего. Растешь. Только себя не перепрыгни, лады? – И повернулся к Яшину. – Поехали дальше: если начальник прав и машина действительно «Мазерати», то бедность мальчику Феде в обозримом будущем, надо полагать, не грозит. Ванюша, – обратился он к Каждому, – сколько нынче на базаре тянет эта тачка, не подскажешь?

Иван подобного вопроса не ожидал.

– Не знаю...

– Очень плохо. На такие вопросы следователь должен отвечать без запинки: семью семь – сорок девять. Правильно? А семьсот на семьсот? Тоже сорок девять, но только еще четыре ноля справа: четыреста девяносто. Тысяч. Долларов. Ихних поганных. Половину миллиона – вот во сколько оценили свое детище гадкие итальяшки, и поэтому очень интересно узнать, кто предки этого молодого человека Феде и зачем ему дружба с нищим сыном библиотекарши. Ванюша, ты нам случайно не напомнишь, сколько получают в месяц работники массового скопления сброшюрованных единиц печатной продукции?

Иван глазами поискал защиты у товарищей и не найдя ее, предпочел промолчать.

– Это хорошо, что не знаешь, некоторые вещи лучше не знать, потому что получают

эти работники в месяц три тысячи. Рублей. Тридцать шесть тысяч в год. И теперь, если мы захотим узнать, сколько лет понадобится нашей любительнице словесности для внесения своего имени в список владельцев гордости итальянского машиностроения и воспользуемся для этой цели простейшими арифметическими действиями, как то – делением одной величины на другую, то не без удивления узнаем, что лет ей для этого понадобится немногим менее пяти тысяч. Пять тысяч лет ни пить, ни есть и колесное средство, передвижения аналогичное транспортному средству молодого человека Феде будет в ее распоряжении. Боюсь, не всем это по возможности, пока что и сто восемь лет известного художника-карикатуриста нас приводят в удивительный восторг, поэтому мне хотелось бы как можно ближе познакомиться с этим молодым человеком Федей, по возможности заглянуть в глубь источника его нехилых доходов и попытаться узнать, какой цифрой выражаются налоговые отчисления, которыми он благодарит столь бесконтрольно относящееся к нему отечество. Меринская интуиция мне подсказывает, что отчисления эти плохо соотносятся с существующим налоговым законодательством.

Анатолий Борисович в полной тишине прошелся по комнате, несколькими энергичными движениями попытался восстановить жизнедеятельность затекших членов, закурил.

– Нет, ребятки, сдаётся мне, что не только Ванюше опасно сегодня встречаться в темном коридоре с руководством нашим, а и нам всем не грех подумать, как этой неизбежности избежать. Ничего, что возникла такая тавтология? Тогда загибайте пальцы: где Страдивари – мы не знаем; как она появилась у композитора – не знаем; почему ушла из жизни Ксения Никитична – не знаем; кто совершил кражу на Тверской; как украденный перстень оказался на безымянном пальце Игоря Каликина; кто и за что убил его самого и его матушку; куда подевалась баснословно дорогая коллекция японских уродцев... кстати, Ванюша, ты случайно не знаешь, сколько эти япошки стоят на хорошем, к примеру – «Сотсби» – аукционе? Ну помолчи, помолчи, у тебя, похоже, разгар критически неразговорчивого цикла. Так вот какова судьба коллекции – не знаем; кто увез Надежду Антоновну после того, как с ней договорились о встрече, и где она пропала двое суток – не знаем; куда девалось «серебро» из-под твеленевской оттоманки и серебро ли это; кто его умыкнул на следующий день; кто залез на дачу Твеленевых, кто всю ночь пугал ни в чем не повинную нимфетку и что за продолговатый предмет в тряпках он унес; чей крик «Спасите!» слышала Антонина Заботкина; почему при разоре дачи писателя Колчева ничего не украдено и зачем в таком случае убивать старую, не способную, как утверждает наш начальник Всеволод Игоревич Мерин, выполнять свои охранные функции собаку; куда подевалась Валерия Модестовна мы, слава ее уму и оперативной мудрости, знаем, но кто вставил ей кляп в рот, завязал глаза и вывез в неизвестном направлении – ни бум-бум; наконец, кто такой этот пресловутый автолюбитель Федя? Я сознательно не включаю в перечень своих вопросов таких персонажей, как Марат Твеленев и его приемный сын Герард – раз, как сам Антон Игоревич – два, почему музыкальный эксперт Какц может навещать девяностолетнего композитора с целью получения немаловажных сведений, а следовательно по особо важным делам это делать стесняется, опасаясь дознанием своим сократить его земное существование? Не включаю и Антона Маратовича – на мой взгляд, ключевую фигуру, которого мы с легкой руки все того же руководства, – Трусс отвесил поклон в сторону Мерина, – завтра отпустим на свободное времяпрепровождение, и я могу себе представить, как он его «препроводит»: он его так препроводит, как нам и в кошмарном сне не привидится. Я не включаю этих персонажей в список наших провалов по этому делу только потому, что ими, Севка, занимался лично ты и тебе видней, как с ними поступать. Ну что, все пальцы загнули? Хватило? Мне нет. Я посчитал – двадцать три! На двадцать три элементарных вопроса Скорого мы все четверо завтра... то есть сегодня через пять уже с небольшим часов будем молчать как рыбы об лед. Лично я уже занял очередь на бирже труда, чего и вам желаю: не затягивайте. Я все сказал.

Он откинулся на спинку стула и закрыл глаза.

В течение довольно долгого времени никто не проронил ни слова.

Наконец голос подал Иван Каждый:

– Не, я не понял, в чем дело, в натуре. Если надо – я завтра все комиски обойду, в чем проблема-то?

Не открывая глаз и не меняя позы, Трусс сказал:

– Ванюша, я обещаю сочинить поэму и посвятить ее тебе. Она будет начинаться так: «Каждый мудака... знай свой чердак».

И опять все замолчали, потому как, невзирая ни на что: ни на дошкольный возраст, ни на более, чем скромный опыт работы и неподтвержденные пока талант и профессионализм, сотрудники ждали слов именно от него, от Сивого Мерина, от «начальника», пусть даже для кого-то и в кавычках. Он сказал:

– Вы очень точно, Анатолий Борисович, перечислили наши провалы. Это говорит о том, что вы сами глубоко в деле и как, может быть, никто из нас болеет за него. Но выволочки завтра нам от Скорого не будет, к сожалению. Можно не беспокоиться.

Три пары напряженных глаз смотрели на взволнованного до дрожи в голосе Мерина.

И ждали.

Никто не решался задать необходимый в данный момент вопрос: «Почему?»

И тогда Сева сказал:

– Потому что Юрий Николаевич слишком щепетильный и стеснительный человек. Из-за этой скрипки убили его родителей.

В жизни Валерии Модестовны Тыно все складывалось не так, как бы ей этого хотелось.

Были, конечно, исключения. За сорок два года судьба неоднократно подбрасывала ей нечто похожее на сказочный, праздничный фейерверк, когда казалось, что все вокруг сущее – для нее и ради нее, но вспышки этого исконно китайского развлечения быстро гасли, оставляя после себя разве что дымный след душевной тревоги и безрадостности предстоящего.

Как и Лев Николаевич Толстой, себя она помнила с пеленок: помнила, как надрывалась хриплым ором, когда ее скручивали какими-то огромными белыми тряпками; помнила, с каким ожесточением выплевывала изо рта ненавистные соски, предпочитая голодную смерть этим отвратительным маслянистым жидкостям, и как заходила в гневе, когда ей в постель подсовывали тупые, примитивные, бессмысленные погремушки.

До семи лет в ее детстве было все, абсолютно все, кроме радости: она пила родниковую воду никогда не испытывая жажды, не подозревая даже, что существует и другая – ржавая, мутная, водопроводная; вкушала заморские изыски, не будучи знакома с чувством голода; появлялась в «свете» в нарядах от французских кутюрье, не всегда отличая их от передников прислуги. Чтобы ценить что-либо – надо этого «что-либо» не иметь, но очень хотеть и добиваться. У нее же было все.

Недолгое разнообразие в скучную прозу жизни вносили неукоснительно широко и шумно из года в год отмечаемые родителями дни ее рождения, когда цековская их дача превращалась то в зоопарк с настоящими дикими зверями в клетках, то в морское дно с гигантских размеров аквариумами и непостижимых окрасов рыбами, а однажды и вовсе в настоящий сверкающий на солнце голубым отливом каток, хотя дело происходило в середине июля, то бишь месяца – с учетом климатических условий Подмосковья – не самого пригодного для зимних развлечений.

Но все эти вымученные небогатой фантазией утехи, к утру следующего дня заканчиваясь, выглядели нелепой, а иногда и уродливой инкрустацией в деревянной тоске ее вседозволенного существования. В такие дни приглашенные высокопартийные дяди и их толстые тети, кичась друг перед другом и получая при этом немалое для себя удовольствие быстро заваливали новорожденную дорогими безделушками и без пауз переходили к «водным процедурам» (так отец виновницы торжества Модест Юргенович Тыно неизменно под общий хохот присутствующих именовал процесс питья в избытке выставленных на

столах заморских жидкостей). Через, как правило, короткое время повод застолья оказывался за пределами памяти присутствующих и застолье начинало перемежаться антисоветскими песнями, скабрёзными анекдотами и безудержным ржанием.

А маленькая, на произвол брошенная, забытая и ни в чем не повинная «виновница», глотая слезы и в отместку судьбе «и всем им», с немалой долей изощренности превращала в ключья и черепки разложенные на полу бездушные подношения.

Дни собственного рождения стали для Лерика мукой, пыткой, сравнимой разве что с восточной изощренностью посадки виновного на кол, поэтому, достигнув возраста полной независимости от кого бы то ни было (а произошло это событие по окончании ею первого класса начальной школы), она поставила перед родителями условие: или я, или мои дни рождения. Формулировка грешила некоторой неопределенностью, но в то же время была настолько категорична, что отец с матерью не решились высказывать собственные на этот счет доводы, и празднования по поводу появления на свет дочери с тех пор ими не практиковались.

Многоликая, многообразная, многовариативная и еще очень много-много какая богиня всего сущего – ЛЮБОВЬ – из всех своих ипостасей Лерика познакомила лишь с одной из них, нельзя сказать совсем уж незначительной, но, увы, ставшей единственной в дальнейших Лерикиных любовных перипетиях, а именно: любовь приоткрыла ей свою сексуальную составляющую, замкнув в соитии на шестнадцатом году от рождения с бывалым сексбукварем в лице школьного товарища по имени Харитон.

Дело было в 1981 году, в сентябре месяце, в самый разгар «бабьего лета», в стране бесчинствовал застой – полюбившиеся в олимпийский восьмидесятый баночное финское пиво и польская кока-кола благополучно из продаж исчезли, а отечественные аналоги до безопасности желудочного отравления еще не дотягивали – поэтому Лерик Неделина с десятиклассником Харитоном на подмосковном болотце в погожий воскресный день собирали клюкву, рассчитывая впоследствии перевести собранный урожай в жидкообразное состояние с древнерусским названием морс, дабы было чем к празднику Октября разбавлять избыточную сивушными маслами водку. До великого праздника было еще далеко, еще рабочий класс и обездоленное крестьянство не объединились в общий кулак, и пролетарии не всех стран соединились, но Лерика с десятиклассником Харей (так его прозвали за смазливость) это не смутило. Они как ни в чем не бывало собирали клюкву, и надо же было такому случиться: солнечные лучи до того нагрели лерикину девичью спинку, что ей пришлось снять с себя курточку и остаться – страшно сказать: в тонюсенькой, всепросвечивающей, натурального шелка маечке. А просвечиваться, надо признать, очень даже было чему – за это ее и недолго любили завистливые школьные подруги. Через непродолжительное время Харя начал ощущать в себе пропажу интереса к сбору клюквы, и это обстоятельство его взволновало. Он приблизил себя к Лерику, постоял на расстоянии вытянутой руки, закурил и с возрастающим в геометрической прогрессии волнением по поводу пропажи интереса к сбору ягод предложил:

– Давай передохнем?

Лерик охотно согласилась.

Они оставили собранную клюкву дозревать на болоте, взявшись за руки и тяжело дыша запрыгнули в электричку, вышли на Курском, на такси добрались до Маяковки, бегом поднялись на четвертый этаж. Когда Харя вставил ключ в замочную скважину, она спросила.

– Кто там?

Он ответил.

– Мы.

Они вошли в прихожую и больше никаких слов не понадобилось.

Когда оба очнулись, выяснилось, что все это недолгое время входная дверь была настежь открыта.

В последующие дни они много раз вместе собирали клюкву, вплоть до самого Нового года, но когда до Хари дошло, что она – страстная любительница ягод – параллельно

собирает с другими одноклассниками еще и морошку, а еще и бруснику с черникой-голубикой – его ягодная увлеченность опустилась до нулевой отметки по шкале Рихтера.

Всех своих любовников Лерик конечно же не помнила, это был бы перебор – все равно что запечатлеть памятью лицо каждого участника военного парада на Красной площади – Мессинг и тот бы сплоховал, но с некоторыми из них почитаемая ею сексуальная совместимость доходила до такой высокой степени совершенства, что и годы спустя она безошибочно могла назвать имя, подробно описать внешние, внутренние и в особенности физические данные кудесника.

Николай Семенович Заботкин являл собой именно этот достаточно редко встречающийся вид млекопитающих производителей: низкорослый, неприлично некрасивый, он умел так неожиданно разнообразить досуг любвеобильных особей женского пола, что редкая из них не преследовала его в дальнейшем своими откровенными притязаниями. Однажды близкая подруга, увидев его рядом с ним, не смогла удержаться от телефонного звонка: «Лерик, солнышко, я не предполагала, что ты увлекаешься садомазохизмом: каждый раз видеть над собой лицо этого, прости за выражение...» Та не дала ей договорить: «А зачем его видеть НАД собой? Солнышко, у тебя слишком бедный арсенал познаний в этой области, увлекись «Камасутрой» – тебя ждет масса открытий».

Лерика с ее требованиями к мужскому достоинству Николай Заботкин безоговорочно устраивал, она уже было готовилась к совершению церковного обряда, ввела в курс дела родных, получила от них сдержанное благословение, договорилась о внеочередном венчании со священником и когда в последний момент сообщила любимому о своей пятнадцатинедельной беременности, тут-то и выяснилось, что моральные его данные много теряют в сравнении с физическими: он отбыл в неизвестном направлении, яко умер, а через много лет воскрес парижанином в городе Париже: увидел Париж и воскрес, перефразировав тем самым и доказав несостоятельность известного изречения.

После этого конфуза дальнейшая жизнь Валерии Модестовны мало чем отличалась от предыдущей: она самозабвенно продолжала поиски совместимости, находила, теряла, опять находила, сам этот процесс ее вполне устраивал, поэтому спорадическое замужество не затянулось, а существование в качестве любовницы богатого писателя не налагало никакой особой ответственности.

И все бы ничего...

В 1998 году, двадцать первого июня (она никогда не забудет этой даты) Федор Колчев, ее Феденька, чудный мальчик, которого она воспитывала с десяти лет, за которым ходила, как за родным, больше, чем за родным (родных она годами не видела), лечила от кори, кормила с ложечки и купала в ванной, Федор с компанией друзей отмечал окончание школы. Было шумное гулянье в саду, фейерверк, танцы, прятки, поцелуи, объятия, смех сквозь слезы и наоборот – слезы через пороги смеховых перепадов, были выстрелы шампанского, звон разбитых бокалов – взрослые дети прощались со своим детством, было все, чем отличается не отягощенная никакими земными заботами молодежь от всех остальных смертных хомо сапиенс.

И вдруг...

Что там произошло, Лерик не видела – пребывала наверху, на своей половине, но только враз все переменялось, и это не ускользнуло от ее абсолютного слуха: дурными голосами заверещали только что веселившиеся девицы, в саду заурчали моторы, захлопали дверцы отъезжающих автомобилей и через короткое время вся эта бравурная веселость, как по команде, перестала нарушать переделкинские пределы и наступила оглушительная тишина. Ей даже подумалось, что причиной тому – вызванная соседями милиция, хотя какая наглость: колокола спасских курантов не пробили еще и двенадцати раз. Готовая к бою, с опущенным забралом и шашкой наголо она спустилась вниз...

Федя беззвучно рыдал на диване, уткнувшись лицом в подушку.

Как потом выяснилось – какая-то малолетняя гадина наблевала на праздничный стол, перепугала гостей, все разъехались, а главное – первой отбыла красавица Виктория, с

которой этой ночью по завершении празднества Федя не без основания надеялся не расставаться до утра и тем самым материализовать наконец те платонические отношения, которые возникли между ними давно и до сих пор ограничивались лишь затяжными поцелуями и жарким изучением телесных анатомических особенностей друг друга в темных закоулках школьных коридоров.

– А теперь – все, все, я знаю, она никогда этого не простит, опять уйдет к своему Дрыну, а мне что, век вожжаться с Любкой-кошелкой? – безутешными всхлипами откровенничал на груди своей почти приемной матери семнадцатилетний золотой медалист. – Она всей школе надоела, и физрук после уроков на матах ее трахает, она сама рассказывала, я Вику хочу, мы сегодня договорились, а теперь – все, эта гадина все обблевала...

Валерия Модестовна со слезами на глазах как могла утешала в голос рыдающего юношу, целовала его мокрое лицо, губы, шею, до которой, чтобы добраться, надо было расстегнуть воротничок рубашки, плечи, грудь (тут пришлось расстегнуть и саму рубашку), и наконец по истечении какого-то времени любящее ее сердце дрогнуло, болезненно сжалось и неожиданно бездумно благословило на принесение себя в жертву ради претворения в жизнь намеченной Федором и его одноклассницей Викторией на сегодняшнюю ночь, но так и неосуществленной из-за заблеванной скатерти, дружеской встречи.

Для этого она заперла на ключ дверь, сняла с себя все, что могло помешать задуманному и, не без удовлетворения обнаружив полную Федорову готовность к приятию пожертвования, принялась за умелые поиски возможной совместимости.

Это стало началом преследовавших всю ее дальнейшую жизнь злосключений.

... – Я тебя сейчас ударю – ты терпи, так надо, ладно?

– Это обязательно?

– Деточка, желательно.

– Только не больно.

– «Не больно» – синяка не будет, а он нужен. Терпи, все тебе воздастся.

Он без замаха ударил ее кулаком по лицу.

– А-аа-ааа! – завопила Лерик, отлетая в угол комнаты. – С ума сошел? Ты что, совсем ненормальный?! Идиот!! – Она некрасиво поднялась с пола и бросилась к зеркалу в ванную комнату. – Ты соображаешь, что ты делаешь, идиот! Посмотри, что ты сделал!!

Столь необходимый синяк не заставил долго ждать своего появления, на глазах набухая и синея вместе с кровоточащей губой.

– Посмотри, идиот!! Идиот!! Идиот!!!

Все остальные мириады оскорбительных эпитетов, по всей видимости, от боли и обиды в этот момент вылетели у нее из головы.

Он подошел сзади, обнял причитающую женщину за плечи.

– Прости ради бога, дорогая, первый и последний раз, даю слово. Пусть тебя утешит то, что этот синяк весит десять миллионов евро. Согласись – неплохая цена за незначительные временные издержки. К тому же – это в твоих интересах. Да? Нет?

Лерик отлипла от зеркала, приблизила к нему свое недавно еще красивое лицо и только тут он понял, что с ударом явно перестарался.

... Мерина разбудила настойчивая телефонная трель. Он не сразу разомкнул веки: около пяти без самой малости, прямоугольник окна, как квадрат у Малевича. Ничего себе.

– Да.

– Простите, пожалуйста, мне Всеволода Игоревича Мерина. – Женский, невыспавшийся, взволнованный голос.

– Да, я слушаю.

– Всеволод Игоревич?

– Да-да.

– Вас беспокоит Валерия Модестовна.

Сон снесло, как крышу ураганом, но сознание запаздывало – для ориентировки были нужны свободные секунды: после их с Лериком встречи он голову мог дать на отсечение, что та не позвонит ни при каких обстоятельствах. Хорошо – не дал.

– Кто, вы говорите, меня беспокоит?

– Лерик.

Нет, в неотсеченную голову не приходило решительным образом никаких мыслей. Надо еще натягивать секунды.

– Какой Лерик?

Ему показалось, что трубка обиделась.

– Ну Лерик, Лерик Твеленева, вы приходили ко мне, помните? Оставили визитку, если вдруг что. Не помните?

Мерин ухватился за понравившееся выражение – оно наконец помогло осознать, что звонок Лерика без пяти пять утра связан именно с этим «если вдруг что».

– А-а-а, ну конечно же помню, простите, Валерия Модестовна. Что-нибудь случилось?

– Случилось. Но это не по телефону. Меня обокрали и украли.

Даже полностью отрешившись ото сна и придя в сознание, Мерин не сразу нашелся:

– Вы откуда говорите, Валерия Модес...

– Из леса, – последовал короткий ответ.

«... из леса, вестимо, – так и подмывало продолжить Мерина, – «Отец – слышишь – рубит, а я отвожу». Он спросил:

– Там поблизости нигде не раздается топор дровосека?

После короткой паузы в трубке прозвучало: «По-моему, нет» и он подумал, что с Лериком действительно произошло что-то серьезное.

– Я так понимаю – нам надо встретиться, правильно? – Да.

– Когда бы вы смогли подъехать на Петровку, я оставлю вам на проходной пропуск?

– Не знаю.

– То есть как? Почему не знаете? Вы сейчас где находитесь?

– Я не знаю. В лесу. Тут темно кругом. Меня только что вы-броси-и-и-ли, и я вам звоню-ю-ю.

Женщина начала захлебываться словами, и Мерин понял, что дальнейший разговор бесполезен.

– Значит так, слушайте меня внимательно. Во-первых, успокойтесь, дайте мне ваш мобильный телефон.

Она продиктовала семь цифр.

– Я буду постоянно держать с вами связь, и вы звоните при первой необходимости. Постарайтесь выйти на шоссе. Вас везли на машине?

– Да.

– На легковой?

– Да.

– Марку, номер не запомнили?

– Нет.

– Ну неважно. Вас как – выбросили и уехали? Или несли на руках и потом бросили?

– Нет.

– Что «нет»?

– Не на руках.

– Очень хорошо: значит, шоссе поблизости. Скоро начнет светать – постарайтесь выйти на шоссе, но если его поблизости не окажется – не уходите далеко в лес, дождитесь рассвета.

На шоссе постарайтесь поймать машину. У вас при себе деньги есть?

– Нет.

– Неважно, я буду вас ждать на Петровке, расплатимся как-нибудь. Вы все поняли?

– Да.

– Хорошо. Если самостоятельно выйти не удастся – утром будем связываться с поисковой службой, не волнуйтесь: как украли, так и вернут. И звоните мне регулярно. У вас мобильный заряжен?

– Да.

– Очень хорошо. Тогда отключайте связь, а я поехал на Петровку. До встречи.

Во время этого разговора у Всеволода Мерина несколько раз начинало сильно стучать в висках, он сделал для себя много «зарубок» и теперь по дороге в контору пытался в них разобраться.

... Она сидела напротив с распухшими от слез глазами, красным носом, «заячьей» верхней губой и выдающимся синяком под глазом. Если бы не лежащее на столе водительское удостоверение на имя Валерии Модестовны Твеленовой, Мерин ни за что бы не поверил, что перед ним та самая любвежаждущая «Лерик», с которой он недавно провел какое-то не лишнее пикантной познавательности время. Где кокетливые ужимки, завлекающие вздохи, где интимные намеки на безоговорочную готовность к любому безрассудству. В кабинете сидела далеко не первой молодости некрасивая женщина, запуганная, изможденная то ли каким-нибудь озверелым насильником, то ли жестокими обстоятельствами жизни как таковой. «Может, это и не она вовсе? – мелькнуло в голове следователя. – Откуда у избитой и брошенной в лесу женщины такие девственно непомятые водительские корочки?»

– Ну вот и слава богу: все хорошо, что хорошо кончается, правда? Может быть, сигарету?

– Спасибо.

– Я не понял: спасибо – да или спасибо – нет. – Мерин как можно обаятельней улыбнулся. (Бабушка Людмила Васильевна частенько говаривала внуку, что его улыбка – западня для любой женщины: «Ты весь в деда – тому стоило улыбнуться и ни одна не могла устоять на ногах», правда, до сравнительно недавнего времени взаимосвязь дедовой улыбки с женскими ногами для следователя отдела по особо важным делам оставалась загадкой.)

– Спасибо, не надо.

– Ну и ладно, а то я предложил, а потом думаю, как быть: все равно того сорта, что вы курите, у нас в конторе с огнем не сыщешь, а почему Антон не носит перстень, который вы ему подарили?

Трусовский прием под названием «логический скачок» (он украл его у чеховского Дорна), похоже, не сработал: женщина не растерялась, не запаниковала, не изменилась в лице, спросила только:

– Что вы, простите?

Не расслышать вопроса она не могла, Мерин задал его нарочито громко. Значит – что? Перед ним – изощренная, многоопытная преступница, виртуозно владеющая своими лицевыми мускулами? Мало похоже, хотя бывает всякое. Или действительно не дарила сыну никакого золотого перстня и в таком случае Трусс абсолютно прав: Антона Твеленева отпускать из-под стражи нельзя ни в коем случае.

– Я говорю – такой изящный подарок и не используется по назначению.

– Какой подарок? Что вы имеете в виду – какому «назначению»?

– Да перстень мужской с красным рубинчиком на безымянный палец – я прямо ахнул от красоты... Год назад на день рождения сыну...

– Никогда ничего подобного Антону не дарила, смею вас заверить. Или вы меня с кем-то путаете...

– Ну и забудем, коли так, наверное, я в самом деле что-то напутал, в последнее время это со мной случается, в школьные годы у меня дружок был по фамилии Рубинчик – вот и вспомнилось, а в лесу абсолютная темень была, когда вы мне звонили? Хоть глаз выколи?

На этот раз женщина, прежде чем ответить, некоторое время поелозила изящным, грязью измазанным местом по стулу.

– Абсолютная. Почему вас это интересует?

– Да цифирьки на моей визитной карточке уж больно мелкие, не всегда и при свете-то разглядишь или такая память хорошая?

Женщина порозовела, и не будь общей одутловатости заплаканного лица – даже радужного многоцветия синяк под правым глазом не мог бы скрыть ее привлекательности.

– На память не жалуясь, но, честное слово, я пришла к вам в такое время не за тем, чтобы обсуждать мои достоинства. Вы что, не видите, в каком я виде?!

– Господи, при чем здесь время, если случилось несчастье – кто думает о времени, вы все правильно сделали: позвонили из леса, вышли на шоссе, приехали... а чего, кстати, не до самой проходной доехали? – И поскольку женщина молчала, он повторил: – Я говорю, машину-то где отпустили?

– На... бульваре, он прямо поехал...

– Вот варвар нахальный, бывают же люди. А денег не взял, что ли?

– Нет, ему по пути было...

– Ну хоть тут молодец, мужик значит. А вид ваш я конечно же вижу, просто меня учили, что замечать женские недостатки – не совсем прилично. Давайте-ка лучше все по порядку: кто, как, за что и почему – следствия ведь без причины не бывает, согласны?

– Не знаю... – ответ прозвучал не очень уверенно.

– Ну как же? – подхватил Мерин. – Ну вот, допустим, прихожу я с работы домой и, по ПРИЧИНЕ нервного перенапряжения, как СЛЕДСТВИЕ – опрокидываю на себя горячие щи, да? Причинно-следственная связь. Или: не убей гадкие сербские националисты в городе Сараево наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда – не случилась бы Первая мировая война, правда? В жизни вообще все делится на две части: причину и следствие. Все! Мы принимаем пищу (следствие) по причине голода, ложимся спать (следствие) по причине усталости, любим по причине желания, обманываем друг друга по причине конкретной необходимости... Вы меня простите за такие примитивные истины, но и вас, поверьте, никто бы не украл, не будь на то какой-то причины. Вот и давайте вспоминать, какие с вашей стороны действия привели к таким чудовищным последствиям. Ну вот вы сидите дома – и что? Что?

– Что – «что»? – непонятливо огрызнулась женщина. – Что вы хотите, чтобы я вам ответила?

– Желательно последовательную правду, Валерия Модестовна, шаг за шагом, пядь за пядью. Сидите вы дома, ни о чем таком не подозреваете и вдруг... Ну? И что?

– Что – «что»?!! – опять повторила Валерия Модестовна на этот раз с обвинительной в адрес Мерина интонацией в голосе.

... – И я, Юрий Николаевич, так обрадовался: наконец-то она разозлилась, а то все сидела обиженной пайнкой. Мне к тому времени уже ясно было, что ни в каком лесу она не валялась – плащ, правда, испачкан грязью, но слишком уж «художественно» – осень ведь, а на ней ни травинки, ни листочка, ни иголки с елочки – это раз. Туфельки заляпаны, но опять-таки не из лесу, вестимо. – Мерин лез из кожи, чтобы понравиться Скоробогатову. – Теперь, номер моего телефона она в темноте разглядеть не могла при всем желании, кошке и той бы фонарик потребовался – это два...

– Может, правда, запомнила?

– Юрий Николаевич, вот вы, когда вам кто визитку протягивает, на номер телефона смотрите? Нет ведь, правда? Просто знаете, что он у вас есть и все, при случае можно позвонить, а она, видите ли посмотрела да еще и запомнила. Ну ладно, допустим, теперь дальше – она начала мне байки рассказывать про каких-то трех бандитов, один ей рот и глаза пластырем заклеил, хотя на лице никаких следов от этого и в помине нет, завязал руки-ноги, запер в ванной, а два других в это время что-то там крали и в мешок складывали. Но, во-первых, откуда известно про мешок, если глаза заклеены, а, во-вторых, ванная комната у них на втором этаже, черт-те где, там, где спальни, какой смысл тащить связанную бабу на

второй этаж? Связал, бросил в угол и воруи себе припеваючи. А увозить с собой зачем? Вдруг ГИБДД, ночью они всегда останавливают, тем более за городом? И потом – кто ее развязал-то в лесу, если руки-рот-глаза-ноги – все пластырем заклеено? Или что, бандиты ее на свежий воздух из машины вытащили, путы снимали, покормили, напоили, посидели, покурили? Ерунда какая-то. И уж самое главное – я ей пропуск подписал, говорю – хотите – довезу вас на машине, вы такого натерпелись, а она: «Нет, – говорит, – пройдусь». Ну пройдишь – думаю, а сам за ней. Так вы не поверите, Юрий Николаевич, она до бульвара дошла, за угол повернула, по сторонам воровато поглядывалась, в темно-синюю «Мазерати» села и укатила.

– За руль?

– Нет, рядом. Я эту машину раньше у нее в саду видел, Т-555-МК, молодой какой-то, незнакомый за рулем был.

Скоробогатов нажал секретарскую кнопку.

– Валентина, пожалуйста, «Мазерати» Т-555-МК, кто владелец и все о нем. Срочно.

Он прошелся по кабинету, постоял у окна, вернулся на прежнее место.

– Так ты думаешь, этот детектив выдуман?

Мерин с энергией стартующего спринтера бросился защищать свою версию:

– Несомненно, выдуман, Юрий Николаевич, и притом очень бездарным автором: такое количество откровенных, ребенку понятных ляпов может допустить только очень наглый, уверенный в своей безнаказанности человек – мол, лови, не лови, припирай к стенке, не припирай – до меня все равно не дотянетесь, мне главное вас, ментов, с толку сбить, направить по ложному следу, а там хоть трава не расти. Ведь я вам еще не досказал: она мне про какой-то мешок втюривала, который она якобы видела, а мне Яшка из Переделкино позвонил, что там ничего не украдено...

– Кто это Яшка?

– Ой, простите, это Ярослав, он ведь Яшин, мы его Яшей зовем. Вот он сказал, что ничего не украдено...

– Почему он так решил?

– Так хозяин сказал, писатель Колчев, его накануне там не было, он приехал откуда-то, увидел, вызвал милицию, а потом Тошка ему позвонила...

– Кто такая Тошка, кому она позвонила...

– Яшке, то есть Ярославу...

– Ну вот что, Всеволод, – Скоробогатов снова вышел из-за стола и заходил по кабинету, – пока что все твои доводы не выдерживают никакой критики. Может быть, она из леса домой к себе заехала, чтобы перед тобой поприличней выглядеть, переодеться, листочки-иглочки стряхнуть, следы от пластыря с лица смыть, документы взять, чашку кофе, наконец, выпить, сигаретку выкурить, в себя прийти – не каждый день с ней такое случается. А потом позвонила знакомому, сейчас мы узнаем, кому именно, – он кивнул головой в сторону телефона, – попросила подбросить ее до Петровки, потому что у самой от пережитого руки дрожат, голова плохо соображает – возможно такое? А тебе соврала, что прибыла прямиком из леса – ореол мученицы, страдальцы не хотела разрушать, экзальтированные женщины любят поднаддать жару, чтобы слушателя, как в сауне, пот от страха прошиб. Почему посетители с собой ее забрали – тоже объяснимо: она, ты говоришь, «Спасите» кричала или как там? «Караул»?

– «Помогите», – мрачно уточнил Мерин.

– Ну вот видишь, тем более – «Помогите!» С заклеенным ртом? Вряд ли. Значит, кричала до заклеивания, то есть с момента появления пришельцев, и те испугались возможного прихода соседей, что, кстати, объясняет, почему ничего не украдено – спугнули их. А мешок – это уже от страха, так в телесериалах показывают: в масках, с пистолетом, с мешками. Она не говорила, что они были в масках? Нет?

– Нет.

– Ну и то хлеб: может, запомнила кого, найдем – опознает. А с собой ее прихватили –

опять-таки соседей опасались: могли прибежать, расклеить и в милицию сообщить, а они еще из Переделкино на Минское шоссе выбраться не успели. Теперь писатель Колчев – ну сам подумай: как он мог так быстро понять, что НИЧЕГО не украдено? Для этого время нужно – дом, ты говоришь, не маленький, помещений много, пока все обойдешь...

– А собаку убитую зачем в мусорный бак?! – почти закричал Мерин.

Скоробогатов подошел к нему, сел рядом, помолчал.

– Сева, если не так нервно и не так громко, то мы бы могли с тобой сейчас поразмышлять на эту тему. Давай?

Мерин покраснел, съежился.

– Простите, Юрий Николаевич.

Полковник сказал примирительно:

– Да нет, я тебя очень даже понимаю, лишить жизни собаку – это убийство, за которое и под суд можно угодить, зря рисковать никто не станет. Значит, она им мешала. Теперь давай предположим, что ты прав, все это ограбление – блеф, грубая инсценировка самих пострадавших, зачем-то им понадобившаяся, зачем – мы пока не знаем. Тогда убийство собаки можно объяснить только тем, что люди хотели отвести от себя подозрения – мол, кто же станет убивать собственную собаку, и тогда это не люди вовсе, а какие-то вурдалаки, просто изверги. Согласен со мной?

– А в мусорный бак-то зачем? – не ответив на вопрос начальника, опять завопил Мерин.

– Вот, теперь – зачем прятать убитую собаку? Только не кричи, а то у меня лопнут барабанные перепонки. Наверное, затем же, зачем и увозить связанную женщину: чтобы набежавшие соседи раньше времени не обнаружили и не лишили их возможности скрыться. Если это так, то задача наша усложняется многократно: мы имеем дело с не людьми...

В дверь постучали, секретарша Валентина в строгом безмолвии пересекла пространство кабинета, положила на стол перед Скоробогатовым лист бумаги с напечатанным текстом и величественно, с выражением перегруженной заботами фрейлины, удалилась. Полковник взглянул на Мерина, коротко развел руками.

– Ничего не поделаешь – так мы демонстрируем серьезность отношения к порученному делу. Терплю уже лет десять. Ну вот, – он пробежал глазами текст, – Колчев Федор Аммосович, 1981 года рождения, закончил МГИМО, дипломат, сотрудник Министерства иностранных дел России, советник, синхронный переводчик по франко-испанскому направлению, холост, родители разведены, мать проживает в Париже, отец, Колчев Аммос Федорович, советский, русский писатель, автор известных в свое время романов, тут их много перечислено, по-моему, я, неуч, ни одного не читал, живет по адресу: Москва, Кутузовский проспект, 44, подъезд, телефон, рабочий телефон, мобильный и пр. и пр. – Он протянул листок Мерину. – Ну что, займись, но сдастся – тут нам не обломится: их там здорово проверяют, каждый шаг известен, да и в двадцать семь лет так высоко забраться и рисковать карьерой – вряд ли. Но чем черт не шутит. Так чем же закончился допрос Валерии Тыно?

... – Что – «что»?

В голосе Лерика зазвучали раздраженные нотки, и Мерина это обрадовало: так-так-так, задело значит, не любим против шерстки, а придется.

– Я говорю – сидите вы дома и что? Кстати, в котором часу это случилось?

– Что случилось?

– Ну бандиты залезли.

– Не знаю, я на часы не смотрела.

– Счастливый вы человек, но все же – утро, день, вечер, ночь, еще случается полдень?

Когда они к вам залезли?

– Вечер, скорее всего.

– Так. Скорее всего, вечер. Хорошо. Значит: вечер, сидите вы на диване, смотрите

телевизор и что? Как они к вам пролезли-то? Вы одни в доме были?

– Одна.

– Ну и?

– Поднимаю голову – он на меня бросается. Больше ничего не помню.

– А «он» – это кто?

– Не знаю, черные усы, кепка, незнакомый.

– Он один был?

– Нет, их трое.

– И кто же им дверь открыл?

– Не знаю, сломали, наверное.

– А у кого из них в руках продолговатый предмет был?

– Какой предмет?

– Разве ни у кого из них не было в руках продолговатого предмета, завернутого в черную тряпку?

Валерии Модестовне довольно долго не удавалось взять в голову, о чем ее спрашивают. Она сдвигала брови, морщила лобик, подбитый глаз и «силиконовая» верхняя губа, видимо, доставляли ей немалые страдания, потому что она при этом издавала какие-то жалобные звуки. Наконец сказала:

– Я не понимаю, о каком предмете вы говорите.

Мерин охотно, дабы снять ее недоумение, закрыл тему продолговатого предмета.

– Ну и бог с ним, тоже мне невидаль – не видели и не надо. А «Помогите!» вы кричали?

– Ничего я не кричала, не успела, он мне сразу рот заклеил.

– Так, очень хорошо: заклеил рот. И что?

– Что «хорошо»?! – возмутилась женщина.

– Хорошо, что так подробно вспоминаете событие. Вы ведь пришли, чтобы мы помогли вам найти преступников, я правильно понимаю? Для этого вы пришли?

Она молчала.

– Ну хорошо, скажите, вы еще, кроме меня, кому-нибудь звонили?

– Нет. То есть звонила.

– Это я не очень понял.

– Звонила, но никто не ответил.

– Понятно. Кому, если не секрет?

– Отцу.

– Отцу, очень правильно. А собаку кто убил?

Ее красиво очерченные брови опять сошлись в переносье, лоб собрался в гармошку. Она недолго постонала. Спросила:

– Собаку?

– Собаку.

– Нашу?

– Вашу.

– А ее убили?!

– И бросили в помойный бак. Выстрела вы не слышали?

Синяк под ее правым глазом посветлел, лицо покрылось белой эмалью.

– Какой ужас.

– Да уж.

Мерин прошелся по узкому кабинету постоял у окна, но, устыдившись своему бесстыдному подражанию полковнику Скоробогатову, вернулся на прежнее место.

– Валерия Модестовна, я буду с вами предельно откровенен, но хотелось бы такой же откровенности и с вашей стороны, только при этом условии мы постараемся помочь вам выпутаться из довольно сложной ситуации, в которой вы оказались. Поверьте – это в ваших интересах. Вы готовы к этому?

На этот вопрос женщина неожиданно для Мерина предпочла ответить не словами, а

рядом физических действий: она приподняла плечи, слегка отклонила в сторону голову, развела влево и вправо лежащие на коленях ладошки, округлила глаза, отчего брови ушли несколько вверх, и вытянула вперед губки. Все эти односекундно проделанные телодвижения, по всей видимости, должны были заменить короткое «Да». Сева, подражая Труссу, часа полтора в упор смотрел на бегающие зрачки собеседницы и, когда те, наконец, приостановили свое движение, негромко, но четко и внятно спросил:

– Скажите, что находилось в коробках, которые вы уговорили Надежду Антоновну Заботкину спрятать на даче в ее комнате под оттоманкой?

– Вы имеете в виду столовое серебро?

Реакция ее была настолько молниеносна, а незамутненная искренность вопроса, лишенная даже тени сомнений, столь очевидна, что Мерин на какое-то время пришел в замешательство: он готовил бомбу, начинал ее тротилом в ожидании взрыва – если и не немедленной капитуляции противника, то хотя бы какого-нибудь его внутреннего смятения, паники или на худой конец – видимой глазу растерянности. А на деле вышло – из пушки по воробьям, да и птички-то, похоже, улетели здоровенькими: ни один мускул не дрогнул на ее покаленном личике. Значит, что: интуиция – интуицией, а в тот памятный для него день юная прелестница по имени Тошка обвела его вокруг своего спичечного пальчика с коварством завзятой интриганки? Нет, не может этого быть, или ум его совсем уже зашел за разум, предупреждал же гений: «Измен всечасных ожиданье Покоя не дает уму».

Но ведь кто-то же из них двоих лжет?!

– Вы напрасно торопитесь с ответом, – сказал он устало и посмотрел на часы, – я через минуту должен быть у начальства, это ненадолго, а вы пока подумайте.

И подражая Труссу, неспешно вышел в коридор.

Больше всего на свете в эту минуту Валерии Модестовне Твеленовой хотелось исчезнуть, улетучиться, раствориться – не быть в этом уродливом, прокуренном, пропитанном потовыми выделениями кабинете.

... Ах, как мучительно прекрасно текли эти сказочные десять лет! Двадцать первое июня девяносто восьмого, ей тридцать два – возраст, когда, как утверждали подруги (она долго в это не верила, а достигнув, сама убедилась), все существующие в жизни наслаждения начинают небыстро, но с необратимой неуклонностью порастать коростой и оборачиваются своей противоположностью – перестают приносить радость и постепенно опадают, как засохшие струпы от подживающей кожи. Возраст, когда не осененные благодатью высокой любви и тем самым обездоленные, обреченные на одиночество люди по инерции продолжают безрадостное скольжение в окружающем их пространстве, отчетливо при этом сознавая, что нет и никогда уже не будет того единственного огонька впереди, который мог бы поманить и пролить новый свет на их дальнейшее существование.

И вдруг...

С годами она, неженскими усилиями продолжая цепляться за свою неразделенную любовь, назовет это злым роком, напастью, погибелью, но тогда, десять лет тому, перед ней словно распахнулись райские врата и стало очевидно, что вся предыдущая жизнь ее была лишь тусклой прелюдией к неохватной, всепоглощающей симфонии страсти.

Впервые с тех пор, как помнила себя, она полюбила.

И с тем же неукротимым жаром, коим до недавнего времени, в беспечной корысти отдаваясь поискам плотских утех, одаривала партнеров, она, очертя голову, кинулась в этот безбрежный океан незнакомых, неизведанных чувств.

И – утонула.

Федор Колчев – сын ее многодавнего любовника, вчерашний школьник, которого она купала в ванной, «зеленкой» мазала разбитые колени, лечила от разных детских болезней, иногда подшлепывала и ставила в угол, вдруг стал для нее всем, без чего не мыслится земное существование: солнечным светом, воздухом, весенней зеленью, пением птиц, улыбками фортуны... и мужчиной.

Четыре сном промелькнувших года тайные любовники наслаждались радостью обладания друг другом, пока неожиданно свалившаяся на Федора напасть чуть было не разрушила эту благодатную идиллию: параллельно с постижением основ международных отношений в престижном вузе он в свободное от учебы время с головой отдался весьма популярным в те годы среди студентов карточным баталиям и в одну неудачную ночь с одного майского дня на другой, в силу тотального невезения, был нокаутирован чернокожим сокурсником зимбабвийцем Нгуа Нгу очень многоцифровым проигрышем. И все бы ничего, добрый товарищ из далекой африканской страны позволил «Фьеде» не торопиться с долгом, подкопить сбережений, но тут, как назло, из Катманду проверить успехи своего Нгуа Нгу прилетел его родитель Нгу Нгуа и, узнав о столь удачном поведении сына, в отличие от того, проявил нетерпение. Взять такую сумму Федору было неоткуда, непреклонный Нгу грозил обращением в деканат, что неизбежно повлекло бы за собой позорнейшее увольнение из МГИМО, поэтому незадачливому должнику ничего не оставалось делать, как обратиться с поклоном к Лерику.

Возможность оказаться полезной любимому вознесла Валерию Модестовну на седьмое небо, и операция по отъему у банкира Тыно М. Ю. незначительной для того толики зеленых банкнот прошла как нельзя более гладко: Нгу Нгуа отбыл на Родину небедным человеком, а Нгуа Нгу продолжил изучение отношений между народами вперемешку с изобретением за карточными столами новых шулерских тонкостей.

Но...

«Ничто на Земле не проходит бесследно...» Это мудрость из песни Пахмутовой – Добронравова.

«Ни одно доброе дело не остается безнаказанным». Это народная мудрость.

Не хочешь нажить врагов – не давай займы, тем паче безвозмездно. Это уже никакая не мудрость, а немудреная жизненная проза, с которой лоб в лоб столкнулся Лерика безжалостный собственный опыт: после этого для Федора столь благополучно закончившегося инцидента его любовь к своей благодетельнице, как мелкие лужицы поздней осенью по ночам, стала покрываться непрочной корочкой льда, и хотя до полного охлаждения, до метелей и сугробов было еще далеко, но женское чутье подсказывало, что «зима» не за горами и временная «оттепель» возникала все реже и реже. Она таскалась за ним по командировкам, делала дорогие подарки – после «Мазерати» они ненадолго укатили во Францию на Лазурный берег и в те дни никакой медовый месяц не мог бы сделать ее более счастливой, – до помутнения сознания не верила, как бы ни старались бывшие подруги, в его «невесту – дочь посла», несколько раз ложилась на всевозможные бессмысленные «подтяжки» и «увеличения»... Тщетно: катастрофа – а именно так представлялось ей неизбежное охлаждение Федора – приближалась, хоть и без демонстрации с его стороны, но и не столь умело, чтобы она могла этого не замечать.

И вдруг – о, радость! Не верь после этого в провидение! – любимый вновь оказался в полной от нее зависимости.

В мае прошлого года в предместье Парижа служебную машину Федора Колчева прошла строка автоматной очереди. Водитель скончался на месте до прибытия «скорой помощи», сам же молодой дипломат, сидевший на пассажирском месте, отделался относительно легким ранением плеча, в тот же день был доставлен в Москву и прооперирован в военном госпитале.

Французская полиция несколько месяцев усердно демонстрировала российскому посольству бурную деятельность по поимке злоумышленников, арестовывала и выпускала на свободу представителей неблагополучной части столичного контингента – клошаров, карманников, мелких домушников и, наконец, сославшись на отсутствие каких бы то ни было улик по данному делу, нажала на тормоза, и преступление плавно переключалось в разряд не подлежащих раскрытию.

Федор же после выписки из госпиталя заметно увял, по больничному листу на работе не появлялся, месяц без малого затворничал в своей квартире, в Переделкино не

показывался, на телефонные звонки отвечал неохотно и односложно. Лерик в неопределенном статусе – жены ли, любовницы, домашней хозяйки – почти ежедневно приносила туда продукты, стирала, мыла, стирала, вытирала пыль, проветривала, выносила мусор и без видимых признаков благодарности со стороны хозяина униженно отбывала восвояси.

Все круто изменилось в конце декабря.

Войдя однажды в погожий предновогодний денек – румяная, полная сил и желаний и, как уже стало привычным за последнее время – с многочисленными пакетами наперевес – в квартиру № 44 по Кутузовскому проспекту, она застала любимого неподвижно и почти бездыханно лежащим ничком на диване. После мучительных, долго не приводящих ни к какому результату расспросов, слез, рыданий и, в конце концов, истерик ей все же удалось вытрясти из Федора кое-какие признания: оказалось, что накануне им было обнаружено в почтовом ящике от руки написанное по-французски короткое послание, после прочтения коего синхронный переводчик министра иностранных дел России и впал в до сих пор не отпускающий его транс. В переложении на понятный Лерику русский рукотворная угроза звучала следующим образом: «Второго предупреждения не будет. В прятки играть глупо. Ждем еще год. Последний». Подписи не было.

Так Валерия Модестовна Твеленева, в девичестве Тыно, стала единственной владелицей тайны, повергшей ее любимого в нынешнее, близкое к предсмертному состояние: оказывается, некие иноземные партнеры во что бы то ни стало требуют от него выплаты картонного долга чести.

Первым ее порывом стало желание немедленно утешить расстроенного юношу: господи, какая глупость, было б о чем думать, из-за чего расстраиваться, чай, не впервой, они выкрутятся, надо только для этого положиться на нее, Лерику. Нет невозможного для любящего сердца, да и знакома она прекрасно со всякими картонными передрыгами – в далекой уже юности увлекалась Пушкинской «Пиковой дамой», читала роман тезки своего Феденьки, тоже Федора, Достоевского «Игроки», из тех же книжек знает о нередко случавшихся в старину закладах проигравшимися драгоценностей, домов, имений и даже благоверных жен, после чего бедняги бывали вынуждены заканчивать земное существование рукоприкладством, – знакома она со всякого рода подобной литературой и до сих пор относит все эти ужасы к большой фантазии авторов и их нездоровому стремлению доставить читателю как можно больше вредных, по ее мнению, эмоциональных переживаний.

Но когда «расстроенный юноша», идя навстречу ее категорическим настояниям, тихим, загробным голосом озвучил-таки цифру своего проигрыша, Лерик на какое-то время... задумалась, поскольку цифра эта, будучи произнесенной вслух даже таким почти не произведшим колебаний воздуха звуком, многократно превысила пределы ее воображения.

Не пришла в ужас. Не впала в отчаяние.

Задумалась.

И очень скоро поняла, что наступил ее звездный час, не воспользоваться которым с целью восстановления отношений с любимым, было бы непростительно.

Сейчас или никогда.

... Мерин вернулся в кабинет минут через десять.

– Как? Отдохнули?

Выражение лица Валерии Модестовны за это время не изменилось – оно было таким же сосредоточенным, усталым и настороженным, но пауза, как показалось следователю, пошла ей на пользу: легкий румянец красиво подернул лоб и щеки.

– Отдыхать я предпочитаю в домашней обстановке.

Сева, пытаясь угнаться за ее бегающими зрачками, широко улыбнулся два раза подряд: улыбнулся, затем погрузился, и тут же опять растянул губы в любимой бабушкой улыбке.

– Или я ошибаюсь, но, мне помнится, вы лишили себя домашнего отдыха по собственной инициативе? Разве не так? Вы ведь по пути из леса никуда не заезжали? Прямо

к нам?

– Прямо.

Ответ прозвучал не весьма вежливо, и это было еще одним доказательством того, что десятиминутная передышка оказалась не лишней – «девушка» явно раздражена, а это удача: как правило, именно в таком состоянии из людей выколупываются необдуманные слова и поступки. Мерин мысленно потер ладошки.

– Ну и ладно, как только станет немого – не стесняйтесь, скажите, мы тут же прервемся. Пережить такое!.. – Он не стал договаривать, какое «такое!», но по интонации было понятно, что имеется в виду нечто очень страшное. – Так на чем мы с вами остановились? Прошу простить, но с этой банальной фразы всегда начинается продолжение прерванной беседы, тем более когда она представляет взаимный интерес для сторон, правда? Так на чем? – и поскольку Валерия Модестовна молчала, продолжил: – Если мне не изменяет память – на коробках из-под туфель, нет? И еще на продолговатом предмете, завернутом во что-то черное.

Он разговаривал с женщиной намного старше себя по возрасту недопустимо нагло, в манере, скорее свойственной Труссу при допросе подозреваемых (при этом нимало не терзаясь угрызениями совести за наглый плагиат), но делал это совершенно сознательно, ибо интуиция давно уже, с первого их знакомства намекнула, а теперь и утвердила в сознании, что сидит перед ним, если и не непосредственная исполнительница, то отнюдь не последняя ниточка в клубке раскрываемого преступления.

– Мне ведь что важно понять, – продолжал он в том же ерническом духе, – мне важно знать, что же все-таки прежде всего заинтересовало бандитов: туфли или предмет. От этого мы бы и стали в дальнейшей нашей работе плясать, преобразуя эфемерные предположения в реальные факты. А без подобного знания, согласитесь со мной, очень нелегко: если в коробках из-под туфель сохранялось столовое серебро – это одно, а если – представим себе невозможное – редчайшая коллекция японских нэцке – совсем даже другое. Между ними такая же пропасть, как между какой-нибудь фанерной балалайкой и – опять позволю себе прибегнуть к крайности – скрипкой Страдивари. Нет? Не согласны?

Он сыграл ва-банк.

И не ошибся.

Если до сих пор добровольная посетительница пенитенциарного заведения не проявляла видимого желания вступить в беседу с мальчишкой-следователем, иногда лишь выпуская на свободу свои верткие щупальца из, казалось, неприступного панциря, то последний меринский пассаж преобразил ее до неузнаваемости. Она развеселилась, некрасиво раскрыла рот и довольно продолжительное время издавала клокочущие звуки, схожие с неестественным театральным смехом неудавшейся актрисы. Сказала, не в силах успокоиться:

– Что-что-что? Ну-ка, ну-ка, еще раз, поподробнее про Страдивари, а то у меня уши заложило.

На этот раз они поменялись ролями: молчал Мерин, наслаждаясь произведенным его словами эффектом, а Лерик, не будучи в состоянии унять приступы натужной веселости, вытирала глаза платочком и безостановочно тараторила и тараторила о том, как далека наша правоохранительная система от умения оказать реальную и своевременную помощь в ней нуждающимся; как одинока и незащищена та часть нашего олигархического общества, которая, вопреки сложившемуся о ней мнению, и является опорой и двигателем благосостояния страны; как много злобы и зависти в среде российского электората, которая не утруждает себя необходимостью ежедневного титанического труда на благо народа и на собственное благо, а предпочитает пользоваться чужими доходами; как неуклонно растет апатия общества в целом и каждого индивидуума в отдельности к проявлению нечеловеческой жестокости со стороны преступного мира... Но основным лейтмотивом столь неожиданно проснувшегося и ярко выражаемого красноречия было доказательство тщетности меринских усилий привязать ее, Валерию Твеленеву, в девичестве Тыно, к

фигурантам данного разбирательства. И козырным тузом в колоде доводов неизменно выступал бывший при Советах работник Центрального Комитета «нашей партии», ныне, благодаря сохранившимся связям с властью придерживающимися, ногой открывающий все высокопоставленные двери, Тыно Модест Юргенович, отец родной, без согласования с которым на сегодняшний день в стране не принимается ни одно мало-мальски значимое решение.

– Пойми, маленький мой правдоискатель, – заключила она с некоторой даже грустью за столь бесперспективное времяпрепровождение сидящего перед ней следователя, – плетью обуха не перешибешь – так умные люди учили меня никогда не доказывать своей бесспорной правоты гаишнику: смирись, заплати и дальше в путь. – Она легко поднялась, разгладила смятый комочком пропуск. – Надо подписать?

– Непременно, давайте. Признаюсь – не хочется расставаться: уж больно поучительной оказалась наша беседа, спасибо. Но у меня маленькая просьба: постарайтесь в ближайшее время не отлучаться далеко от дома, вы можете понадобится следствию для оказания помощи в раскрытии этого преступления – у меня осталось к вам несколько вопросов.

Она нарочито тяжело вздохнула, заставила себя улыбнуться.

– Вот как? Тогда, быть может, хотя бы намекнете о чем? Надо же подготовиться: хочу в своей помощи быть максимально достоверной и доказательной.

– С удовольствием. Мне интересно знать, кому и зачем понадобилась эта инсценировка с погромом на даче и вашим похищением. Хотя у меня и есть некоторые на этот счет предположения, но важно, чтобы они подкрепились фактами. Начальство мое, к сожалению, не очень-то доверяет интуиции. – Он протянул ей подписанный пропуск.

Валерия Модестовна, пристально глядя в глаза Мерину, постояла не двигаясь, застыла на какое-то время, затем села на прежнее место напротив следователя, положила локти на стол, подалась вперед и вытянула трубочкой, как бы для поцелуя, губки.

– Милый мой мальчик, мне показалось, что ты меня внимательно слушал и даже слышал.

Оказывается, действительно, только показалось. Очень жаль. Ну что ж: не тратить драгоценное время впустую и не пытаться прошибить лбом стенку – это умение приходит к нам с возрастом. У тебя все еще впереди.

Она не без кокетства вытянула из меринских пальцев бумажку и скрылась за дверью.

Целый день Марат Антонович не отвечал на телефонные звонки, и это обстоятельство Мерина озадачило: куда мог подеваться больной, редко выходящий из дома человек?

Смотрящие на Тверскую улицу окна твеленевского кабинета в ряду своих ярких собратьев чернели впалыми глазницами, что также не прибавило покоя, Сева невольно с шага перешел на легкую трусцу.

Ему, как обычно, долго не открывали, но, когда вместо Нюры в дверном проеме возник Герард, он забеспокоился всерьез.

– Привет, а где Нюра?

– В больнице.

– Заболела?

– Папу увезли.

– На дачу?

– «Скорая», в больницу.

– А что с ним?

– Не знаю.

Он заплакал.

– Нюра – в больницу? А ты что же?

– Она мне велела с дедом быть.

– Войти можно?

Герард молча посторонился, достал носовой платок, стал громко сморкаться.

Мерин прошел в кухню, сел у заставленного водочными бутылками стола, огляделся: было похоже, что хозяйские ноги не ступали здесь никогда – повсюду грязная посуда, на полу жирные разводы, объедки, мусор. Он крикнул в прихожую:

– Гера, пойдй сюда.

Тот вошел, шмыгая носом, кулаком размазывая по щекам слезы. Сева снял с соседнего стула сковороду.

– Сядь, расскажи, что случилось.

– Я не знаю, я у деда был, Турсоат позвал, сказал – звони в «скорую».

Он замолчал, всхлипнул.

– И что? Ты позвонил?

– Да.

– А что Турсоат у вас делал? Это дворник ваш?

– Да.

– И что он тут делал?

– Я не знаю.

– Часто он приходит?

– Да. Каждый день.

– Да не реви ты! – Мерин вдруг неожиданно для себя расвирепел. – Что ты разнюнился? Что врачи «скорой» сказали?

– Я не знаю. Я позвонил и спрятался. Очень страшно было.

– В какой больнице, не знаешь?

– Нет. Я к деду пойду.

– Постой! – Сева поймал его за рукав, усадил на стул. – Когда это случилось?

– Утром.

– И что, Нюра с тех пор не появлялась?

– Нет. – Губы его опять начали кривиться, подбородок задергался.

– Не реви, я прошу! Не реви. Скажи: и никто не приходил, не звонил?

– Кто?

– Ну, я не знаю, кто-нибудь: сестра, племянница. Ты им сообщил?

– Нет.

– И его жене не звонил?

Герард поднял на Мерина, округлил красные от слез глаза. Улыбнулся.

– Кому?

– Ну жене Марата Антоновича, твоей матери. Не звонил?

– Зачем?

Сева недоуменно взглянул на него, потом качнув головой негромко произнес:

– Да, это ты, пожалуй, верный вопрос задал. А вообще-то они давно не виделись?

– Кто?

– Родители твои?

– Ни – ког-да. – радостно, как показалось Мерину, сказал Герард. – Я к деду пойду. –

Он опять поднялся.

На этот раз Сева не стал его удерживать, бросил в спину:

– А ты?

Он застыл в дверях, затем повернулся и с хитрой, заговорщической улыбкой прошептал:

– Я про нее все знаю. Все. Но отцу я ничего не говорю.

Мерин рванулся, собой загородил выход.

– Что ты знаешь?!

– Она живет на даче у писателя Колчева, – продолжил свой шепот Герард, – давно уже, мне Федя сказал, а отец не знает.

– Какой Федя?

– Друг мой. Он хороший, добрый. Пусти, я к деду пойду.

– Подожди, скажи, Гера, а ты ее давно видел?

– Кого?

– Свою мать, Валерию Модестовну?

– Она мне не мать. У меня нет матери. Не было. У меня отец, папа мой, Марат, очень-очень люблю, очень, и он меня, мы всегда вместе, я всегда с ним... но сегодня... сегодня, – лицо его искривилось, и он, громко всхлипнув, уткнулся в меринское плечо, – сегодня его увезли... «скорая»...

Он зарыдал.

Сева обнял его за плечи, усадил на прежнее место, присел на корточки рядом.

– Ну давай перестанем, давай, а? Давай? Все будет хорошо, вот увидишь, поверь мне. Хочешь, обзвоним ближайшие больницы, наверняка его в ближайшую доставили, и все выясним. Хочешь?

Герард долго смотрел в глаза Мерина, потом опустил голову и сказал:

– Нет. Не надо.

– Почему?

– Очень страшно.

Они помолчали, Герард постепенно успокаивался, в очередной раз сообщил, что он «к деду пойдет», но продолжал сидеть, его била лихорадка. Мерин мучительно соображал, что же ему дальше делать – оставлять в таком состоянии больного человека не хотелось, но и сидеть с ним тоже не выход – неизвестно, на сколько может затянуться это сидение.

И вдруг Герард произнес:

– Несколько дней назад.

Это прозвучало так неожиданно и непонятно, что Сева вздрогнул. Его только и хватило, чтобы переспросить:

– Что «несколько дней назад»?

– Видел.

– Что видел? – опять не понял Мерин.

Герард повернулся к нему всем телом, глаза его говорили: «Вот уж не думал, что ты такой несмышленный? Ведь это я даун, а не ты». Он сказал:

– Она меня попросила на скрипке поиграть, а сама не умеет.

У Мерина бешено застучало в висках, стали мокрыми ладони.

Он все понял. И по спине у него побежали мурашки.

– Когда это было?

– Недавно.

– Вспомни точнее.

Герард сложился пополам, руками охватил свою выбритую голову, скрюченные пальцы оставляли на ней белые вмятины, но они тут же синели, изнутри заполняясь кровью. Потом он попросил:

– Не смотри на меня так, я боюсь.

Мерин отвернулся. Подошел к окну – Тверская улица жила своим ярко освещенным, шумным, суетливым, внешне беззаботным бегом. Ему подумалось, какой чудовищный обман: произойди сейчас что угодно – землетрясение, шторм, обвал, чья-то смерть – каждую секунду на планете гибнут десятки тысяч людей – умри сейчас Марат Твеленев, уйди из жизни он, Сивый Мерин, – ровным счетом ничего не изменится – эта подвижная декорация за окном будет все так же бездумно весело лгать и обольщать праздником бытия. Наконец, он не выдержал:

– Ну вспомнил?!

– Я стараюсь.

– Хотя бы до того, как обокрали вашу квартиру или после?

– До. – Герард выпрямился, руки его безвольно повисли вдоль туловища, лицо растворилось в цвете белесого потолка, он тяжело дышал. – Я очень устал. Я к деду пойду.

– Подожди.

Мерин знал, что в кабинет Антона Игоревича право на вход имеют три человека: Нюра, Надежда Антоновна, Герард. И еще врачи. Все. Больше никто не смеет переступить порог святая-святых девяностолетнего песенника. Значит... Он опять присел на корточки перед Герардом, тряхнул его за плечо, стараясь заглянуть в глаза.

– Где она хранится? В шкафу?

– Да.

– Шкаф закрыт на ключ?

– Да.

– И ты знаешь, где он спрятан?

– Да.

– Где?

Герард молчал.

– Она попросила тебя украсть скрипку?

– Нет. Поиграть. И вернула, я положил на место.

– И долго она играла?

– Не знаю.

– Вернула когда?

– Быстро. В тот же день.

– Зачем ты это сделал?

– Папа Марат попросил.

– Марат Антонович? Он сам тебе это сказал?

– Нет.

– А кто?

– Она.

– Понятно. Подожди, не уходи. – Он достал из кармана мобильный телефон, набрал несколько цифр. – Яша, Твеленева Валерия Модестовна, повестку на завтра, на девять.

Герард встал.

– Я пойду к деду.

– Да что ты все заладил-то: к деду, к деду, как попугай, – в сердцах вырвалось у Мерина, – не помрет твой дед!

Герард подошел к двери, обернулся, сказал:

– Он умер.

И вышел из кухни. Мерин кинулся за ним.

В «композиторских» апартаментах Мерину до сих пор еще бывать не приходилось и теперь, вместе с Герардом оказавшись здесь, в первый момент он испугался: уж не так ли устраивают свой домашний уют привидения? В бесконечном пространстве комнаты, плохо освещенном щелями неплотно задвинутых оконных штор, бесформенными тенями грудились какие-то диковинные, беглому взгляду не поддающиеся определению предметы – шкафы ли, столы или гробы с отворенными в немом приглашении крышками. Воздух был тяжел, сперт и накурен ядовитым запахом лекарств. До полной склепости не хватало паутинок, пауков и летучих мышей.

Мерина неудержимо потянуло на волю. Он прошептал:

– Зажги свет.

Герард щелкнул выключателем и по мановению «лампочки Ильича» в тот же миг все изменилось: и столы со шкафами, и рояль с бронзовыми на нем канделябрами, и даже неопределенного цвета огромные картины в позолоченных рамах, кресла, сундуки, тумбочки – все материализовалось в своем первоначальном виде и обрело свои законные места. А гробы с крышками, слава богу, исчезли. И даже в воздухе заметно полегчало. «И чем бы ни закончился спор о том, кто изобрел электричество, – подумал Мерин, – их ли Эдиссон или наш Яблочков, следует признать, что это есть великое изобретение».

Тело композитора лежало непокрытым на диване в самом дальнем углу комнаты и потому казалось маленьким и жалким. Оно было одето во все черное: носки, брюки,

двубортный пиджак, галстук, и только мятый воротничок рубашки выделялся подобием белизны. Когда Мерин подошел ближе, тело спросило:

– Это ты, Гера?

Следователь московского уголовного розыска по особо важным делам совершил безукоризненное с точки зрения любого балетомана антраша, отпрянув при этом так далеко, как только позволяли размеры «танцзала», а он позволял многое: комната состояла из минимум двухсот с лишним квадратных метров. При этом опрокинутое следователем кресло произвело некоторый характерный для падающего тяжелого предмета звук, и тело приоткрыло глаза:

– Кто здесь?

– Дед, это я, Герард, – откликнулся внук.

– Где Ньюра?

– В больнице.

Ожившее «тело» композитора зашевелилось, привстало на локте, предприняло неудавшуюся попытку подняться.

– Что с ней?! – В его голосе прозвучала неподдельная тревога.

– Она папу в больницу повезла.

– Как вернется – сразу ко мне.

Отдав это распоряжение, он вернул себя в прежнее положение и закрыл глаза.

«Меня или не заметил, или так удачно сделал вид», – подумал Мерин. Он тронул Герарда за плечо, прошептал:

– Ты зачем сказал, что дед умер?

– Так Ньюра сказала.

– Что она сказала?

– Она сказала: «Не отходи от него ни на шаг, а то он умрет». А я отошел.

Говорили они очень тихо, но оказалось, что остроту слухового аппарата престарелый музыкант с годами не утратил. Не открывая глаза, он спросил:

– Вы кто?

– Добрый вечер, Антон Игоревич, – подобострастно поспешил отозваться Мерин, – я следователь из Московского уголовного розыска, занимаюсь произошедшей в вашей квартире кражей...

– Ваша фамилия Мерин?

– Совершенно верно, – удивился Сева.

– Всеволод Игоревич?

– Да, Всеволод.

– Игоревич? – капризно уточнил композитор.

– Игоревич, да. – Он полез в карман за удостоверением.

– Не утруждайте себя, я вам верю, («колдун, – мелькнуло в голове у Мерина, – видит с закрытыми глазами») и не удивляйтесь моей осведомленности – я разговаривал по телефону с вашим начальством, Скоробогатовым Юрием Николаевичем, это он мне сказал, кто занимается ограблением... то есть я, кажется, неудачно выразился... не ограблением, а делом об ограблении. Так правильно? Я обратился к нему с просьбой прислать музыкального эксперта.

Голос композитора-песенника звучал весьма бодро, без старческой усталости, слова чеканились ярко, выпукло и, если бы не гармошка лица, невозможно было поверить, что этого человека страна недавно поздравила «с началом десятого десятка отроду», как однажды по поводу его возраста выразился Анатолий Борисович Трусс.

Мерин застыл в дальнем углу комнаты у поваленного им кресла и, опасаясь быть выгнанным, не выходил из своего укрытия.

– После заключения, сделанного Самуилом Исааковичем Какцем, – продолжил Антон Игоревич Твеленев, – я каждый день жду вашего прихода и теперь, понимая неизбежность интереса со стороны следствия к факту нахождения в моем доме столь уникального

раритета, если позволите, не дожидаясь ваших вопросов, приступлю к удовлетворению вполне понятного любопытства правоохранительных органов. Моя покойная супруга, царствие ей небесное, Ксения Никитична Твеленева, по оценкам многих выдающихся скрипачей, виртуозно для самоучки владевшая инструментом, не концертировала в силу отсутствия высшего музыкального образования, но с раннего детства, доставляя всем истинное наслаждение, играла для родных и близких, в компаниях друзей, на праздничных сходах. Ее знали в Москве и часто приглашали на специально устраиваемые самодеятельные вечера – эдакие корпоративные, как выразились бы теперь, сборища. Играла она на доставшейся ей в наследство от отца старой, разохшейся, дышащей на ладан скрипке, и я, насколько себя помню, всегда мечтал одарить любимую достойным ее таланта инструментом. В 1959 году, 31 декабря – никогда не забуду этого дня – в день ее рождения – ей тогда исполнилось тридцать восемь – мечта моя неожиданным образом осуществилась: на Тишинском продовольственном рынке – я выбирал елку к празднику – ко мне подошел незнакомый, плохо одетый гражданин, попросил отойти с ним в сторону и зашептал на ухо, что находится в крайне затруднительном материальном положении, вынужден прибегнуть к распродаже некоторой части своего имущества и хочет предложить мне за ничтожную по сравнению с ее подлинной стоимостью цену скрипку. На мой вопрос, почему он не делает этого официально через комиссионный магазин, незнакомец ответил, что это слишком длительная процедура, а деньги ему нужны немедленно. Я плохой специалист в области скрипичного мастерства, но не настолько, чтобы не суметь оценить достаточно, как мне показалось, высокое качество предлагаемого мне инструмента: не бог весть что, подумал я, но все же лучше, чем то, на чем играет Ксюша. И решил рискнуть – зашел в сберкассу, снял, надо сказать, немалую для того времени сумму и расплатился с незнакомцем. Вот вся история появления в моем доме этой скрипки.

Антон Игоревич надолго замолчал.

Мерин стоял в своем углу, затаив дыхание – в мозгу неожиданно промелькнула странная, ни на чем не основанная, жутковатая мысль – и показалось, что он присутствует на каком-то бесовском карнавале, где под благообразной маской сидящего перед ним старого композитора скрывается совсем другой человек, рассказывающий заранее сочиненную зловещую, неправдоподобную сказку, опровергнуть которую за давностью лет невозможно. Он терпеливо, боясь неосторожным движением нарушить возникшую напряженную тишину, ждал подтверждения своей догадке.

Наконец недавний юбиляр без видимого усилия поменял позу: он сел, опустив ноги на пол, и с недобрый лукавством глянул на Мерина:

– У вас есть ко мне вопросы?

Конечно, вопросы у следователя были. Вопросов было так много, что задавать их разменявшему «десятый десяток» человеку казалось по меньшей мере глупо и бестактно: во-первых тот имел полное право не помнить всех подробностей столь давних событий и ни у одного суда не могло возникнуть оснований ставить это ему в вину; а, во-вторых, Мерин никогда даже и не предполагал, что возраст может служить подозреваемому такой почти непробиваемой защитой: у него язык не поворачивался задавать сидящему перед ним усохшему, пригодному исключительно для антропологических исследований существу очевидные и необходимые в других подобных случаях вопросы. Да и вступать с этим «существом» в диалог означало бы согласие с выдвигаемой им версией, а она-то и вызывала у следователя большие сомнения.

И неожиданно, как это часто с ним случалось в подобных ситуациях, в виски сильно забили отбойные молотки, лоб покрыла испарина.

... – ... Не могу внятно объяснить – почему, Юрий Николаевич, но для меня вдруг стало почти очевидным, что дяденька, мягко говоря, вешает мне на уши мукомольное изделие...

– Ну а если попробовать «НЕвнятно»? – Голос Скоробогатов дрогнул, выдав с немалым

трудом сдерживаемое им волнение.

Мерину в его бурной ажитации заметить состояние начальника было не дано.

– Не могу, Юрий Николаевич, ни «внятно», ни «невнятно» – никак не могу! Вдруг как по башке ударило: не человек передо мной – черт с рогами, и все тут! Даже страшно стало, честное слово, мурашки по коже: сейчас как встанет, как подойдет, как вцепится... Меня с самого начала мучило: откуда у Марата Антоновича такая патологическая ненависть к отцу? Что это за отношения такие между отцом и сыном? Что должно было случиться, чтобы довести их до такой степени? А тут – яснее ясного: бес передо мной на диване, дьявол, леший, вурдалак, хотя руки вроде без когтей, ноги без копыт, в тапочках...

– Сева, – Скоробогатов произнес имя подчиненного хриплым, сдавленным шепотом, почти неслышно, но Мерин тем не менее осекся на полуслове, как будто в рот ему вставили кляп, – Сева, – повторил он отчетливее, отошел к окну, дрожащими пальцами долго пытался соединить пламя зажигалки с кончиком сигареты, затем, убедившись в тщетности затеянного, спросил, не оборачиваясь: – Ну и как по-твоему: это он убил владельцев скрипки Страдивари?

И тут только до Мерина дошла столь несвойственная для полковника Скоробогатова причина неумения скрыть от посторонних глаз свое внутреннее состояние.

Он вжался в кресло и почувствовал, как все его тело с ног до головы охватил озноб.

Хозяин кабинета вернулся к столу, раздавил в пепельнице незажженную сигарету, положил перед собой сомкнутые до белых костяшек кулаки.

– С тех пор прошло сорок девять лет, Сева. Почти полвека. Я поклялся себе найти убийц. Для этого пошел учиться и работать в милицию. И до сих пор – ничего, ни одной зацепки. Ты понимаешь, что значит для меня это дело?

Мерину вдруг неудержимо захотелось хоть как-то утешить этого на вид угрюмого, хмурого, но такого ранимого, по-детски нежного седого человека, обнять, даже задушить от любви и жалости к нему, но как обнимают отцов, как выражают им свою беспредельную благодарность просто за то, что они есть, живут на свете, всегда рядом, всегда за тебя хоть на смерть, как сыновья утопают в любви к отцам своим, ему узнать в жизни не довелось и лишь сейчас на короткий миг почудилось, что с этим сильным, строгим, а теперь столь нуждающимся в примитивной ласке и дружеской помощи полковником связывают его отнюдь не только профессиональные, но и какие-то несравнимо более прочные, может быть, – подумать страшно – кровные узы.

В своем далеком детстве Сева часто простужался и любимым занятием бабушки Людмилы Васильевны в таких случаях было заставлять внука «показывать горло»: «Ну-ка, открой рот, покажи горло!» – командовала она, больно надавливая серебряной ложечкой ему на язык. Будущий следователь отдела МУРа по особо важным делам люто ненавидел подобную «экзекуцию», ибо при этом всегда возникали тошнотворные позывы и по щекам начинали течь слезы.

Вот и сейчас он с ужасом почувствовал, что к горлу подползает нечто похожее на бабушкину ложечку, а глаза предательски влажнеют. Поэтому он не придумал ничего лучшего, как встать по стойке смирно и глядя в пол произнести:

– Я тоже клянусь, Юрий Николаевич. Клянусь. Разрешите идти.

Полковник повел себя странно: он надавил кнопку приемной, вызвал секретаршу (Валентина, зайдите, пожалуйста), а когда та вошла, глядя на нее удивленно вскинул брови:

– Что вам, Валентина Сидоровна?

– Как?.. – несколько опешила секретарша. – Вызывали...

– Я вызывал?

– Ну а кто же?

– Когда?

– Только что.

– Вот это уже интересно – мы сидим с Всеволодом Игоревичем, работаем...

– Я тоже работала...

– Не сомневаюсь, но я вас не вызывал...

– Вызывали!..

– Не вызывал я...

– Нет вызывали!

– Да у меня свидетель есть, в конце концов. Скажите, Всеволод Игоревич.

Они уставились на Мерина, но тот молчал, и это придало секретарше уверенности:

– Вот видите. Вы меня вызвали, и я вошла.

– Я вижу, что вы вошли, но я вас не вызывал.

– Тогда зачем же я вошла?

– Вот это я и хочу понять.

– Вы сказали: «Валентина Сидоровна, зайдите, пожалуйста», я вошла...

– Вы вошли, да, это мы видим. Только зачем?

– Ну как зачем? – В голосе Валентины Сидоровны послышалась слезная интонация. – Вы сказали: «Зайдите, Валентина», и я вошла...

– А только что вы сказали, что я обратился к вам по имени-отчеству и добавил при этом «пожалуйста». Вы путаетесь в показаниях, Валентина Сидоровна.

– Ничего я не путаюсь, – уголки ее ярко накрашенных губ медленно поползли вниз к поднимающемуся навстречу им подбородку, – я вошла... я вхожу...

– Ну все верно, вы входите, вы вошли, чтобы что?..

Валентина еще какое-то время молча, а потом и вслух пыталась отстоять свою правоту, но в конце концов сдалась:

– Я вошла, я вошла, чтобы... чтобы вы... Не знаю!

– Во-о-от, – обрадовался полковник, – не знаете. А я знаю: вы вошли предложить нам с Всеволодом Игоревичем, зная, что в моем баре шаром покати, по две рюмки коньяка, зная при том, что в вашем баре шары катать не получится – там всегда все есть на случай острой необходимости. Я прав?

Вместо ответа девушка пожала плечами и шмыгнула носом.

– Ну вот видите, как хорошо все и выяснилось: хотели совершить благое дело, но стеснялись об этом сказать. А теперь – мы с удовольствием принимаем ваше предложение и благодарим за удивительную пронизательность. Кру-гом! Шагом марш.

Когда дверь за секретаршей захлопнулась, Скоробогатов строго посмотрел на Мерина:

– Ну что, чистоплюй, трудно было подыграть начальству?

И они оба рассмеялись.

Скоробогатов чиркнул зажигалкой, легко запалил сигаретку и сказал кому-то в пространство:

– Ну вот, теперь другое дело. – Затем повернулся к Мерину: – Давай в двух словах – как закончился визит к «покойнику».

– А покойнику, оказалось, палец в рот не клади, – тоже заметно повеселев, заговорил тот, – спросил, есть ли у нас к нему вопросы, и затаился, молчит. Ну и я – как рыба об лед. Стоим и молчим. Вернее, он сидит, а мы с Герардом стоим. Долго-долго стоим. Наконец, я вижу, что композитор, как-будто даже удручен тем обстоятельством, что меня не интересуют никакие подробности появления в его доме украденного раритета – такая обиженная и недовольная у него физиономия. Ему-то нужно, чтобы я спрашивал, и он выкладывал придуманные заранее ответы, а я стою пень-пнем и ни бум-бум, то есть я хочу сказать – ни слова, как без сознания. Тогда он говорит: «Если вопросов, как я понимаю, у вас не находится, то мне бы хотелось, со своей стороны, не без вашего на то согласия, разумеется, сделать несколько, на мой взгляд, необходимых в наших общих интересах пояснений. Не возражаете?» Я формулировку слово в слово запомнил. Но меня Трусс научил, Юрий Николаевич, если речь подозреваемого, а к тому времени я уже его подозревал, излишне витиевата, то либо он над тобой издевается – тогда надо сразу бить по е... – он запнулся, – по лицу то есть, либо тянет время, обдумывая тактику дальнейшего поведения – в таком случае важно его не спугнуть и дать выговориться. Что я и попытался сделать. Но он оказался хитер

и через непродолжительную паузу повторил свой вопрос: «Нет возражений?» Пришлось мне «очнуться»: «Нет, нет, – говорю, – конечно нет, какие могут быть возражения?» Тогда он говорит: «Ну вот и ладно. – И даже легким поклоном одобрил мою сговорчивость. – Я, – говорит, – тоже думаю, что без уточнения некоторых деталей нам не обойтись. Так вот, очень скоро выяснилось, что приобретенная мною скрипка является уникальным раритетом, имя ее автора ни много ни мало Антонио Страдивари, а исчезновение из государственного поля зрения связано с каким-то тяжким преступлением – чуть ли ни с убийством, хотя средства массовой информации того времени, комментируя событие, сообщали, что инструмент увезен за границу двумя эмигрировавшими из СССР музыкантами. Сами понимаете – после столь небезопасного для нашей семьи открытия речи об использовании инструмента по назначению идти не могло, равно как и не могло быть речи без навлечения на себя смертельной опасности, о возвращении раритета государству: не забывайте – пятьдесят девятый год, кто бы мне поверил».

Замолчал и смотрит на меня, как на поверившего ему идиота из две тысячи восьмого.

– Подожди, друг мой, – перебил его полковник, – ты такую прямую речь закатил, и что, он действительно именно так говорил?

– Так точно, Юрий Николаевич, – покраснел Мерин.

– Слово в слово?

– Так точно.

– Да-а-а. Тогда непонятно, зачем изобрели диктофон?

Дверь кабинета шумно открылась, вошла Валентина с подносом, составила на журнальный столик графин с коричневатой жидкостью, две рюмки, блюдец с дольками лимона, рядом с этим натюрмортом положила конверт. Выпрямилась королевой, твердо решившей расстаться с престолом, и произнесла тоном, от которого во все стороны полетели льдинки:

– Юрий Николаевич, я настаиваю, вы меня вызывали по внутренней связи словами: «Валентина, зайдите, пожалуйста». Если же, как вы утверждаете, мне это причудилось, то...

Скоробогатов не дал ей договорить:

– Валюша, ничего вам не причудилось – я действительно этими тремя словами выразил свое желание немедленно увидеть вас, а потом, сознаю, весьма неудачно, решил скрыть это свое неуместное желание, вот и все пироги. Каюсь и прошу прощения. Прощаете?

Секретарша несколько секунд усмиряла готовые вырваться наружу бушевавшие внутри нее эмоции, затем резко свернула голову в сторону, застыла в этой неудобной демонстративной позе на какое-то время, после чего быстро двинулась к выходу.

Полковник предпринял еще одну робкую попытку примирения:

– Валентина Сидоровна, вы забыли конверт. В качестве закуски он нам вряд ли понадобится.

Но было поздно: дверь кабинета захлопнулась.

– Бьюсь об заклад – в конверте заявление об уходе. Ну ничего, не впервой, отойдет. Давай дальше к нашим баранам.

Не отошедший еще от начальственной похвалы, красный и потный от радости, Мерин затараторил:

– А дальше, Юрий Николаевич, один баран замолчал, смотрит на меня победителем и молчит, а у другого барана, у меня бишь, в висках стучать вдруг перестало и зарубка проявилась: поженились они в 41-м, а возможность «одарить любимую достойным ее таланта инструментом» у композитора появилась только в 59-м, через восемнадцать лет. Как это понять? Если и правда, он «сколько себя помнит, мечтал об этом», что ему мешало пойти в любой комиссионный магазин музыкальных инструментов – там всегда навалом прекрасных скрипок (не Страдивари, разумеется!) – и осуществить эту свою мечту? Восемнадцать лет почему-то терпел игру жены на старой, иссохшейся развалине и на тебе – покупает у первого встречного ханьги на рынке за большие деньги kota в мешке.

Он замолчал в ожидании скоробогатовских комментариев, но полковник, погруженный

в свои мысли, похоже, его не слышал.

– Юрий Николаевич.

Тот поднял на него глаза и долго не произносил ни слова. «Кто ты? И что ты здесь делаешь?» – говорил его взгляд. Мерину сделалось не по себе.

– Юрий Николаевич!

– Да. Что, Сева? – Полковник стряхнул с себя оцепенение.

– Юрий Николаевич, я тоже клянусь. Клянусь! Разрешите идти?

Усталый, седой как лунь, очень старый, сгорбленный человек с великим трудом поднялся из-за стола, подошел к юноше, обняв за плечи, прислонил его к себе:

– Иди, мой мальчик. По-моему, ты на верном пути. Спасибо. С Богом.

Утром следующего дня выяснилось, что повестку о необходимости явиться в прокуратуру на допрос Твеленева Валерии Модестовне вручить не удалось – не удалось застать ее ни в Переделкино по месту проживания, ни в квартире мужа по Тверской 18, квартира 6, по месту прописки. Что же до серебряноборского особняка родителей, то за высокий кирпичный забор нарочного с Петровки короткой, емкой фразой отказался пропустить вооруженный автоматом охранник.

Более того, через секретаршу Валентину, пройдя череду унижений, льстивых улыбок и намеков на чаепитие с «Рафаэлло», под клятвенное обещание неразглашения источника утечки информации Мерин выяснил, что четверть часа назад ее шефу звонил генерал Кулик и в приказном порядке запретил использовать имя Валерии Модестовны в раскрытии преступления, совершенного в квартире на Тверской улице.

Поначалу молодому следователю это известие представилось непоправимой трагедией, равносильной полному прекращению расследования: главный свидетель (исполнитель?) уводился от ответственности, и это означало, что «дело композитора» умышленно, силовым решением какого-то недосыгаемого защитника переводится в разряд очередного «висяка».

Но состоявшееся в тот же день «траурное совещание» возглавляемой Мериным группы все опять поставило на прежнее место: с больной головы ситуация вернулась на здоровые ноги.

И случилось это только благодаря Анатолию Борисовичу Труссу.

А началось «внеочередное экстренное заседание» следователей с ритуального марша Шопена: взявший первым слово Мерин трагическим голосом коротко известил присутствующих о ставшем ему известным (из абсолютно достоверного источника!) пресловутом приказе вышестоящего руководства МУРа, высказал свое паническое к нему отношение и предложил всем принять участие в поиске вариантов дальнейших действий.

Три пары глаз обратились в сторону Трусса, но тот, по всей видимости, восполняя утренний недосып, держал свою пару плотно закрытой.

Слово взял Ярослав Яшин:

– Ну что, по-моему, Сева, ты прав: лбом стену не прошибешь, об этом много сказано и написано – распространяться не буду. Не хотят – их дело, нам не больше всех надо. Одно могу сказать: жаль, много сил ухлопали, да и финиш вроде не за горами – вон даже Ваня брошку какую-то в комиске надыбил, да он сам расскажет, а, в общем, баба с возу – кобыле легче, без работы мы не останемся, думаю, тысячелетия до третьего. Я закончил.

Все опять посмотрели на Трусса, но тот глаз не открывал и даже засопел предхрапово.

Ваня Каждый выглядел расстроенным, и была у него на то причина.

Действительно, накануне ему улыбнулась небывалая удача – в комиссионном магазине одного из удаленных районов Москвы он обнаружил золотую с изумрудами сделанную в виде большой английской булавки брошь, числившуюся среди украденных из квартиры Твеленевых драгоценностей. Имени и адреса заявителя, правда, ему узнать не удалось – приемщик оказался человеком недостаточно законопослушным и согласился за мзду, разумеется, выставить антикварную вещь без оформления необходимых на то документов, но под угрозой провести какую-то часть предстоящего жизненного пути вдалеке от столицы

клятвенно обещал сообщить о звонке или приходе хозяина раритета.

Необыкновенной этой победой Ваня Каждый, справедливо рассчитывая на начальственную похвалу, очень гордился, дешево ее продавать не входило в его планы – ошарашивать соратников по оружию своей удачей он намеревался исключительно в присутствии Скорого, и теперь, когда действительность так некстати готовилась внести в его предполагаемый триумф трагические коррективы, он чуть не заплакал. Даже голос задрожал от обиды:

– Карась на крючке, подсек намертво, снимай и потроши – все расскажет и покажет в лучшем виде. Я же восемьдесят четыре комиски обошел, и что, теперь все коту под хвост? – скорбным полувопросом заключил он свое короткое выступление.

Следователи безмолвствовали. Но не расходились. Похоже, они, не сговариваясь, твердо решили дожидаться пробуждения своего старшего товарища.

И тот – к чести его будет сказано – не разочаровал.

Он открыл глаза, звучно потянулся, и, неспешно переводя взгляд с одного сотрудника на другого, остановил его на Каждом:

– Я начну, если позволите, со вступления. Нет возражений? Скажи-ка мне, Ваня, знаешь ли ты, откуда пошло выражение «коту под хвост»? – И поскольку Ваня долго, не мигая, тупо на него смотрел, продолжил: – Хорошо, поставим вопрос по другому: знаешь ли ты, Ваня, что находится под хвостом у кота?

– Жопа! – решил наглубить расстроенной складывающейся ситуацией Иван Каждый, но не тут-то было: грубость не удалась, оказалось, он попал в самую, что ни на есть, точку и таким образом даже порадовал Анатолия Борисовича.

– Молодец, именно ОНА, хвалю за наблюдательность, для следователя это немаловажное качество. Но при этом должен заметить, что абсолютно то же самое без каких бы то ни было вариаций находится под хвостами у собак, лошадей, коров, кроликов, львов и орлов, рогатых оленей, гусей, пауков... Читал Чехова? Нет? Ну не огорчайся, прочтешь когда-нибудь. Так вот – и у нас с тобой, Ваня, ОНА, как ты простонародно ее назвал, жопа, тоже под хвостом, только со временем хвост этот у тебя атрофировался... это слово понятно?.. Оно означает уменьшение размеров и утрату жизнеспособности некоторых органов вследствие их длительного бездействия, понимаешь?.. Ты им давно не пользовался, Иван, хвостом этим, и он не только атрофировался, но и сменил название на «копчик». И ты не обижайся, не только ты – и я им, сколько себя помню, не пользуюсь, и товарищи наши, хочется верить, тоже. Вот я и думаю: почему же в таком случае предпочтение отдается исключительно четвероногим домашним тварям семейства кошачьих? И не лучше ли, вместо «все коту под хвост», сказать, к примеру, «все Каждому под копчик»?

Соратники выслушали столь необычное вступление своего старшего товарища с неподдельным вниманием не только в силу того, что никто из них не знал ответа на поставленный вопрос, но и потому, главным образом, что надеялись от него самого услышать ответ на один из двух краеугольных вопросов своего Отечества, а именно: «Что делать?» «Кто виноват?» – они догадывались: виноваты бандиты. А вот что делать?..

И соратники не ошиблись в своих ожиданиях – они услышали то, что хотели.

– Я это к тому, Иван Иванович, – Трусс поднялся со своего места, прошелся по кабинету, зачем-то заглянул в коридор, плотно закрыл дверь, – к тому я это, что иногда не зазорно бывает и в говне руки пополоскать, чтобы дробинку найти нужную, и кичиться этим нам с тобой не пристало. Так что сам реши – что себе под хвост, что коту под копчик и дальше в путь-дорогу дальнюю по комиссионкам. У тебя их много осталось-то?

– Навалом, – почему-то обрадовался молодой сотрудник уголовного розыска.

– Ну вот и давай, не тяни, может, еще чего надыбишь. Не каждому, как тебе с брошкой, везет. Поймай, – он хохотнул коротко, – или все-таки Каждому?

– Не каждому Каждому, – Иван расплылся в улыбке.

Трусс посерьезнел.

– Ты вот что – завязывай со своей фамилией. Прямо кличка какая-то воровская. То ли

дело – Трусс. Помню, еще в первом классе учитель физкультуры спросил: «Кто тут из вас Трус»? Я встаю и говорю: «Не Трус, а Трусс, два «эс» на конце». Меня потом долго «дваэснаконец» дразнили. Ну так, все, вечер воспоминаний окончен, прошу тишины, чтобы только шевеление ваших мозгов слышно было.

Анатолий Борисович поставил локти на стол, подпер лоб тремя пальцами, закрыл глаза. Через долгую паузу сказал тихо, как бы самому себе:

– Я не очень понимаю, ребятки, объясните мне, несмышленому, цель нашего сегодняшнего коллоквиума.

Никто не проронил ни слова, напротив, в кабинете стало еще тише, так что неожиданно родившаяся в недрах Ваниного живота долгая, жалобная мелодия прозвучала лязгом проехавшей мимо ржавой телеги. Мерин вздрогнул. Ярослав грозно на него зыркнул. Виновник звука, опасаясь его повторения, согнулся пополам. Трусс предложил:

– Пойди, Ваня, проглоти что-нибудь, на голодный желудок плохо думается. Пойди, пойди, милый, мы подождем.

Иван дернулся было к выходу, но, вовремя глянув на соратников и не обнаружив на их лицах солидарности с труссовским предложением, только глубже вжался в кресло. Анатолий Борисович продолжил:

– Ну так кто все-таки прояснит мне ситуацию – что, собственно, произошло? По ком так мрачно звонит Хемингуэй? И что изменилось со вчерашнего дня? А? Нет, вы не молчите, может, я чего не знаю – поделитесь с товарищем, а то я уж как-то совсем не гением себя ощущаю. Неприятное, доложу я вам, ощущение, непривычное, правда, Ваня?

– Не знаю, – честно признался Каждый.

В коллективе он был новичком и не знал еще, что Труссу во время его монологов на задаваемые вопросы отвечать не обязательно. Более того, лучше всего помалкивать в тряпочку, коли не угодно превращать себя в тренировочную боксерскую грушу. Ваня этого не знал.

– Как это ты можешь чего-то не знать про гениев? – обрадованно удивился Анатолий Борисович. – Кто ж тогда знает? Не скромничай, скромность – прерогатива мудрого начальства... а кто у нас самый главный начальник?

– Скорый. – Не задумываясь, отчеканил польщенный вниманием Иван.

– Ишь куда хватил. Ты еще скажи – Путин. Нет, мил друг, берем чуток пониже, самый главный у нас с тобой начальник – Всеволод Игоревич Мерин, это надо знать, зарубить в мозгу как таблицу умножения. Так вот: скромность – его прерогатива. Тебе понятно это слово?

В данном случае ответить на поставленный вопрос было как раз нужно, причем желательно в утвердительной форме, но Ваня по причине, одному ему известной, слишком долго молчал и тогда Анатолий Борисович пришел ему на выручку:

– ПреРОГАтива, Иван, – это от множественного числа слова «рог»: «РОГА». Запомни это, неровен час – пригодится. Когда, к примеру, на дворе зима, мороз двадцать градусов по Цельсию, холод собачий – уши мерзнут, а ты не можешь надеть на голову шапку – рога мешают. С тобой такое случалось?

– Нет, – подумав, неуверенно признался Каждый.

– Ну и слава тебе, Господи, – Трусс полез в карман за носовым платком, вытер вспотевшие ладони, – гора с плеч, ты меня успокоил. И не дай тебе Бог когда-нибудь столкнуться с этой гадостью – прерогативой. Ты меня понял?

Перепуганный Иван слегка кивнул головой.

– Ну и ладно, с этим покончили. Едем дальше. – Трусс резко вытолкнул из-под себя стул и вновь заходил по кабинету. – Напоминаю вопрос: «Что изменилось со вчерашнего дня и почему вы в данный момент напоминаете кобелей, в первую брачную ночь осрамившихся перед выбранной ими сукой? Сравнение выйдет не «АХ!» каким удачным только потому, что вы не видите себя со стороны. Повторяю: что произошло?!

Иван Каждый открыл было рот: мол – странная непонятливость – Мерин ведь только

что вслух объявил о прекращении по приказу сверху «композиторского дела», но Трусс, сломанной гармоникой скомкав лицо, перебил его на первом слоге:

– Помолчи, Ваня, окажи милость. Вижу – сказать что-то тебя подмывает, но сделай над собой усилие – помолчи, не до тебя сейчас. – В подкрепление сказанного он привстал и повернул свой стул так, что Каждый оказался у него за спиной. – Я в очередной раз задаю свой, мне самому давно уже успевший осточертеть вопрос и настаиваю на ответе: «Что случилось?!»

В кабинете следователей долго висело удручающее молчание.

Трусс всхлипко наполнил воздухом грудную клетку, нарочито громко выдохнул через сложенные трубочкой губы и устало продолжил:

– Ребятки, вы, должно быть, не совсем правильно меня услышали: просьба «помолчать» относится исключительно к нашему новому молодому другу Ивану Ивановичу Каждому, да и то только по причине его очаровательной врожденной словоохотливости, подчас, к сожалению, выходящей за рамки реального течения времени. А посему, в силу всего вышесказанного, а главным образом, дабы настырный интерес мой не выглядел гласом вопиющего в пустыне, то, Всеволод Игоревич, Ярослав Ягударович, – он поочередно отвесил два неглубоких поклона в сторону сотрудников, – если не слишком обременительно: коротко и, по возможности, доходчиво, простыми, не замутненными сложноподчиненностью предложениями, так, чтобы даже нам с Ваней стало понятно: «ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ИЗМЕНИЛОСЬ СО ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ»? – Он придвинул свой стул вплотную к Ваниному, сел и обнял неподвижного от испуга коллегу за плечи. – Пожалуйста, не тяните. Мы ждем. Да, Ваня?

Вместо ответа тот промычал что-то нечленораздельное.

Вновь засвербили по стеклу рвущиеся на свободу пленницы-мухи да еще свирепей очерилась монотонная автомобильная Петровка.

Никто не смел глядеть на часы, но каждый ощущал неумолимость безмолвного течения секунд...

Долго так продолжаться не могло.

И, к чести Ярослава Яшина, следует отметить, что в этот с виду вполне безмятежный, по существу же, до белого каления напряженный момент ему удалось сохранить голову холодной и разум светлым. Он сказал:

– Толь, может, хватит выеживаться?

В последнем слове своего выступления он употребил именно букву «ж», но все, кроме Вани Каждого, без труда догадались, что он имел в виду.

Молодой сотрудник припал к уху продолжавшего обнимать его за плечи Трусса и спросил шепотом:

– Чего он сказал «хватит»?

Анатолий Борисович не удостоил товарища ответом. Он неспешно поднялся, зачем-то еще раз выглянул в коридор, с усилием, гулким стуком захлопнул дверь, кулаки сложил на рабочем столе, преобразив его в трибуну.

– В таком случае я позволю себе высказать несколько предположений и уж не обессудьте, если они кому не покажутся. – Он повернулся к Мерину. – Предположение первое: от неизвестного источника, имя которому – секретарша Скорого Валентина Сидоровна – ты узнаешь о запрете генерала Кулика на использование имени Валерии Модестовны Твеленевой в расследовании нашего дела. О чем это говорит? Это говорит о том, что некий обладатель сильно волосатых лап вознамерился даму сию из-под подозрения вывести. Теперь, Всеволод Игоревич, как на духу пооткровенничай со старшим по званию: сам-то ты, учитывая свою патологическую интуицию, дамочку эту подозреваешь?

– Конечно, и не только – у меня и доказательства... – сорвался с цепи разъяренный труссовским спокойствием Мерин, но тот его осадил:

– Стоп, стоп, стоп, у тебя было время наговориться, ты его просрочил, теперь меня послушай и ответь коротко: да или нет?

- Да тут и подозревать-то нечего, у меня факты...
- Стоп, стоп, стоп, я прошу коротко, только да или нет.
- Да! – смирился Мерин.

– Спасибо. Едем дальше. Ты говоришь – есть доказательства. Прекрасно. Только до времени придется засунуть их какому-нибудь коту в то же самое место, о котором теперь в избытке наслышан наш общий друг Иван. Он даже знает, как оно, место это, называется. Если что – он тебе, надеюсь, его покажет, правда, Ваня? Доказывать никому ничего не нужно: оно у нас есть в наилучшем виде, пусть до поры и косвенное. Как, ты говоришь, по батюшке эту твою красавицу? Модестовна? Очень хорошо, и в этом случае позволю себе предположение второе: обладателем волосатых лап, равно как и автором приказа генералу Кулику не трогать девушку, является не кто иной, как бывший член ЦК КПСС, член бюро, член совета, просто член и т. д. и т. п. Модест Юргенович Тыно, находящийся с подозреваемой Валерией Модестовной – не бог весть какая догадка – в недалеком родстве. Таким образом вместо одной подозреваемой у тебя наклюнулся еще один, да с уже готовой статьей: «укрывательство преступления». Это же подарок Судьбы, за такую щедрость ей подношения делать положено, в ножки пасть, свечи в церкви ставить, а ты нос воротить...

– Так он же ее закрыл, – взревел Мерин, – запер наглухо...

– Стоп, стоп, стоп, я так оглохну. – Трусс ненадолго прикрыл ладонями уши и продолжил вкрадчиво: – Он ее закрыл, а ты открой. Запер? А ты отопри. Нет ключа? Отмычку подбери, ты у нас в этом деле мастак. Отопри, уложи девушку поудобнее и пользуй в свое удовольствие, успевай только позы менять, тут без «Камасутры» скажу тебе, трудно придется...

– Анатолий Борисович! – На этот раз в негромком вопле Севы звучала мольба. – Поймите, он же ее из-под следствия вывел, навсегда, понимаете? Самого главного свидетеля...

– Стоп, стоп, стоп, – майор в очередной раз в зачатке притушил меринское отчаяние. – Давай все по порядку. Кто «он»?

– Как кто?! – опешил Всеволод. – Кулик, конечно, кто же еще?! Он же запретил...

– А ты такой послушный? Такой пайныка исполнительный? А послать его к Ване под копчик?

– Кого?!

– Да птицу эту бздиловатую, кулика этого.

– ??? – Мерин раскрыл рот и долго не мог найти разумных доводов в свою пользу.

На лице Анатолия Борисовича возникло плохо скрываемое разочарование.

– Или ты что, ему веришь?

– Кому? Кулику?

– Кулику.

– Нет, – не раздумывая, бесстрашно, негромко признался Мерин.

– Молодец. А мне?

– Что «вам»?

– Мне ты веришь?

– Вам – да.

– Дурак. Или молодец, что соврал. Верить нельзя никому, запомни раз и навсегда. Правду эту тебе мало кто скажет, так что цени, пока я жив: верить должно только одному человеку на всей планете – себе, любимому, и то не всегда. Ни отцу с матерью – эти из любви обманут; ни бабам, у которых зов плоти и любопытство женское во главе всех углов; ни тем более друзьям так называемым: дружба дружбой, а табачок врозь, не я – умный человек сказал. А уж начальство там всякое – это вообще особ статья: ни на ком пробы ставить негде – все сплошь обманом заляпано, каждый свою шкуру от пуль бережет – иначе не выжить.

Последние слова Трусс проговорил невнятной скороговоркой, как бы снимая тем самым пафос сказанного.

– Ладно, что-то я увлекся очевидностями, простите за такую пошлость. Старею. Так вот, други мои, к нашим баранам: хватит нюнить, смотреть на вас тошнит, ничего страшного не случилось, повторяю: ни-че-го, никаких приказов никакого Кулика мы не знаем, не слышали, не помним, в глаза не видели, забыли... наоборот, случилось неопровержимое подтверждение того, что мы на верном пути, что не зря мы небо коптим, фигуранты намечены нами верно и что многие из них уже взяты за то самое место, которое у Вани Каждого под хвостом, за что честь нам всем и хвала, и, в особенности, разумеется, Каждому Ване вместе с его пока что бесхозной антикварной брошкой.

– Так за ней же никто не приходил еще... – вступился было за себя Иван, но Трусс недобрый взглядом остановил его. Потом сказал беззлобно:

– Когда взрослые разговаривают – дети слушают и молчат. Или играют в куличики. «Не приходил никто», – передразнил он молодого сотрудника. – А если и не придет никто? Так и будешь яйца свои высиживать? Ты хоть одну фотографию этому подонку-приемщику из комиссионки показал? Нет. Почему?

– Чью фотографию? – не унимался Каждый.

– Да хоть свою!! – взорвался майор. – Свою! В профиль и в анфас. Показывал?! Может, он тебя узнает и всего делов, а мы мучаемся. «Чью-ю-ю-у?» – Он нарочито гадко исказил Ванину интонацию. – У нас что, кроме тебя, мудака, мало подозреваемых? А Антон Твеленев? А покойный Каликин с сокурсниками? А полоумный Герард, сын запрещенной дочери Тыно? А ее, мягко говоря, бойфренд, чтобы не сказать е...рь? Их фотографии ты показывал? А ведь сидишь, дыхалку свою курносую чуть не до потолка задрал от гордости: брошку он видите ли нашел! И что?

Трусс замолк, в угрюмой тишине походил по кабинету, сел рядом с Иваном, сказал примирительно:

– И чтобы, пока не родишь чего-нибудь дельного, мы голоса твоего больше не слышали. Лады? Договорились. На чем я остановился? Вернее, на чем ты меня беспардонно перебил?

Каждый ответил не сразу, так что Труссу пришлось его подтолкнуть:

– Ну?

– Я вас перебил на том, что вы взяли какого-то фигуранта за жопу у Вани из-под копчика.

При других обстоятельствах Иваново хамство могло всех развеселить, но не теперь.

Ярослав Яшин только в удивлении вскинул брови.

Трусс реплику молодого сотрудника не услышал.

Мерин поторопился озвучить то главное, что ему удалось вынести из долгих высказываний майора:

– Значит, Анатолий Борисович, я так понимаю: вы предлагаете продолжать расследование, невзирая ни на какие запреты генерала Кулика? Я правильно вас понимаю?

Трусс в любовной оторопи всплеснул руками и качнул из стороны в сторону головой.

– Севочка, будь я твоим учителем, не преминул бы тебя расцеловать, а, может, при этом и прослезился бы. Вот, Ваня, учись, как надо зрить в корень и с полуслова понимать старших товарищей.

– И это несмотря на то, что в таком случае мы неминуемо подставляем под удар Юрия Николаевича? – Не обращая внимание на ерничанье «старшего товарища» жестким фальцетом продолжил Мерин.

Трусс какое-то время смотрел на него, не мигая, при этом выражение его глаз постепенно менялось от умильно-благостного на безнадежно-трагическое. Затем он уронил голову на грудь, глубоко вздохнул и заговорил глухим голосом человека, только что столкнувшегося с жестоким предательством:

– Так, приехали. Выходит, рано я тебя целовал и обливался слезами. Ну что ж, не будем отчаиваться, начнем от печки, как говорится: терпение и труд все перетрут. Ты полагаешь, что, продолжив порученную нам борьбу с ворами и убийцами, мы тем самым подведем под

монастырь любимого всеми, ненаглядного и непорочного нашего Скоробогатова Юрия Николаевича, которому высокое руководство что-то там запретило. Так?

– Ответа не последовало.

– Нет уж, ты, будь любезен, открой варежку-то, совсем уж вопиющего в пустыне из меня не делай. Так или не так?

– Ну так. – Снизолшел Мерин.

– А если без «ну»?! – Было похоже, Трусс разозлился не на шутку. Даже много лет бок о бок работавший с ним Ярослав Яшин вскинул удивленные глаза: это что-то новенькое.

– Не слышу. Так? Или не так? – Анатолий Борисович повторил вопрос почти спокойно.

– Так, – пролепетал руководитель следственной бригады.

– Та-а-к, прекрасно: подведем под монастырь. А НЕ продолжив порученную нам работу, – он жирно выделил отрицание «не», – и тем самым предоставив вора и убийцам для удобства их дальнейших походов зеленую улицу – этим мы нашего святого Юрия Николаевича под монастырь не подведем? Так?

– Нет, не так! – не стал на этот раз отмалчиваться Мерин, – ему запретили, ему Кулик приказал, я знаю, не могу сказать от кого, но точно знаю, как он может выше головы?., если генерал Кулик... если запретили...

– Очень хорошо, – совсем уже спокойно, даже как-то весело подхватил Трусс, – генерал Кулик Александр Остапович запретил себе подчиненному полковнику Юрию Николаевичу Скоробогатову даже упоминать, не то что использовать имя нашего главного фигуранта. Теперь скажи: он что, сам придумал этот запрет? Нет, конечно. На кой ему головная боль. Ему приказали запретить, и он тут же приказал запретить. Хороший поступок законопослушного верноподданного, недаром он молодой генерал, еще пара подобных запретов – будет генералиссимусом. В отличие, кстати, от Скорого, который вдвое его старше и в «эн» раз умнее. Генерал-полковник Тыно приказал генерал-майору Кулику, тот – полковнику Скорому, Скорый – тебе, ты – нам с Ваней и вот с Яшей. Все очень просто: у каждого свои резоны. Дальше цепочку продолжать? Пожалуйста: мы с Ваней и вот с Яшей, как ступеньки на субординационной лесенке самые низшие, ниже не бывает, приказывать нам некому, всех очень внимательно слушаем, со всеми безоговорочно согласимся и, поспав по известному адресу ляжем отдыхать, а проснувшись спозаранку, займемся не тем, что предписано вышерасположенными ступеньками, а тем, что соответствует нашему собственному представлению об исполнении долга (прости за высокопарность, самому противно), а ты, как ступенька из нас самая непонятливая и честная, будешь до окончания века размахивать руками, бунтовать и выкрикивать демагогические лозунги в поиске правды-матки, в то время как ворье будет отмечать свои победы в хороших ресторанах хорошими напитками.

– Скорый мне ничего не приказывал! – выкрикнул Мерин. Справиться с эмоциями ему не удавалось. – И я вам тоже ничего...

– Стоп, стоп, стоп, – опять «застопорил» Анатолий Борисович и теперь это уже прозвучало неким заклинанием, – верно, Скорый не приказывал. И ты не приказывал. Пока. По-ка! Но еще не вечер. Никуда Скорый твой не денется. И ты, мой маленький, тоже. Или обоих принудят написать рапорты по собственному желанию. Третьего не дано. Ты слышал что-нибудь про «оборотней в погонах»? Нет?

Мерин молчал, впившись в него ненавидящим взглядом. Трусс улыбнулся:

– Слышал, конечно. Так вот, мое мнение такое: обидное словосочетание это придумал некий безвестный оборотень в погонах по приказу вышестоящего оборотня в погонах. Других – необоротней – в природе не существует ни в армии, ни на гражданке, ни у нас, ни у них – нигде. Мы все оборотни, тут главное – успеть: кто кого первым обзовет оборотнем, тот и прав, тот и «необоротень». Для спасения себя средств не выбирают: все, что ведет к цели, пригодно. Ваня, – он обратился к подозрительно наострившему уши Каждому, – я понятно изъясняюсь? Нет? Для тебя поясню: Модест Тыно хочет уберечь любимое чадо от лап поганых ментов, законным путем это не получается, и он вынужден «оборотиться»

законопреступником. Молодой генерал Кулик хочет спасти свою большую звезду и должность – как не выполнить преступный приказ, не обернуться приказопослушником? Скорому многолетний служебный опыт не позволяет бороться с ветряными мельницами – этот «оборачивается» мудрым, всепонимающим «нивочтоневмешателем». Другу нашему Ярославу Яшину вообще все до балды, лишь бы не было беды, правда, Яша? Тут уж, как говорится, и говорить не о чем. Ну а мы с тобой, друг Каждый, из всех этих оборотней самые мелкие и гадкие: корысти ради на все готовы с разбегу – и на веру, и на безверье. – И, заметив на лице молодого сотрудника возмущение, уточнил: – Ты, к примеру, зачем начальнику нашему фотографию испортил, глаз подбил, так что его до сих пор узнать трудно?

– Какому начальнику? Когда? – искренне удивился Ваня.

– Как это «какому»? Мерину Всеволоду Игоревичу. Несколько дней назад.

– Какой глаз?

– Правый. Ты ведь у нас левша. Левша?

– Ну?

– Вот те и «ну». Ты повел себя, как «оборотень без погон»: воспользовался случаем и исподтишка за что-то отомстил товарищу. Что молчишь?

– Он мне велел... – пробурчал перепуганный Иван.

– Правильно – «велел», приказал то есть. Он тебе приказал избить ни в чем неповинного человека (чем не приказ мелкого оборотня?), а ты повел себя как оборотень покрупнее: мало того, что незаконный приказ выполнил, так еще и какие-то давние счета свел. Как же ты не оборотень?

– Ну а ты? – Это подал голос Ярослав, больно задетый тем, что про него «и говорить не о чем».

– А я, Яша, оборотень в квадрате, в кубе, если угодно: шага не сделаю, чтобы не обернуться каким-нибудь подонком. Но в отличие от многих я отдаю себе в этом отчет. Я давно, давно понял и на носу у себя зарубил – где, с кем и в какое время живу и как тут можно выжить: верить можно только себе, ненаглядному, и то лишь в тех редких случаях, когда трезвый, и поступать исключительно по своему усмотрению. Так что, ребятки мои, немножко в штанишки наложившие, предупреждаю вас заранее: что бы мне и кто бы, будь то Скорый, Нескорый, Мерин, Недомерин, Перемерин – любой х-й в ступе – что бы мне ни приказывал, я залезу на самую высокую колокольню и оттуда на все их приказы буду долго чихать, до тех пор буду, пока хоть один убийца по Земле ходит – очень уж я их не перевариваю. То есть всю оставшуюся жизнь буду чихать и свое дело делать. Очень уж я их не перевариваю. – Повторил он себя слово в слово. – Совпадает это с чьим мнением – дай бог. Нет – не обессудьте: всех убийц за яйца перевешаю, особенно кто в собак стреляет, и никакие приказы тут мне не приказ.

Анатолий Борисович поднялся, в полной тишине проделал несколько гимнастических упражнений, выглянул в коридор.

– Ну что приуныли, угрозки? Вопросы ко мне будут? Нет? Неужели такое единомыслие? Приятно, не скрою. В таком случае, мне пора пообщаться со старшим Заботкиным, Аркадием Семеновичем, он сегодня из Парижа прибывает, к нему много вопросов накопилось. Яшка, вижу, тоже рвется в дело – ему есть еще кого в университете поопрашивать, там, говорят, с длинноногими моделями недостатка нет, так что пока на убийцу Каликина выйдет, можно и полезное с приятным попробовать соединить. Ване нашему я бы посоветовал надыбить четыре фотографии: Антона Твеленева, Герарда, Федора Колчева – сына писателя Аммоса Федоровича и того же Каликина Игоря Николаевича. Сдается мне – кого-то из этой великолепной четверки приемщик комиссионного магазина должен признать, есть у меня такая пресловутая Севкина интуиция, к которой я в последнее время проникся чувством глубокого удовлетворения. Ну а руководителю нашему Всеволоду Игоревичу что-либо советовать язык не поворачивается, скажу только: и без этой паскуды тыновской скрипочку заморскую ты уже, считай, откопал, теперь важно только в дальний

вожж ее не отпустить. Так что все к лучшему, друга мои, или, как выражается один мой знакомый, в далеком детстве транзитом побывавший в англоязычной стране, все о'кей. – Он уложил в папку разбросанные по столу бумаги, подняв согнутую в локте руку обратился к Мерину:

– Всеволод Игоревич, мы закончили? Можно идти? Я писать хочу.

– Почему вы думаете, что я ее уже откопал? По-моему, еще ой-ой-ой сколько копать, – подойдя к нему, тихо и очень серьезно сказал Всеволод.

– Хороший вопрос, достойный адекватного ответа: почему? По кочану. – Он вышел в коридор, но тут же вернулся, взял Мерина за лацкан пиджака, легонько приблизил к себе: – Ты молодец, Севка, благодарю, радуешь старика, выходит, не зря я тут перед вами лясы точил. – И уже от самой двери бросил: – Вы, мальчишки, особо долго-то тут не засиживайтесь: джинн из бутылки выпущен, он подранок озверелый – тихо сидеть не будет – все свои старые цеховские связи из нафталина вытащит, а это будет посильнее любых фаустов с гётами. Так что чайку попьете, о бабах посудачите – и за дело. Ну, до встречи в российском наградном комитете.

Анатолий Борисович помахал сотрудникам ладошкой и постепенно затихая каблучным стуком зашагал по бесконечному муровскому коридору.

Тошка Заботкина в первый раз в жизни без уважительной причины пропустила школьные занятия. Ей было страшно.

Класса до четвертого ни о каких прогулах не могло быть и речи, потому что все вокруг происходящее ее интересовало: и как подружки по разному одеваются – кто в мини (форму к тому времени уже отменили), а кто в юбках до пола; как сплетничают про мальчишек-одноклассников (все, как под копирку – маленькие, плюгавенькие, сопливые) и как единодушно не признают их авторитетов; как возникают нешуточные стычки с выскочками и в какой атмосфере строжайшей конспирации происходят обязательные в подобных случаях, порой жестокие «обломы» ябедницам и в особенности ябедникам...

Приблизительно с пятого года обучения она с удивлением начала замечать, что некоторые из недавних ненавистных ей изгоев мужского пола вовсе не такие уж и сопливые, некоторые даже очень подтянутые, а, к примеру, Вова Чмырев – вообще выше всех в классе, так что на физкультуре стоит теперь первым, и все девчонки, как по команде, предали забвению обидное прозвище Чмырь и перестали отпускать в его адрес пренебрежительные реплики. Вова же, в свою очередь, самозабвенно и с успехом отрабатывал свою растущую популярность: каждый день и не по одному разу он отмачивал на уроках какие-нибудь «штучки», так что весь класс умирал от хохота, а разъяренные педагоги или выставляли его за дверь, после чего долго не могли привести себя и класс в рабочее состояние, или громко хлопая все той же дверью, покидали аудиторию сами, и поскольку в таких случаях при любом варианте завершения конфликта уроки – частично или полностью – срывались, Вова очень скоро сделался всеобщим любимцем. Теперь пропустить занятия в школе было равносильно добровольному лишению себя немалого удовольствия, редко кто на это соглашался, и потому посещаемость в 5 «Б» переделкинской одиннадцатилетки долгое время приближалась к стопроцентной.

В седьмом классе Тошка надолго слегла. Сначала неизбежные женские преобразования случились трудно, и до смерти перепуганные родные надолго уложили ее в постель. Вслед без передышки на и без того ослабленный организм с двух сторон дыхательных органов навалилось воспаление. Выходила она из передряг не быстро, в школе пропустила первые две четверти и не осталась на второй год исключительно благодаря заботам и вниманию подружек, к которым со временем неожиданно для всех присоединился и Вова Чмырев. Подобная тяга любимца публики к проявлению дружеских чувств не осталась подругами не замеченной, не вызвала с их стороны восторга, и очень скоро после уроков, а часто и вместо оных, на даче Твеленевых он стал появляться в гордом одиночестве и, когда после новогодних каникул выздоровевшая и благодаря стараниям Чмыря ни на пядь не отставшая

от программы постижения «гранита школьных наук», распираемая счастьем Антонина предстала пред ясны очи одноклассников, она не без удивления обнаружила, что «очи» сии откровенно «ясны» лишь у мужской их половины, тогда как подруги радостью не светились, в дальнейшем общения с ней избегали, а временами спасибо, если здоровались. Тошка долго не могла смириться с подобной обструкцией, искренне пыталась понять свою вину, а когда Вова Чмырев в доступной для себя форме прояснил ситуацию: «Дура, их никто не хочет, а тебя все хотят», она с ним, нахалом, раздружились, но страдать по поводу своего изгойства перестала, затаилась и с тех пор не пропускала в школе ни одного занятия, чтобы не доставлять этим гадинам радости.

Так было до тех пор, пока однажды рано утром, она еще спала, в дверь переделкинской дачи несколько раз позвонили долгими, тревожными звонками, так что она вскочила, как ошпаренная, не сразу поняв, что происходит, а флегматик Ху, обычно на звонки никак не реагирующий, не по возрасту реактивно кинулся к двери и залился не свойственным ему злобным твяканьем. Антонина глянула на часы: шесть без чего-то. В доме который день уже никого, кроме нее, не было: дед после юбилея отлеживается в Москве; брата Антона до сих пор эти уроды держат в тюрьме – не звонит и на звонки не отвечает; отец в очередной командировке, в Париже, кажется; мать после инцидента с Лерикиным столовым серебром опять исчезла куда-то без предупреждения и вторые сутки уже от нее ни слуху ни духу; дядька Марат пьет горькую на Тверской, там магазины под боком, а здесь тащись за тридевять земель; Герардик всегда там, где дядька, редко его покидает, никогда почти; Нюра последний раз была в Переделкино на свое столетие, то есть годов пятьдесят тому... Кто еще? Все остальные родственники слава богу разъехались по восвоясям, как только закончились праздничные дедовы застолья... Она провела в этом огромном, со стороны выглядевшим нежилым доме практически всю жизнь и давно привыкла к одиночеству. Это был ее мир, который она любила и ни на что ни при каких обстоятельствах не променяла бы, ее надежная, неприступная крепость и пугаться неожиданностей – посторонних ли звуков, поздних телефонных звонков, приходу незнакомых людей – ей никогда в голову не приходило.

Но на этот раз она испугалась.

Звонки с непродолжительными перерывами повторились несколько раз.

Антонина накинула халатик, спустилась вниз, на цыпочках подошла к двери.

– Кто здесь?

Ху перестал лаять, прислушался.

Ответа не последовало.

– Кто?!

Никого.

Через несколько секунд снаружи послышались шаги: кто-то спустился с крыльца и по асфальтированной дорожке зашелестели опавшие листья.

Антонина метнулась к окошку, упала, со всего маху налетев на тяжелое кресло, охнула, неприлично выругалась, с трудом поднялась на ноги, прильнула к забеленному утренней изморозью стеклу.

Мутная видимость позволила различить уходящую мужскую фигуру в светлом плаще.

Превозмогая боль, она вернулась к двери, нарочито громкими щелчками несколько раз отвела металлическую задвижку, на один оборот повернула в замке ключ.

Собака, по всему, не разгадав хозяйкиного намерения, передними лапами с размаху заехала ей в грудь, сбила с ног, та отлетела метра на три, ударилась затылком все о то же кресло и на этот раз, презрев опасность, взвыла в голос.

В саду тем временем шелест листьев стих, затем стал быстро приближаться и по ступенькам крыльца зашаркали шаги.

Дверной звонок троекратно резанул пространство веранды нетерпеливым скрежетом.

Ху захлебнулся новым угрожающим приступом ненависти.

Антонина подползла к окну.

По ту сторону стекла на расстоянии нескольких метров от нее стоял молодой человек. Он был без головного убора, в бежевом удлиненном плаще, небрежно обернутым вокруг шеи и ниспадающим с плеч темно-коричневым шарфе. На его лице, которое Антонине показалось знакомым, застыла еле заметная улыбка.

– Кто вы? – Она не узнала свой голос.

– Откройте, пожалуйста, и уберите собаку, я их боюсь.

– Кто вы?

– Меня зовут Кирилл.

– А кто вы? – Не утруждая себя разнообразием вопросов, продолжила допытываться Антонина.

– Я по поручению Антона Твеленева...

– Кто вы?

– Я его приятель...

– Когда вы его видели?

– К сожалению, мы только созванивались...

У нее потемнело в глазах.

– Неправда, – испуганным голосом почти прокричала девушка, – он не отвечает на звонки! Кто вы?!

Ей показалось, что «бежевый плащ» за стеклом улыбнулся шире.

– Видите ли, Тоша, через закрытую дверь общаться не очень удобно, да еще под собачий аккомпанемент...

– Откуда вы знаете мое имя?

– Я же вам говорю: Антон Твеленев...

– Как вы сказали вас зовут?

– Кирилл...

– Кирилл, собаку Ху я сейчас уберу, – громко, внятно проговорила Антонина нарочито не делая паузы между именем собаки и местоимением «я».

Это был их с Антоном когда-то любимый, давно забытый трюк. Щенка ему подарили на семилетие – в том возрасте, когда все новые школьные и старинные дворовые приятели находились под властью гипноза крепких, непечатных, доселе незнакомых, запретных и потому столь манких слов и выражений. Между собой они с завидным постоянством и не без удовольствия выражениями этими пользовались, бравирюя друг перед другом знанием разнообразия «великого и могучего» русского языка, а вот взрослое окружение, по непонятной причине, их увлечения не разделяло. Поэтому высшим шиком считалось использование «ужасных» слов в присутствии учителей, родителей или – самое увлекательное – в присутствии родительских чопорных гостей-пуританов. Тогда-то Антону и пришла в голову мысль назвать собаку этим необычным именем – Ху: теперь он мог, не рискуя быть выгнанным вон, посреди многошумного взрослого застолья громко заявить: «Ни Ху я не вижу, ни Тошки». И добавить в наступавшей после этого испуганной тишине: «Где они, Ху и Тошка?» Дамы в таких случаях, как правило, открывали рты и устремляли полные вопросительного ужаса взоры на Надежду Антоновну, которая в стремлении снять неловкость часто ее усугубляла, говоря: «Это щенок Ху и больше ничего. А почему Ху – я не знаю», после чего многие из присутствующих пуританок жаловались на позднее время и спешно уводили мужей восвояси.

Со временем, когда Антонина подросла, двоюродный брат и ее заразил этой потехой, и они частенько шокировали интеллигентствующих представителей переделкинского бомонда диалогами, типа: «Тоша, что-то Ху я не вижу», – обеспокоенно говорил брат, и сестра отвечала не менее озабоченно: «Антон, где Ху, и я тоже не знаю».

С годами шутка эта потеряла остроту, многие притерпелись, «изюминка» не срабатывала и о ней благополучно забыли.

И вдруг – неожиданно всплыло.

– Кирилл, собаку Ху я сейчас уберу.

Если «бежевый пиджак» не знает, как зовут собаку Антона, то это никакой не Кирилл, а вовсе Ху его знает кто.

Это был хитрый ход. Хитрее в тот момент она ничего придумать не смогла.

И, как ни странно, подсечка удалась лучше всяких ожиданий: молодой человек поперхнулся излишне резко набранным в рот воздухом, долго, беспомощно, как телевизионные журналисты тянул букву «э», прежде чем начать говорить, и, наконец, вежливо поинтересовался.

– Э-э-э-эээ, простите, что вы сказали?

– Я сказала: «Ху я сейчас уберу».

– Зачем же так грубо? – после короткой паузы обиженно произнес «Кирилл». – А мне говорили, что вы интеллигентная девочка. Ошибка вышла. Ладно, до лучших времен. Не прощаюсь.

Он молча постоял у двери, затем снова послышалось шуршание листьев, и все стихло.

Антонина с трудом подняла злосчастное кресло, села, холодными ладонями попыталась успокоить готовые взорваться виски.

Ху замер у двери, прислушиваясь, время от времени поглядывая на хозяйку, затем подошел, лизнул ее ногу: все в порядке, ушел, можно идти досыпать.

Она пригладила взъерошенную шерсть собаки.

– Молодец, мальчик, хороший, умница, успокойся – мы его перехитрили, да? Нас не обманешь. – Пальцы ее дрожали. – И не испугались нисколько. Правда? Кто это был, как ты думаешь?

Вместо ответа пес уткнул сухой, горячий нос ее в плечо, круглые глаза его были полны раскаяния и упрека: он не знает, кто это был, но то, что никакой он не друг Антона, готов отдать голову на отсечение. «Прости, я не хотел причинить тебе боль, так вышло, но и меня можно понять: ты ведь собиралась его впустить».

Решение пришло неожиданно и показалось настолько очевидным и естественным, что Антонина, преодолевая боль в ноге, с неистовой поспешностью ринулась претворять его в жизнь: она доковыляла до ванной комнаты, плеснула в лицо горсть холодной воды, натянула на себя майку, джинсы – с ними пришлось повозиться: распухшая коленка не хотела пролезать в штанину, сунула ноги в кроссовки. Все! Ни о какой школе не может быть и речи – только в Москву. В Москву, в Москву, в Москву – причитали чеховские сестры, связывая, очевидно, с этим городом единственное для себя спасение. А ведь к ним в дом в столь неуточный утренний час никакой «друг» проникнуть не пытался. И ночью с балкона никто не падал и никаких продолговатых предметов, завернутых в черные тряпки, не утаскивал. И никто после этого, той же ночью, преследуя какую-то наверняка недобрую цель (иначе зачем ночью-то?), в их дом не ломился. (Она, ей показалось, несмотря на темноту вроде бы узнала «злоумышленника», но ни с кем не поделилась своей невероятной догадкой: засмеют.) У тех сестер все было ОК: и мужья, и любовники, и ухажеры, и родной брат, Андрей, кажется, с женой и нянькой под боком, чего бояться? Ан поди ж ты: в Москву, в Москву... А тут – кричи не кричи...

Ни на что не надеясь, она еще раз второпях, на всякий случай, поперебирала номера телефонов всех своих родственников и знакомых (только слабоумному следователю Мерину – ни за что: много чести), последнему позвонила дяде Марату – это уж совсем глупо, не иначе как от отчаяния: спяну-то в такую рань вряд ли проснется, – и вдруг в трубке раздался незнакомый голос.

– Да.

Это еще что за новости? В голову больно застучали молотки.

– Кто это? – робко спросила Антонина.

– Слушаю.

Голос хриплый, старческий, еле слышный. Дед? Исключено: она набрала кабинет Марата, поэтому дед отпадает – нет врагов смертельнее...

– Это квартира Твеленевых? Алле, квартира Твеленевых?

– Ну?

– Ху.

– Верно, – она в кокетливом изумлении захлопала в ладошки, улыбнулась, – видите, даже вы знаете. Я же говорю – все Переделкино... Меня Тоней зовут. Можно Тоша, если хотите. Это Антон придумал.

Водитель молчал.

– А вас?

– Что?

– Вас как зовут?

– Кирилл.

До этого момента ничего, кроме черных расплывающихся кругов, Антонина перед собой не видела.

Теперь она резко всем корпусом повернулась в сторону водителя, сощурила глаза и...

Сердце в последний раз больно ударило в грудь и остановилось. По спине постепенно забирая все тело поползли мурашки.

Рядом с ней за рулем автомобиля сидел молодой человек в светлом плаще, без головного убора.

– Что, не узнала? – Он приветливо улыбнулся. – Тот самый, как ты выразилась, «кретин» и «подонок», которого вы вдвоем с Ху так лихо перехитрили. А теперь без всякого Ху я обманул тебя. – Он нарочито сократил паузу между местоимением «я» и собачьей кличкой и весело расхохотался. – Никогда не позволяю себе грубости при женщинах, но тут иначе не скажешь.

Какое-то время они ехали молча. Наконец Антонина спросила еле слышно:

– Кто вы?

– Я же тебе сказал – друг Антона.

– У Антона нет такого друга, – упрямо замотала головой девушка, – и никогда не было.

– Какого «такого»? – в голосе Кирилла прозвучала обида.

– Остановите машину! Слышите? – Она вцепилась в его руку, пытаясь оторвать ее от руля. – Сейчас же остановите! Я сообщу в милицию! Слышите!? Слышите!!

Молодой человек убрал с лица улыбку, ткнул ее в грудь так, что она влетела головой в боковое стекло, сказал сквозь зубы:

– Да я-то слышу, не глухой, а вот ты, если будешь себя так плохо вести, скоро слышать перестанешь. Сиди спокойно, пока я добрый, не сердь меня. Лучше по сторонам в окошко смотри да запоминай – красивые места проезжаем, будет что на том свете друзьям рассказывать. – Он оторвал взгляд от дороги, повернул к ней голову, опять широко улыбнулся, подмигнул лукаво: – Не бойсь, я тебя не трону, хотя, не скрою, и не прочь бы, яйца с утра на тебя ноют: больно уж ладно тебя для этого дела скроили. Но мне другая задачка задана: доставить. Так что потерпи, с другим кувыркатся будешь, я думаю, он с тобой без этого не расстанется.

Последних слов Кирилла Антонина не слышала. Сознание ухватило лишь «на том свете друзьям рассказывать», а все дальнейшее растворилось в каком-то мертвом безмолвии, как будто этот самый «тот свет» уже наступил, приковал ее, еще живую, к креслу автомобиля и ни звука улицы, ни шума мотора, ни слов, извергаемых открывающейся пастью водителя, она не слышала.

Как – «на том свете»? Почему, собственно, «на том», а не на этом? У нее и на «этом» еще масса нерешенных проблем, кто же за нее их решит? Надо узнать, что в Москве случилось, почему Нюра рыдала. Не дай бог... Надо вытащить из тюрьмы Антона. А собака? Она убежала – даже еду ему не оставила. И вообще – ей шестнадцать скоро, родители обещали не зажать, отметить, надо список гостей продумать, с этим идиотом Мериным надо мириться, а то ведь он, чего доброго, и от приглашения откажется, идиот... Нет, на тот свет ей никак невозможно...

– Я закричу сейчас, – сказала она очень доверительно, – остановите машину, я закричу,

слышите, слышите, вы меня слышите? Вы что, меня не слышите? Я закричу, слышите?! Вы не слышите?! – полным отчаяния шепотом она сомнамбулически продолжала проявлять недоверие к его слуховым возможностям. – Вы меня не слышите?..

Водитель сбавил скорость, выпростал в сторону правую руку, накрутил на нее прядь длинных рекламных волос девушки и несколько раз ткнул ее головой в мерседесову «торпеду».

Голова тут же разделилась на две неравные части: одна, после удара, отчаянно, как выработавшая положенный ей ресурс кофемолка, загудела, задребезжала, взорвалась яркой прощальной вспышкой и перестала существовать, другая же, несоизмеримо меньшая, ничтожная, едва осязаемая, взвалив на свои плечи всю тяжесть последствий за принимаемые решения, свернулась многосильной пружиной, сжалась, отпустила вожжи и яростным скрежетом ринула Антонину в неравную схватку за жизнь.

Она несколько раз, всей своей шуплой статью ударяясь в дверцу автомобиля, попыталась ее вышибить, а когда тщета этого безумства сделалась очевидной, когда внутри ломкого плечика ее что-то бесшумно сдвинулось и парализующая сознание боль пронзила спину, она последним сохранившимся в памяти усилием воли уперлась ногами в эту проклятую, отделяющую ее от спасения преграду и с остервенением раненой рыси бросилась на водителя. Тот, не готовый к подобной прыти, охнул, выпустил из рук «баранку», машина в бешеном восторге свободы понесла седоков вышедшим из повиновения жеребцом, заюлила, завертелась на скользком утреннем асфальте, вонзилась лакированным носом в нехстати возникшую на пути вековую липу, отлетела, вздыбилась над землей своим некогда совершенным туловищем и шумно затихла уродливой грудой покореженного металла, испуская предсмертный дым в грязной придорожной канаве.

Может быть, она с истечением времени даже взорвалась, одарив напоследок округу изумительно ярким всполохом высокооктанового горючего...

Возможно, кому-то посчастливилось заснять это необыкновенное зрелище на мобильный телефон и поделиться своей удачей с каналом НТВ для программы «Чрезвычайное происшествие», дабы поддержать ее хиреющий рейтинг...

Может быть, местная шантрапа расхватает, разнесет по своим сусекам не остывшие еще, испачканные человеческими фрагментами сохранившиеся фрагменты автомобиля, а, возможно, останки знаменитой автомобильной марки долго еще будут осквернять изумительный подмосковный пейзаж напоминанием о произошедшей здесь трагедии...

Мало ли, что может быть. Все возможно.

Вот только неполных шестнадцати лет, белокурая, не познавшая счастья любви Тошка Заботкина ничего этого уже не узнает.

«Внимание встречающих, вылет рейса 53/47 Париж – Москва откладывается на неопределенное время в связи с забастовкой авиадиспетчеров. О дне и времени вылета рейса будет сообщено дополнительно. Повторяю...»

Анатолий Борисович Трусс сидел в уютном кафе международного аэропорта Шереметьево уже больше часа, самолет должен был приземлиться сорок минут тому назад, а он, оказывается, еще даже не вылетал! И сообщили об этом только сейчас, да еще таким омерзительным голосом! Интересно, как эта баба разговаривает в постели с любовниками? Неужели так же: «Внимание вставляющего, о времени введения будет сообщено дополнительно»? Свят, свят, свят, эдак ведь всякое желание «вставлять» иссякнет.

Он допил пиво, обратился к официанту:

– Старик, тебя как зовут?

– Анатолий, – услужливо откликнулся молоденький парнишка в многоцветной униформе а-ля рюс.

– Анатолий? – удивился Трусс. – Это хорошо. Это красиво. Тогда так, Анатолий, слушай меня внимательно, на тебя ложится большая ответственность, мы с генералом ФСБ Прониным посоветовались, решили тебя привлечь к заданию. Ты ведь в учениках пока?

– Так точно, учусь, практику прохожу. – Анатолий на всякий случай принял стойку «смирно».

– Ну вот, справишься – буду говорить о переводе тебя в штат старшим смены. – Трусс достал муровское удостоверение, махнул им перед носом Анатолия. – Вот моя ксива, вот номер моего мобильного. Ты сегодня до которого пашешь?

– До утра, в шесть сменяюсь.

– Значит так: до шести ноль-ноль ты внимательно слушаешь все объявления, касающиеся рейса 53/47 Париж – Москва и как только что-то прояснится – тут же звонишь мне: так, мол, и так, вылетел, не вылетел, задержан, не задержан, перенесен, не перенесен... Сечешь? В шесть сдаешь вахту сменщику, его как зовут?

– Люба.

– Лю-ю-ба, – протянул недовольно Анатолий Борисович, – это хуже, она у тебя хоть чего сообщает?

– Вроде... – неуверенно предположил официант.

– Ладно, я выясню. Значит, разъясняешь Любе задание, оставляешь мой телефон и не дай бог она что перепутает...

– Может, мне вместе с ней, так сказать, проследить? – Официант, похоже, был готов к подвигу.

– Ну это уж ты сам решай, Анатолий, ты ответственный, мы с генералом Прониным это дело тебе поручили. Давай пять. Жду звонка.

Он встал из-за стола, пожал холодную руку переполненного ответственностью паренька, вышел на вокзальную площадь и направился к машине.

Проклятые французские авиадиспетчеры сломали ему весь намеченный на сегодня план. На блиц-криг с Заботкиным он не рассчитывал: картежные шулеры – народ ушлый и потому опасный: у этих всегда, на все случаи жизни готов победный туз в рукаве. Конечно, майору Труссу тоже палец в рот не клади, есть в застывшем несколько весомых козырьков, против которых, как говорится, хрен куда попрешь – прижмут к стенке так, что и пикнуть не успеет, взять хотя бы парижскую запись беседы братьев-разбойников, но уши тем не менее надо держать очень остро, чтобы козырьки эти не оказались битыми: любой приличный адвокат за не менее приличное вознаграждение возьмется доказать, что пленка сфальсифицирована и к фигурантам никакого отношения не имеет. Есть и другие фактики, помельче, но Анатолий Борисович, хлебом его не корми, любил работать как минимум с бомбой в кармане, а вот ее-то как раз и не было. Поэтому все дальнейшие планы на сегодняшний день зависели от степени «задушевности» и в конечном итоге результативности беседы с Аркадием Семеновичем, на которую майор делает большую ставку: разузнать надобилось очень многое, работа предстояла многотрудная.

А тут эти – неба им век не видеть – авиадиспетчеры.

Анатолия Борисовича Трусса, майора Московского уголовного розыска отдела по особо важным делам никак нельзя было отнести к поклонникам борьбы трудящихся земного шара за свои права, нет, ни в коем случае: все эти митинги, сходки, демонстрации недовольства он почитал за коллективную трусость, стыд и неумение постоять за самого себя. Массовок он не любил и не доверял им. Во всех этих бунтующих толпах каждый прячется за спину другого, перекладывает ответственность за последствия неповиновения на чужие плечи, и только немногие «смельчаки-недоумки», спровоцированные прикормленными властью профсоюзными лидерами, впадают в раж, кидают в воздух заранее припасенные кирпичи трясут транспарантами и выкрикивают заученные лозунги, отработывая доверие старших товарищей, взирающих на «плоды рук своих» из мягких кресел в вечерних новостных телевыпусках.

Другое дело, если где-то, когда-то случалось какому-нибудь вышестоящему руководителю откровенно попать свои, законом установленные обязанности, его голос протеста никогда не был тише и незаметнее остальных голосов. Более того, он весьма умело создал себе в МУРе репутацию человека с «особо опасным чувством справедливости» (что

во многом соответствовало действительности), так что многие предпочитали без крайней необходимости с ним не связываться – ну его к черту.

А уж если кто вставал поперек его дороги в моменты разработки и поимки преступников – тут уж Майоровой ярости и готовности пуститься во все тяжкие за правое дело не было границ.

В данный момент врагом номер один для него являлся профсоюз французских авиадиспетчеров с его хамской потугой решить материальные проблемы своих членов в ущерб российским правоохранительным органам. И будь на то его, Трусса, воля – он бы всех этих картавых уродов выдворил из профессии пожизненно. Подонки! Зарплата их, видите ли, не устраивает! А то, что из-за них могут погибнуть невинные люди, кто-то не успеет на операционный стол, кто-то не проводит любимых в последний путь, не услышит долгожданный крик мертвым родившегося ребенка... Это как!?

От проклятий в адрес французских диспетчеров его отвлекло дребезжание мобильного телефона.

Несколько минут он молча слушал взволнованный голос в трубке, затем спросил:

– Когда это случилось? – Через короткую паузу распорядился: – Ладно, копай дальше. – Отключил связь, завел двигатель, вдавил до предела педаль акселератора.

«Жигуленок» взревел трубным отчаянием, подпрыгнул и во всю отпущенную ему Волжским автозаводом мощь ринулся в направлении столицы.

В голове Анатолия Борисовича Трусса, обгоняя автомобиль и друг друга, неслись три, не бог весть какие богатые мысли. Первая: начался отстрел участников ограбления квартиры композитора Твеленева. Вторая: если Антона Твеленева не выпустили из предварилки, его еще можно застать в живых и спасти для следствия. И наконец, третья – как же неумолимо связано все вокруг невидимыми нитями на этой странной планете Земля: не забастуй сегодня гребаные авиадиспетчеры у себя на родине, прилети самолет с Заботкиным вовремя – еще как минимум двух трупов в другой части европейского континента вряд ли удалось избежать. Молодцы французы, умеют постоять за свои права. А то, что картавят, – не беда, вон англичане – букву «с» нормально выговорить не могут, шепелявят – и ничего, живут.

Теперь вся надежда на гордость отечественного автопрома – лишь бы не заглох мотор.

Иван Каждый с первых же дней работы в МУРе стремился во всем подражать майору Труссу и, по свидетельству многих, весьма преуспел в этом немалотрудном занятии. Неспешная походка вразвалочку а-ля «морской волк», вялая, безынициативная, нарочито усложненная дееспричастиями речь с неожиданными эмоциональными взрывами, насмешливая снисходительность в отношениях к сотрудникам и в особенности к сотрудницам – все это и многое другое: манеру сидеть нога на ногу, подпирая лоб тремя пальцами – большим, указательным и средним, манеру слушать собеседника, наклонив голову в противоположную от него сторону, манеру неожиданно громко смеяться без всякого на то повода и хранить на лице грустную умудренность в моменты общего веселья – все это Ваня освоил в короткие сроки и пользовался приобретенным плагиатом без видимого стеснения. Единственное, чего ему никак не удавалось достичь, – это той незамедлительной тишины и того благоговейного внимания, которые наступали всякий раз, как только Анатолий Борисович даже не открывал еще, а только собирался открыть рот. Ваня старательно, но, увы, безрезультатно работал над этим своим пробелом, много думал о причине неудачи, страдал ужасно, но время шло, а проклятые тишина и внимание при открывании им рта никак не наступали. Более того, часто создавалось впечатление, что многие только того и ждут, когда он его закроет. Это обстоятельство долгое время обижало Ваню, пугало даже – почему так?! – и как-то, вконец отчаявшись разгадать эту шараду, он рискнул поделиться своими страданиями с кумиром и получил неожиданный, но в итоге оказавшийся вполне результативным совет: «Старик, веди себя, как бандит на допросе: говори, только когда спросят». Он отдал дань остроумию майора, но ради смеха утрудился претворить странный совет в жизнь при первом же подходящем случае и с удивлением

обнаружил, что его, Ивана Каждого личное мнение, оказывается, кого-то интересует. После этого авторитет Анатолия Борисовича Трусса взлетел в его глазах на невидимую с Земли высоту и каждое роняемое им слово воспринималось как миссионерское предначертание. Неудивительно поэтому, что, получив от своего божества конкретное задание, он уже через несколько часов входил в знакомый ему комиссионный магазин с четырьмя фотографиями в кармане.

Приемщик, немолодой человек, скорее тщедушного, чем скромного, телосложения, в ладно скроенном черном костюме и с начинающейся на затылке пышной шевелюрой встретил Ивана как любимого внука. Он широко расставил руки и со словами: «Ну, наконец-то!» – вышел к нему навстречу из-за разделяющей крохотную комнатку надвое стеклянной конторки.

– Прошу, прошу, милости прошу, сюда, пожалуйста, – он указал на массивную дубовую дверь, ведущую, по всей видимости, в святая святых данного заведения и громко крикнул: – Маклаша, выйди, деточка, в приемную, ко мне пришли. Поздоровайся, солнышко, это молодой человек из московского уголовного розыска, я тебе о нем много рассказывал.

– Здравствуй, – холодным южным акцентом обозначилась в дверях тучная черноволосая женщина, заполонив собою, по меньшей мере, половину приемной. По внешнему облику она могла сойти и за жену, и за дочь хозяина чужих драгоценностей.

– Знакомьтесь, моя младшенькая от старшего сына, Маклавочка, радость наша. Умница и, как видите, красавица. Учится на пианистку. Если не торопитесь, она вам ноктюрн Баха исполнит. Солнышко, ты освоила Баха?

– Нэт. – Басом остудила Маклавочка дедушкин пыл.

– Ах, – очень искренне испугался хозяин комиссионного магазина, – а я, дурак, хвастаюсь. Тогда, может быть... – он, видимо, хотел предложить гостю еще что-то из Маклавочкиного репертуара, но та его опередила.

– Ничего не буду.

Дедушка суетливо захихикал, понимающе закивал головой, поясняя гостю знаками, мол, творческие люди ни шагу без вдохновения, а я со своим свиным рылом в ее хрупкий калашный ряд...

Ивану Каждому Маклавочкин гонор не понравился: никакого Баха он, конечно бы, слушать не стал, но зачем вести себя так по-хамски, корова толстая. Вслух он произнес голосом и манерой Анатолия Борисовича Трусса:

– Если вы полагаете, что я пришел сюда слушать музыку, то должен вас разочаровать: этим делом я занимаюсь в консерватории. У меня к вам, Иосиф Анзорович, несколько вопросов.

– Да, да, конечно, я понимаю, прошу, прошу, – он услужливо распахнул перед Иваном массивную дверь, глаза его округлились, лицо приняло испуганное выражение, – прошу, здесь нам будет удобнее. – Руки его слегка дрожали.

Они вошли в большую комнату, до потолка заставленную антикварной мебелью.

– Я весь внимание, – сказал хозяин магазина, усаживая гостя на хлипкий с тонкими ножками, на первый взгляд непригодный для использования по назначению диванчик. – Все, что могу и что знаю – как на духу.

– Скажите, Иосиф Анзорович, интересующий нас с вами человек не объявлялся?

Приемщик от обиды только что не заплакал.

– Господи, как можно, что вы такое говорите, да если бы... неужели вы допускаете мысль, что я тут же бы... незамедлительно... в ту же секунду... если бы... как можно?... – И, уловив на лице молодого человека плохо скрываемое нетерпение, заключил: – Нет, не объявлялся.

– Вы бы могли описать его внешность?

– Внешность? – не сразу понял Иосиф Анзорович. – А-а-а, как он выглядел? Разумеется, сейчас. Молодой, если и старше вас, то ненамного, вашего роста, то есть выше среднего, если мне не изменяет память, то волосы, как и у вас, прямые, темные, очень худ, в

смысле худой, как и вся молодежь, как и вы, лицо ваше, славянской национальности...

– А на носу у него бородавка? А на щеке другая? – Манеру щеголять цитатами из классиков Каждый своровал у того же Трусса.

Приемщик изделий из драгметаллов, по всей видимости, особо глубоким знанием пушкинского наследия не отличался, потому как тут же искренне признал, что по поводу бородавок ничего сказать не может – не обратил внимания, уж не обессудьте.

– Да ладно, чего там, не обессуджу, – с выражением усталого превосходства на лице пообещал Каждый-Трусс, – вы мне вот что скажите: кто из этих молодых людей вам знаком?

Он разложил аккуратным веером на кружевном ломберном столике четыре фотографии и с надеждой заглянул в глаза послушно склонившемуся над ними Иосифу Анзоровичу. Больше всего ему хотелось, чтобы старый воришка никого из этой четверки не признал: Ваня, конечно же боготворил своего кумира, но кому не радость оттого, что и на Солнце есть пятна: приказ Трусса заподозрить в краже на Тверской близких родственников композитора и их знакомых с самого начала показался ему явным неучетом здравого смысла.

Продавец чужих ценностей тем временем, привычным жестом воздев очки, видимо, за ненадобностью на лоб долго поочередно подносил фотографии к самому своему носу, как бы их обнюхивая. Он с первого же взгляда узнал на одной из них владельца дорогой броши. Он отлично понимал, что в его интересах, если, конечно, не хотеть потерять бизнес и остаться без лицензии, а такая опасность была вполне реальной, в его кровных интересах угодить сыщику. Но и неизбежность ужасных, необратимых последствий в случае чего не позволяла выбрать правильное решение, а немалый жизненный опыт подсказывал, что торопливость в данном случае – не самый лучший союзник. Он тянул время, клял себя последними словами за жадность – оформление заказа без соответствующей документации сулило немалый куш, но единственно верный ход, гарантировавший если и не выигрыш, то хотя бы ничейный результат в этой столь неудачно складывающейся для него партии предательски не возникал в опытной голове бывалого шахматиста.

– Я что, должен кого-то из них узнать? – Таким вопросом Иосиф Анзорович наконец прервал затянувшееся безмолвие.

– Что значит «должен»? Можете. Если узнаете – хорошо, зачтется. Нет – нет.

– Что «нет»? – приемщик кивком головы привычно стряхнул очки со лба на переносицу, испуганно уставился на Ивана.

– Нет, значит, не зачтется, только и всего.

– И что не зачтется?

– Да ничто. Ничего не зачтется. Разойдемся и все дела. Делов-то! – Он вынул из рук Маклавиного дедушки фотографии, убрал в портфель.

– Понятно. И кого я должен узнать?

– Опять «должен»! – разозлился Иван. – Чего узнавать, если тут нет его? Нет – и не надо. Объявится когда-нибудь. Все. – Он протянул комиссионщику руку, попытался приободрить вконец поникшего старика. – Придет, придет, никуда не денется, такие деньги. Кстати, за сколько вы договорились-то?

– Есть, – совсем невпопад сказал вдруг Иосиф Анзорович, но Иван его понял.

Иван вновь сел на шаткий диванчик.

Раскрыл портфель.

Протянул приемщику комиссионного магазина фотографии, скомандовал:

– Ну?

Тот дрожащими пальцами выбрал из них одну, бросил на кружевной антикварный столик, прошептал:

– Пожалуйста, не выдавайте меня. Очень вас прошу. Меня убьют.

Антон Игоревич Твеленев вот уже несколько последних лет боялся засыпать.

Днем, утром, вечером – в любое время суток, кроме ночи, он, несмотря на более чем серьезный возраст, чувствовал себя бодро, не уставал возводить хвалу Господу за отменное

здоровье и ни с кем не делился этой своей благодатью, опасаясь сглаза. Напротив, умелые его старания заставили окружающих композитора родственников искренне уверовать в его мученическое доживание отпущенных дней, жалели, прощали капризы и не могли знать (и даже не догадывались) о плачевной судьбе неисчислимого количества выписываемых ему лекарств, которые с тайной регулярностью утоплялись «бедным, больным дедушкой» в унитазе. Зачем отравлять себя всевозможными медикаментами, если ничто не болит, а от добра, как известно, добра лучше не искать.

И все бы ничего, не возникай время от времени неизбежная необходимость погружения себя в состояние сна.

А вот как раз этого-то Антон Игоревич не любил и боялся больше всего на свете. Не было еще случая, чтобы ночами не являлись ему всевозможные кошмары, после которых он всякий раз просыпался в холодном поту и уже до рассвета не мог сомкнуть глаз. Куда только ни обращался доведенный систематическими бессонницами до отчаяния композитор, к каким мировым светилам ни обращался за помощью – все впустую: ночь, очередной кошмар, судорожное пробуждение, холодный пот по всему телу, мучительная бессонница... И никто не может спасти его от этой разрушающей тело и душу напасти, никто не удосужится прекратить, прервать или хотя бы предать элементарному толкованию эти уродливые, подчас кровавые ночные наваждения. В космос летаем, на Луне вот-вот отпуск проводить начнем, есть в конце концов Всемирная паутина – нажмите кнопку, если самим не можем, в Интернет загляните... Нет! «Толкованию не подлежат!» Чушь это на постном масле. Любое сновидение (и в этом Антон Игоревич не сомневался ни на минуту) – не что иное, как насильственный возврат сознания в пережитое прошлое, далекое ли, недавнее – неважно, чаще всего до неузнаваемости видоизмененное прошлое, часто перенесенное во времени и пространстве, но неизменно оставившее в памяти глубочайший эмоциональный след. Никакие фантазии во снах невозможны – только пережитое-пережитое-перевиденное. Сон – не что иное, как эмоциональное воскресение отвечающих за память участков головного мозга. И участки эти науке известны! Давно известны! Так отключите эти участки, атрофируйте, уничтожьте, наконец, если они входят в противоречие с самой жизнью, если сжигают человека со света, если методично, целенаправленно приближают к смерти, вы же академики медицины, черт бы побрал вас всех в бога и в душу мать!

Антон Игоревич сознательно избегал крепких выражений, давно, в свои тогда еще небольшие годы волею судеб оказавшись причисленным к прослойке советской интеллигенции, неукоснительно следил за лексиконом, тщательно его фильтровал, но случались моменты, когда терпение композитора вступало в противоречие с невыносимостью происходящего, и тогда округу оглашали непростые в своей образной витиеватости перлы его многолетней военной молодости.

Именно такие выражения теперь накапливались где-то в мозжечке, в гортани, на языке родоначальника клана Твеленевых, роились, бунтовали, скапливались в стаи и, требуя выхода, полоняли разум. Ну в самом деле – как это можно вынести!? Где Нюра? Где этот ни с какого боку ему не родной, недоразвитый урод Герардик? Где дочь его законная, совсем последние годы отбившаяся от рук и предавшая его забвению – Надежда? Где эти врачубийцы, наконец, в своих вечно чем-то испачканных белых халатах? То, что в доме нет Марата, несколько успокаивало: молокосос-следователь сказал – тот в больнице, допился, небось, до ручки, не дай бог, что-то серьезное, но остальные-то где?! Где все, черт, черт, черт вас подери!

Антон Игоревич приподнялся на кровати: из коридора до его слуха донеслись едва уловимые звуки: чьи-то торопливые шаги, приглушенные голоса, удар падающего тяжелого предмета, даже, ему почудилось, стон, но ответом на все просьбы откликнуться было молчание. Он крикнул пару раз: «Кто там? Это ты, Нюра? Герард? Отзовитесь! Кто дома?» – никого.

И это называется благодарностью за все, что он им сделал и делает до сих пор. Дачи, квартиры, машины, деньги. Деньги, деньги... Бессчетное количество денег. Все песни,

которые распевает страна – из каждой подворотни, из каждого раскрытого окна – все им, себе ничего. А умри он теперь – никто ведь не заплачет, не пошевелится, никто копейки не даст на похороны. Вся надежда на родной Союз композиторов, дай ему бог долгую жизнь.

Твеленев спустил ноги на пол, нашарил тапочки. Болели ступни, колени, ныли локтевые суставы. Сердце стучало тревожно – гулко.

Никто не заплачет.

Ксения ушла – все узнала. Потому и ушла. «Будь ты проклят». Эту последнюю от нее память Антон Игоревич хранил десять лет, иногда доставал из тайничка, смотрел, рыдал беззвучно. В 2002 году, когда потерял сознание, попал в больницу, бумажку Герард нашел случайно, спросил: «Дед, это про кого – «будь проклят»? Он рассердился: «Какой я тебе <дед>? Не смей меня так называть, понял? Никогда не смей!» А привет этот Ксеничкин последний тогда же и сжег на церковной свечке – если б не Герард, а кто другой подобрал проклятие – как объяснить? Почерк-то ее – неразборчивый, размашистый – все в доме знали.

Он опять затаил дыхание, послушал вокруг себя горячий спертый воздух (не позволял проветривать помещение, боялся сквозняков) – снаружи не доносилось ни звука, лишь отдаленный рык автомобильных пастей, приглушаемый стекольной толщиной. Отлегло. Да и кому там быть и зачем играть в молчанку? Глупость какая-то. Галлюцинации. Старость – не радость.

Превозмогая суставную боль, он поднялся, прошаркал к двери, привычно ткнул ее ногой...

Снаружи что-то мешало – дверь не открылась – чуть сдвинулась с места, скрипнула предостерегающе, образовала щель и замерла беззвучно. Он понимал язык своей двери, шестьдесят лет с лишком говорили они подолгу, каждый божий день. «Не выходи, – угрожающе проскрипела дверь, – ляг и не высовывайся. Пусть все случится без тебя».

Антон Игоревич не внял запрету старой подруги, налег на нее всей невесомостью высохшего своего тела. Она яростно сопротивлялась, но сдалась наконец, будучи чуть ли ни единственным живым существом, праздновать победу над которым было все еще под силу девяностолетнему композитору.

Герард лежал на спине с открытыми глазами.

На лице его застыла едва заметная улыбка. И удивление.

Рот был полуоткрыт – он не успел договорить.

Из-под спины, чуть пузырясь, докипая, выпенивалась густая красная субстанция.

Он был как никогда красив.

И покоен.

Антон Игоревич с трудом опустился на колени, приложил руку к его лбу – нет, слава богу, в меру теплый. Или в меру холодный?

– Герард, – позвал он.

Ему никто не ответил.

– Ты почему молчишь? – Как можно строже спросил композитор, но Герард даже не изменил выражения лица, он продолжал улыбаться.

Антон Игоревич не привык к такому невниманию – у него закружилась голова, и он сел на пол. Неожиданно откуда-то резко повеяло холодом, Антон Игоревич почувствовал сильный озноб. Он всегда боялся сквозняков, старался их избегать, надо было возвращаться от греха подальше в свою комнату – так недолго простудиться и заболеть. Он сделал попытку подняться, в отчаянном бесплодном усилии напряг холодеющее тело, никакого движения не случилось, он ухватил лежащую поблизости руку, сказал тихо: «Гера, помоги, мне холодно», никто не ответил, а вытекающая из-под Герарда красная лужица была приятно теплой, почти горячей, и он лег рядом с неродным своим внуком, обнял его, прижался всем телом, и красивые, цветные картинки, те, что многие зачем-то называют предсмертными, замелькали перед его закрытыми глазами.

... Оказывается, их с самого начала было двое, но он долгое время об этом не догадывался.

В далеком-далеком-далеком, очень далеком, почти не бывалом детстве, ему тогда только-только исполнилось полгода, он простудился, да так (это позднее узналось из рассказов родителей), что ртутные термометры выходили из строя, медицина не скоро, но сдалась, врачи готовили родных к худшему, дом их петербургский от безысходности, бессилия, оттого, что никто ничем не мог помочь, заполонили паника, истерия, безумие, и вдруг случилось чудо: его старший (на двадцать минут) брат-двойняшка, накануне только с трудом перешедший с четверенек на свои непослушные еще, толстые, кривые ножки, подковылял к братниной кровати, забрался к нему под одеяло, обхватил ручонками... И пока взрослые бесновались где-то в припадках отчаяния, они так единым коконом и проспали до утра.

Наутро больному полегчало.

К вечеру он скандально громко потребовал материнскую грудь.

А еще через день все поверженные было предстоящей неизбежностью горя навсегда поверили в реальное существование ЧУДЕСНОГО на Земле: «старший» взял на себя половину болезни «младшего» и тем победил смерть.

Именно тогда, в тот роковой день, братья впервые узнали о существовании друг друга и с тех пор не расставались...

Антон...

Анатолий...

Антон...

Антон...

Кровь внука проникла в его одежду, теплом охватила голову, щекотала шею...

Ему давно не было так хорошо: цветные воспоминания калейдоскопным разнообразием сменяли друг друга, иногда лишь, замедляя бег, позволяли подольше цепляться взглядом за одному ему понятный наворот, но чаще, юрким промельком касаясь замшелых уголков памяти, со все возрастающей скоростью неслись дальше, дальше, мимо ярких, безмятежно счастливых дней их с братом жизни, которые, казалось, обречены на вечность...

И неожиданно исчезли цветные картинки. Замерли и исчезли.

Ярким взрывом ослепилось пространство.

Вошла ОНА.

– Ксения! – закричал он неслышно. – Ксюша!

Она ответила.

– Будь ты проклят.

И все погасло.

– Нет, ты будешь говорить! Будешь!!..твою мать! Будешь!!! И забудь, навсегда забудь про эту херню свою – «права человека». Права человека там, где есть человеки. А в России их нет! Нет в России человеков, понятно?! А есть подонки и убийцы. И никаких прав вы не дождетесь, пока не научитесь на людей походить, и никакие правозащитные мудаки вам не помогут, и ни один е...й ваш Запад тоже. Им ведь не права ваши нужны, не защита ваша, а чтоб Россия окончательно в анархии захлебнулась и подохла в варварстве. Вот что им снится! То-то будет на их улице праздник. Но – не на тех напали! Какие «права человека» были во времена Великой депрессии в вашей сраной Америке? Какие, я спрашиваю?! Да никаких не было! И быть не могло! Жили по законам джунглей. Когда человек обворован, раздет, разут, детей накормить нечем, банды мародеров вокруг правят-жируют, миллиардами жопы подтирают, яхты сосчитать не могут – какая демократия?! Какие к... матери права человека?! Кастет в кулак, чтоб побольней, и в харю – вот моя демократия. И я тебе обещаю: ни о каких там самых что ни на есть адвокатах, ни о паразитах газетных ты и думать не моги, я с тобой церемониться не буду: или добровольно расскажешь все, как было, или загнешься здесь втихую в обнимку со своими правами человека.

Анатолий Борисович начал свою речь очень громко, в ор, так что, поди, в Петровском садике воробьи с веток повспархивали, но непривычно для себя быстро устал, потух и под

конец обессиленно опустившись на стул сказал почти примирительно:

– Так что тебе решать: могу отпустить, но долго ты не проходишь – подельник твой в агонии, убирает свидетелей, больше ему ничего не остается: Каликина с матерью убрал, теперь вот Герарда – мне только что позвонили: прямо в квартире среди бела дня ножом зарезал, как поросенка беззащитного. Антонину Заботкину, сестру твою, машиной раздавил. Думаешь, тебя в здравии оставит? Да ты его самый враг главный, больше всех знаешь, больше других...

Он не договорил, потому что Антон вдруг что-то прохрипел, открыл рот, но вместо слов оттуда густо повалили белые пузырчатые шары, они падали ему на подбородок, на грудь, на колени и не сразу, пролетев немалое расстояние, беззвучно взрывались, оборачиваясь мокрой слизью.

Трусс налил в стакан воды, плеснул ему в лицо. Но Антон от неожиданности замер, вытер лицо ладонями и простонал еле слышно:

– Как Антонину?

– Да так, Антонину Аркадьевну Заботкину, сестру твою двоюродную, раздавили машиной.

Антон долгим неподвижным взглядом изучал сидящего напротив него человека, затем лицо его скрючилось, веки, было похоже, сомкнулись навсегда, так что никакой силе не удастся их разлепить. Он пытался что-то сказать, но рвотные позывы смешивали слова в один нечленораздельный гул.

– Тх... тхош... тха... Тхошку?! Мхх... мах... мхашиной?! Рхх... хр... раздахх... раздавихрр... – выговорить слово «раздавили» он так и не смог.

– Да, да, именно раздавили, Антон Маратович, разможжили голову. А ты думал, что твои подельники только ножом в спину умеют? Нет, у них арсенал способов, как видишь, богатый...

– Господи, ее-то за что? – Вопрос выплюнулся вместе с комком кровавой мокроты, он захлебнулся, кашель надорвал глотку.

«Ну вот и, сам того не ведая, признался мальчик, – обрадовался майор, – ее не за что, а остальных, выходит, за что есть.» Вслух он сказал:

– Антон, ты совсем плохой, я могу отправить тебя обратно в камеру, отдохни, завтра продолжим. Могу отпустить восвояси, заменить пресечение на подписку о невыезде, но это, повторяю, для тебя чревато. Можем продолжить сейчас – выбирай.

Он говорил это, твердо сознавая, что никакой отсрочки конечно же не будет: клиент «готов», тепленький, лучшего случая не представится. Сейчас, только сейчас и немедленно.

– Ну, выбирай!

Кашель драл Антону горло, он хрипел, кровь схаркивал себе на брюки, из последних сил сдавливал руками живот, чтобы кишки не вывалились наружу.

– Выбирай! – в очередной раз приказал Трусс. Момент был для него наисчастливейший: зубной эскулап наконец-то намертво захватил щипцами во рту пациента гнилой остаток корневища и теперь никакие и ничьи страдания не могли лишить его счастья предстоящей победы.

– Выбирай!!

Приступ кашля, постепенно затихая, переместился вглубь, в недра грудной клетки, говорить Антон еще не мог, он только закивал головой и пальцем ткнул в пол: мол, сейчас, сейчас, сейчас.

– Ну вот и правильно, – похвалил его «хирург», – опухоль надо удалять с корнем, пока метастазы не победили. А то, что бо-бо при этом – ну что ж, в жизни всякое бывает. Потерпеть придется. Мы, Антон, вот как с тобой поступим: тебе говорить трудно?

Антон смотрел невидящими глазами – никого перед ним не было, никто не сидел перед ним на стуле – пятно темное, расплывчатое, шевелится, спрашивает: «Тебе говорить трудно?» На всякий случай он кивнул: «Трудно».

– Ну и не будем, если трудно, – тоном заботливого педиатра продолжило «пятно», – мы

так поступим: говорить буду я, даже не говорить, а шептать, чтобы слух твой не напрягать, а ты, как только фальшпку какую в моих словах уловишь, негармоническое сочетание звуков, другими словами, диссонансик какой, сразу знак подай, мол, стоп, дяденька, не ту нотку нажал, диззик тут, а не бемольчик. Я нотку с твоей помощью выправлю, вернусь к консонансу и дальше поеду Вместе поедем. Идет?

Антон, как ни напрягал сознание, не мог взять в толк – какую «нотку», какой «диззик», в какой такой «консонанс» они «дальше поедут»? Он молчал.

Трусс расценил его молчание по-своему.

– Ну, видишь, как хорошо, как складно все складывается, прости за тавтологию. Если с таким дружным консенсусом все и дальше пойдет – мы с тобой горы свернем. Ты только взгляд на мне сосредоточь, а то он у тебя, старик, затуманен как-то и по сторонам бегаёт. Ты на меня смотри, не отвлекайся и слушай внимательно. Договорились? – Он пощелкал пальцами перед его носом. – Эй, парень, ты меня слышишь?

– Где Тошка? – выдавил наконец из себя Антон.

– А-а-а, вот ты о чем, – после некоторой паузы Трусс протянул букву «а». – Ну к этому вопросу мы еще вернемся, я тебе обещаю, а пока давай все по порядку. Значит так: их было четверо: Федор Колчев, Игорь Каликин, Герард Твеленев и – он помолчал, продолжил доверительно: – небезызвестный нам с тобой Антон Маратович Твеленев. Так? Кому-то одному из этой великолепной четверки, назовем его пока «Икс», или «Игрек», как тебе больше нравится, пришла в голову не бог весть какая оригинальная мысль ограбить старого и, по мнению многих, весьма небедного композитора. У тебя нет желания назвать имя этого мыслителя?

Антон молчал.

– Хорошо, тогда продолжим, пока я справляюсь без подсказок, но учти, твоя помощь мне в дальнейшем будет необходима, и ты должен быть в этом заинтересован. Итак, узнать имя этого проходимца проще, чем репу выпарить: это Федор Колчев, сын писателя Аммоса Федоровича, многолетнего сожителя твоей матушки Валерии Модестовны Твеленевой, в девичестве Тыно. Надеюсь, никаких семейных тайн я тут тебе не раскрываю?

Антон молчал.

– Ну вот и я так думаю: какие могут быть тайны в семейном кругу Вернемся к Колчеву.

Почему именно он? Давай рассуждать логически. Герард Твеленев – человек неадекватный, ни на какие идеи он не способен, но исполнитель – собаки преданнее. Деньгами его не купишь, он просто не знает, что с ними делать, ни за какие коврижки на подлость не заманишь, но... И это все знают: стоит сказать, что это в интересах отца его приемного, и он не то что украсть – себя убьет, не задумываясь. С ним так и поступили, мол, это по просьбе Марата Антоновича. Теперь ваша милость, – Трусс протянул ладонь в сторону Антона и в знак особого уважения слегка наклонил голову, – ваше благородие, госпожа удача. Тебе деньги нужны, конечно, они всегда всем нужны, даже нашему заядлому яхтсмену Абрамовичу, но не до такой степени они тебе нужны, чтобы замышлять и организовывать преступление. На себя и свою Люси-и-ию, – он протянул букву «и», – тебе от родных, думаю, перепадает. Ты же на преступление согласился из боязни, что тебя кумир твой, Федя, заподозрит в трусости, а допустить подобный позор ты никак не мог, вот и пошел на подлость. Так? Ты возражай, возражай, если я неправ, не молчи или кивни хотя бы в знак согласия, а то ведь мне не по себе как-то, вроде сижу в сумасшедшем доме – сам с собой разговариваю.

Антон молчал.

– Ну ладно пока. Едем дальше. Каликину деньги нужны были позарез, он наркоман, сам не зарабатывал, матушка много дать не могла, хотя старалась из последних сил – он грозил ей, что найдет себе другую любовницу. А тут такое везение: почти без риска – войти, взять и уйти.

Кто заподозрит родственников-то, да еще при почти стопроцентном алиби. Федор обещал Каликину хорошими деньгами расплатиться, они все в квартире перерыли, все вверх

дном перевернули – нет наличняка, хоть вешайся. Пришлось расплачиваться бриллиантами. А на кой они ему, пользуясь овощной терминологией, хрен, эти бриллианты? У него колотун, его корезит, а ему суют камешки разноцветные. Ни на кой они ему хрен не нужны. Я прав? Он на следующий же день золотую брошь в комиссионный сдал и в университет-то в перстне заявился в расчете загнать кому, да не на тот контингент ставку сделал: студенты – народ небогатый, золотишком редко балуются. А вот то обстоятельство, что перстень этот самый впоследствии в саду вашей дачи переделкинской обнаружен был, – очень интересное обстоятельство, и ты мне в нем разобраться поможешь, всенепременнейше поможешь, забудешь на время, что язык-то свой проглотил, и поможешь, а иначе мне ничего не останется, как заподозрить тебя в мародерстве, а это уж, сам понимаешь, хуже некуда. Ну ладно, не будем забегать вперед, пока у нас на повестке Каликин. Думаю, он посчитал себя жестоко обманутым, дозу на камешки нигде не купишь, а надо до зарезу – читал небось про ломку наркотическую, состояньице не из приятных, вот он и пригрозил этому самому Федору разоблачением и тот заставил тебя убраться опасного свидетеля...

– Нет! Нет! Нет! А-а-а-а-а... Нет! Нет! Нет! Нет! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а... – С Антоном случилась истерика: повалившись на пол, он стал кулаками бить себя в грудь, царапать лицо, рвать на себе одежду. – А-а-а-а-а... Нет! Нет! Нет...

Трусс поднял его за грудки, ухватил охапкой, металлическим кольцом стиснул так, что обоим стало невозможно дышать, и, когда Антон, постепенно обмякая, тряпкой повис у него на руках, швырнул его на прежнее место.

– Не ори, – сказал он тихо, жадно заглатывая воздух, – не ори, так ты ничего не докажешь. Что ты заладил: нет, нет, нет... Я сам знаю, что «нет», в противном случае я бы с тобой не так разговаривал. – И вдруг он сам заорал: – Но ты же молчишь, твою мать! Ты, видите ли, переживаешь, у тебя, видите ли, нервы, а я тут на курорте под солнышком жопу загораю! Так?! Нашкодил, подонок, так хоть умей отвечать! Он тебе сказал, что Каликин вот-вот расколется и надо его припугнуть, так?

Антон молчал.

– Так?! Я спрашиваю?! Отвечай!!! Так???!!

– ... – Антон приоткрыл рот, но никакого звука не последовало, о произнесенном можно было только догадываться: плотно сжатые белые губы его образовали щель, подвижная челюсть коротко подалась вниз и тут же зубным лязгом вернулась на прежнее место.

– Громче!!!!

– Т-х-а, – прохрипел Твеленев, сопроводив звуковую неопределенность утвердительным кивком головы.

Анатолий Борисович отошел к окну, закурил сигарету, долго жадно захлебывался дымом. Спросил, не оборачиваясь:

– Куришь?

– Угу.

Он вернулся к столу, щелчком придвинул к нему пачку, поднес огонь. Руки дрожали у обоих.

– Теперь вот что, – сказал Трусс, после того, как придавил в пепельнице докуренную до фильтра сигарету, – я буду продолжать, а ты... – с языка срывалось крепкое ругательство, но он усилием воли сдержал себя, – а ты будешь мне говорить, где я не прав. Итак, Федор Колчев сказал, что Каликина надо припугнуть, и ты должен ему в этом помочь. Так?

Антон смотрел на него, не мигая.

– Я вопрос задал! – В негромком голосе Трусса звучал глухой скрежет до предела сжатой пружины.

– Так, – выдохнул наконец Антон.

– Так, – повторил Трусс. – Вскрытие показало, что Каликин был убит уникально выверенным ударом ножа в область сердца со стороны спины, после которого смерть наступает мгновенно, ни о каком «припугнуть» речь идти не может: это было сознательное,

весьма профессионально совершенное убийство. Этот удар нанес Федор Колчев. Ты знал о его намерении?

Антон согнулся пополам, обхватил голову руками. Его трясло.

Трусс ждал.

– Ну, – не выдержал он, – знал?!

– Нет. Клянусь, – пролепетал Твеленев.

– Почему я должен тебе верить?

– Как хотите, мне все равно. – Антон выпрямился, поднял голову – лицо его не было окрашено кровью: оно было бесцветным.

«Сейчас упадет», – успел подумать Трусс, прежде чем арестованный в попытке обнаружить перед собой спасительную опору замахал руками и начал медленно сползать со стула. Он не упал в обычном понимании этого слова, было похоже, что просто ему надоело сидеть, он устал, затекли все члены и он предпочел перебраться на пол, где много свободного места, можно сколько угодно, власть протягивать ноги, наслаждаться счастливым ощущением свободы своего тела и отдыхать.

...Прошло немало времени, прежде чем Анатолий Борисович Трусс смог продолжить допрос.

Теперь перед ним сидел усталый, поникший, вяло реагирующий на происходящее вокруг человек. Говорил он негромко, бесстрастно, как говорят о чем-то давно забытом и несущественном.

– Как перстень из теткиной коллекции оказался на нашей даче в Переделкино я не знаю. Могу лишь предполагать. В тот день, когда в лифте Игорь начал падать, кто-то мне в ухо шепнул: «Сними кольцо». Тогда я ничего понять не мог: Игорь у меня на руках, кровь, крики...

Теперь понимаю, это был Федор. Дальше, думаю, он узнал, что кольцо опознала милиция, и выкупил его у какого-нибудь вашего сотрудника. Ничто другое в голову не приходит.

– А на чужой даче почему? На вашей.

– Не знаю. Возможно, он зачем-нибудь приходил и выронил.

– Раньше он часто к вам заезжал?

– Никогда.

– Да-а-а, забавно. А итальяшка-то наш, будь он неладен, Страдивари-то, все это время где прятался?

Трусс впился взглядом в Антона: он не рассчитывал на какой-то конкретный ответ, спросил, скорее, чтобы проверить его реакцию на хорошую свою осведомленность, но Антон, похоже, не удивился вопросу, лишь слегка помедлил, прежде чем сказать.

– У тетки.

– Где? – Трусс не поверил услышанному.

– Под оттоманкой, – по-своему понял вопрос Антон.

– У тет-ки, – с расстановкой равнодушно повторил Анатолий Борисович. Ему пришлось проявить всю свою недюжинную изворотливость, чтобы скрыть изумление. – У тетки под оттоманкой, это мы знаем. Но как она могла согласиться на такую авантюру – вот что непонятно. Ведь это статья: «Укрывательство краденого», до пяти лет.

– Он для этого и прихватил статуэтки японские.

– Кто «он»?

– Федор.

– Зачем?

– Чтобы потом «найти» и за услугу вернуть владелице.

– Не сла-а-а-бо, – с уважением глядя на Антона, протянул следователь, – а Надежда Антоновна за них на все готова, что ли?

– Думаю, да.

– Понятно. Ну вот и главарь «великолепной четверки» нарисовался. Двоих

соучастников он убрал, третий на очереди, а Антонина... – Трусс замолчал.

Антон не отрывал взгляда от его лица. Наконец прошептал:

– Что Антонина?

– А Антонина... Выходит, она видела, кто в ту ночь выносил «завернутый в черную тряпку предмет» из комнаты ее матери. И если твоя версия с перстнем верна...

Он нажал кнопку вызова охранника, сказал вошедшему милиционеру:

– Уведите арестованного.

Заботкина-старшего арестовали в тот же день: знакомый Труссу официант Анатолий не преминул воспользоваться обещанием высокопоставленного тезки вознести его по служебной лестнице – вовремя сообщил о вылете рейса Париж – Москва.

В международном аэропорту Шереметьево прямо у выхода из зала получения багажа Аркадия Семеновича встретил человек средних лет, предъявил удостоверение работника МУРа и предложил помочь с транспортом для проследования на улицу Петровка, дом 38.

– Как это любезно с вашей стороны. А что это за дом такой? – игриво улыбнулся пассажир, слегка возбужденный подаваемыми в салоне первого класса даровыми алкогольными напитками.

– Это дом, который находится как раз напротив сада Эрмитаж, – не ударил в грязь лицом человек средних лет, – да вы и сами увидите. Там сейчас театр с тем же названием.

– Напротив, вы говорите? Чуть наискосок, что ли? По диагонали? – не унимался пассажир, продвигаясь вслед за Труссом к выходу. – Уж не московский ли это, не приведи, господи, уголовный розыск, не к ночи будет помянут?

– Трудно сказать. До революции на этом месте находилось здание Почтамта, после войны городские власти его сломали, перестроили и приспособили под свои нужды. Нужд после войны у городских властей было множество, поэтому, должно быть, здание и получилось таким безразмерным. И поскольку до настоящего времени у городских властей этих самых «нужд», увы, не убавилось, то и красуется оно в таком виде по сей день, пугает обывателя масштабами. Да у нас, Аркадий Семенович, с вами, думаю, еще будет время побеседовать на тему послевоенного градостроительства.

– Ах вот даже как? – Заботкин-старший остановился, вынуждая следователя МУРа сделать то же самое. – Вы и имя мое знаете?

Трусс развел руки в стороны и укоризненно на него глянул.

– Ну а как же иначе, Аркадий Семенович, чай, не голыми руками мышей ловим. Мы о вас много еще чего знаем интересного. А чего не знаем – вы нам теперь и расскажете. Пойдемте, пойдемте, не задерживайтесь, утомились небось в дороге-то? Вот наша машина, садитесь, отдыхайте.

Он указал на черную «Волгу», припаркованную под знаком «Остановка запрещена».

...Допрос поначалу проходил дружески, его, собственно, и допросом-то назвать было трудно – так, неспешная беседа двух давно и хорошо знакомых мужчин, озабоченных общими проблемами.

Тональность разговора задал Трусс. Он поинтересовался парижской погодой, настроением футбольных фанатов в связи с последним скандальным поражением национальной сборной, немножко похвалил президента Николя Саркази за ясность позиции по вопросу нефтяной перебранки Украины с Россией и немножко поругал его за легкомысленное отношение к супружеской верности.

– Меня это, знаете, прямо как-то резануло: что это за манера – не позволить жене хоть недолго побыть в роли первой леди. Не по-французски как-то. Не находите?

Заботкин пожал плечами:

– Я с ним не обсуждал эту тему.

– И напрасно. – В голосе Трусса прозвучал откровенный упрек. – Я бы на вашем месте не преминул воспользоваться неэтичной ситуацией в общих интересах стран нашего Содружества.

Они снисходительно улыгнулись друг другу: Заботкин таким образом прощал следователю его натужную шутку, Трусс же, в свою очередь, сожалел о неумении собеседника радоваться очевидным успехам товарищей.

– Ладно, оставим семейные отношения президентов президентам. Скажите, Аркадий Семенович, а что там с этой пресловутой забастовкой авиаторов, чем дело кончилось? – На этот раз интонация у следователя получилась соболезнующей.

– И не говорите, – легко откликнулся Заботкин, – совсем зашлись в своей демократии. Теперь хоть и не летай к ним.

– Кстати, я слышал, вы довольно часто навещаете этот сказочный город. И что, неужели всякий раз приходится изнурять себя визовыми сложностями?

– Вы знаете, нет: у меня там брат живет, так что, действительно, летать приходится часто, но я кое-как приспособился.

– Эх, знать бы это волшебное «кое-как», – мечтательно закатил глаза Трусс. – Это ведь как в моем любимом преферансе: «Знать прикуп – можно не работать».

Заботкин рассмеялся:

– Дорогой Анатолий Борисович... Я не слишком фамильярен?

Майор разрешающе воздел перед собой обе руки, и он продолжил:

– Дорогой Анатолий Борисович, я давно живу на этом свете и любые намеки научился понимать с полуслова. Ценю вашу осведомленность, признаюсь, даже приятно удивлен столь подробным вниманием к моей скромной персоне, но должен заметить, что моя карточная эпоха благополучно завершилась и за истечением срока давности все связанные с нею нарушения законодательств Союза ССР и Российской Федерации, каковые, не скрою, случались, в настоящее время не имеют под собой юридической силы. Ну это так, о-про-по, это все вы лучше моего знаете. А что касается пресловутых виз, тут вы совершенно правы: нелегко, а иногда и просто-таки унижительно. В этом вопросе я прибегнул к такому выходу: звоню по телефону доброжелательному представителю французского посольства, тот приезжает ко мне домой и ровно через сутки привозит в запечатанном конверте все необходимые документы, включая авиационные билеты. Мы обмениваемся конвертами и расстаемся до следующей надобности друг в друге.

– Изумительно! – Трусс постарался как можно искренне обрадоваться услышанному. – А если не в каждом посольстве работают такие «доброжелатели»?

Аркадий Семенович лукаво на него посмотрел. По всей видимости, он и в самом деле не первый год жил на свете, успел повидать многое, и труссовские актерские потуги его не убедили. Он сказал достаточно убедительно:

– В каждом. Разница исключительно в толщине конверта.

– Да-а-а, век живи... – по инерции продолжил наивничать Трусс, – а дураком помрешь. Как чувствует себя Николай Семенович?

Подобный «логический скачок» не застал Заботкина врасплох, реакция его была подобна спринтерской на выстрел стартового пистолета.

– А что ему сделается? Жив курилка, хотя, кажется, он и не курил-то никогда.

– Сегодня виделись?

– Сегодня нет. Рейс шибко ранний, а он поспать любит. Сова.

– А вчера?

– Вчера – да. Пообщались.

– У него останавливались?

Трусс задал вопрос без какого-либо расчета на успех – так, на всякий случай, а вдруг да оплошает дядечка – но подробный, старательно откровенный и безбоязненно наглый ответ Заботкина поначалу майора несколько смутил: «Не прост, ох не прост этот бывший карточный шулер, любитель резьбы по драгоценным камням». Но по размышлении зрелом он успокоился: «Ничего, и мы не лыком шиты. Тем интересней».

– Никогда у него не останавливался! Нет, нет и еще раз нет! – отчаянно замахал руками Аркадий Семенович. – Чего не было – того не было. Ни разу, никогда, ни боже мой. Зачем?!

Только в гостинице, причем в одной и той же – «Кастильон». Мне даже неизвестен его адрес тамошний, он ведь давно уехал, успел офранцузиться, а у них, знаете ли, вообще не принято к себе в дом приглашать, это мы – чуть что – бутылка за пазуху и в гости на разносолы всякие домашние, а они в кафешке каком-нибудь дохлиньком наперсток коньячку сухариком зажуют, глоточком кофейку горло промочут – вот и повидались. И потом – он ведь там не на очень-то хорошем счету у ихних властей, как и здесь, бывало. Не от хорошей жизни уехал он в глухомань-то эдакую, здесь наследил по глупости-молодости и там вроде во вкус вошел нетрудового времяпрепровождения...

– На этот раз он вас вызвал или...

– Ни, ни, ни, никаких вызовов, что вы, я сам, исключительно моя инициатива, купил билет, сел, прилетел...

– А связались с ним уже из Парижа?

Заботкин растянул рот в полуулыбке, вздернул подбородок и так некоторое время молча разглядывал своего собеседника.

– Анатолий Борисович, – сказал он наконец почти доверительно, – мне очень понятен ваш интерес к личности моего непутевого брата и, поверьте, располагай я хоть малейшей возможностью помочь вам в удовлетворении столь объяснимого интереса – разве бы я мог этим пренебречь? Да ни боже мой: я весь, как на духу, перед вами. А общаемся мы очень просто: он звонит мне в Москву из автомата, называет число и место встречи и стоит мне объявиться в «Кастильоне», как его тут же ставят об этом в известность платные доброжелатели, вот и вся недолга. В тех же случаях, когда инициатива исходит от меня, как, например, на этот раз, то по прибытии в Париж звоню ему уже я, и тогда приоритет в выборе места свидания остается за мной.

Он улыбнулся совсем уж откровенно, не сводя с майора глаз, выдержал долгую паузу и, только убедившись, что никаких вопросов с его стороны не последует, продолжил:

– Может возникнуть вполне закономерный вопрос: по какому же номеру телефона я звоню ему в Париже и не могу ли сейчас вам его продиктовать? Увы, не без сожаления: нет, не могу. Все дело в том, что несколько его домашних и рабочих номеров всегда хранились вот здесь, – Аркадий Семенович достал из внутреннего кармана миниатюрный аппаратик, положил на стол перед Труссом, как бы предлагая проверить правоту его слов, – но в этот мой последний приезд мы с братом резко разошлись в весьма для меня существенном: во взглядах на способы существования homo sapiens в этой жизни. Мы поняли, что между его и моими представлениями о допустимости и недопустимости человеческих проявлений лежит пропасть, преодолеть которую вряд ли удастся в обозримом будущем. Расстались мы не то чтобы врагами, но и не близкими, скорее абсолютно чужими людьми. И на обратном пути я в сердцах стер в своем мобильнике все его телефоны. А на память с возрастом, знаете ли, надежды никакой: сейчас и хочу вам помочь, напрягаюсь, напрягаюсь – ни одна циферка не всплывает.

– А вы не напрягайтесь, Аркадий Семенович, не напрягайтесь, а то еще, чего доброго, перните, а тут и без вас кислороду нехватка.

На этот раз Заботкин растерялся – слишком расслабил, расположил его к себе этот следователь своей предшествующей вкрадчивой доверительностью. «И внешне вроде не жлобистая, и речь связная, с деепричастиями...» Пальцы его сильно задергались, увлажнились ладони. Он только и нашел, что спросить:

– У вас имеется ордер на мой арест?

Трусс не ожидал от тертого калача такой молниеносной и безоговорочной капитуляции. Он любил серьезных, говорливых противников, перед которыми, по его словам, «и покичиться, и поучиться» не грех – одно удовольствие, а тут... В такие моменты ему становилось смертельно скучно, вот и теперь – хоть посылай Каждого за водкой. Он даже потянулся к телефону, но какая-то дьявольская меринская интуиция шепнула на ухо, что делать этого не следует. «Чтоб ты пропал со своей интуицией!» – выругал он товарища. Сказал вяло, сквозь зубы:

– Ордер, премногоуважаемый, требуется на случай обыска, вы это лучше моего знаете, а я ваши карманы, портмоне и портфель обследовать себе в задачу не ставлю. Что касается ареста – вас никто пока не арестовывает, не торопите события: всему свое время. Пока что вы находитесь в прокуратуре для дачи свидетельских показаний. Вот и давайте займемся этой самой дачей. Свидетельствуйте: кто убил Игоря Каликина?

От неожиданности Заботкин вздрогнул, краска начала сползать с его все еще возбужденного самолетными напитками лица.

– Каликина? – переспросил он. – Почему вы об этом спрашиваете меня?

– А почему мне об этом спрашивать не вас? – не слишком заботясь о вежливости интонации поинтересовался Трусс. – Не так давно этот же самый вопрос вам задал Николай Семенович Заботкин, брат ваш, и ему вы ответили вполне определенно, правда, интимно, на ушко, и я тогда не расслышал. Теперь повторите громче.

Аркадий Семенович, который гордился тем, что не первый год живет на белом свете, с полуслов труссовских догадался о факте прослушивания их с братом беседы в парижском кафе (недаром тот заподозрил официанта), но для того, чтобы прийти в себя после получения столь неожиданного удара, решил какое-то время посопротивляться.

– Я не очень вас понимаю: при чем здесь мой брат? Что вы имеете в виду? Какой вопрос? Когда? Где?..

Трусс тяжело вздохнул, в его голосе опять зазвучала доверительная озабоченность:

– Аркадий Семенович, ответьте мне, только честно: вы действительно меня, как вы выразились, «НЕ ОЧЕНЬ понимаете»? Или не понимаете совсем НИЧЕГО? Если первое – это вполне поправимо, я вам с удовольствием поясню, что я имею в виду. Если же вы не понимаете ничего – дело хуже. Тогда это или укрывательство свидетелем важных для следствия фактов, и в таком случае мне предстоит переквалификация вашего здесь пребывания со свидетельского на обвинительное. Или это непонимание говорит о серьезном расстройстве участков головного мозга, отвечающих за вашу память и тогда, согласитесь, требуется срочное медицинское вмешательство. Не скрою – хочется надеяться на лучшее, поэтому развертываю свой вопрос, показавшийся вам «не очень» понятным. Несколько дней назад, дело происходило в городе Париже, сидя в уютном уличном кафе близ гостиницы «Кастильон» вы с братом Николаем обсуждали ситуацию, связанную с местонахождением некоего, как вы его тогда называли, «предмета»...

Объемный кожаный портфель, который Заботкин до сих пор не выпускал из рук, соскользнул на пол, в нем что-то звякнуло, но Аркадий Семенович, не обратив на это внимания, продолжал неотрывно следить за лицом майора.

– Там у вас что-то булькнуло. Не посмотрите? Я подожду, – предложил Трусс.

Ответом его не удостоили.

– Ладно. Тогда продолжим. Так вот, речь шла о каком-то «предмете» и его местонахождении. Кстати, не подскажите, что это за «предмет», которым так интересовался Николай Семенович?

Заботкин молчал.

– Ну хорошо, к этому «предмету» мы еще непременно вернемся, сдастся мне, что собака-то именно в нем и зарыта, а пока что, мы остановились на Игоре Каликине. Итак, вы сообщаете брату об убийстве его внебрачного сына Игоря. К его чести следует сказать, что известие его взволновало. «Кто?» – нервно интересуется он. «Какая теперь разница» – это ваши слова, Аркадий Семенович, это я вас цитирую. «Кто?!» – продолжает настаивать внебрачный отец. «Ты его не знаешь», – утешаете вы брата, полагая, видимо, что это именно те слова, которые могут его утешить, и вслед за тем, наклонившись к братскому уху, очень тихо называет имя убийцы. Вспомнили? Вот это имя я и попросил вас озвучить погромче. Что же тут непонятного?

Какое-то время они оба, тщательно перебирая в уме и взвешивая свои шансы на победу, молча, не мигая, смотрели в глаза друг другу.

Первым не выдержал Заботкин:

– Молодой человек, позвольте короткую, но вполне откровенную исповедь, без которой, чую, нам сегодня не разойтись. Я тертый калач, большую часть своей жизни пробалансировал на хорошо отточенном лезвии ножа между тюремными нарами и золотым тельцом, счастливо избежав одного и так и не достигнув желаемого успеха в другом. Советский строй – не самая лучшая форма государственного устройства для карточного шулера моего масштаба, когда играть разрешалось только в подкидного дурака и только на шелбаны. Да, приходилось нарушать законодательство, и по-крупному, уже тогда это называлось организованной карточной мафией, и поймай меня тогда – пятнадцать лет я бы счел за благо. Но мне повезло: во-первых, меня не поймали, во-вторых, закончилась советская власть, а в-третьих, – и это самое главное – пропал карточный зуд. Перегорел. Перенапрягся. Перерисковал. Одним словом – в завязке. Теперь я «вор в законе» – не ворую, то бишь не играю, и неподсуден. Неподсуден я, молодой человек, поэтому и не загружаю голову никакими вашими угрозами.

Он выдержал небольшую паузу и продолжил:

– Теперь, что касается ваших жучков-паучков, продукция которых, как вы знаете, не является сама по себе ни в каком суде никаким доказательством. Вы мне почти дословно процитировали фрагмент нашей с братом беседы. Отсюда я делаю вывод, что и вся беседа целиком вами достаточно хорошо изучена. Предлагаю вспомнить, что там говорится о цели моего нынешнего прилета в Париж. Не ручаюсь за дословность, но смысл передаю точно: «Я возвращаю деньги и выхожу из игры». Да, меня пытались втянуть в сомнительное предприятие, но ангел-хранитель уберег меня и на этот раз. Благоразумие возобладало. – Он поднял с пола упавший портфель, открыл замки, обильно выдохнул накопившееся в груди волнение. – Фу-у-у-ухх, ну, слава богу, целехонек, я уж подумал – плакали мои еврейчики, – он хихикнул, – это я так ихнюю валюту ЕВРО именую. Кто это глупость такую придумал? Если Европа, значит обязательно евро, так что ли? Тогда давайте и доллар переименуем на Амер, и йену на Ази. А еще можно Австрал или Антарк. А рубли будем именовать Евразими. Глупость несусветная! Анатолий Борисович, – вскрикнул он неожиданно, – не согласитесь ли отведать со мной ихней бражки за четыреста еврейчиков 0,7 литра. А?! Брудершафт не предлагаю, не заслужил прошлой своей биографией, а так, за знакомство двух законопослушных граждан России. А?! Абсент чистой воды! Очень рекомендую! – Он потряс перед собой бутылкой с ядовито-зеленой жидкостью.

Майор Анатолий Борисович Трусс смотрел на своего визави добрыми, чуть с грустинкой глазами. К такому взгляду он прибегал всякий раз, когда возникала необходимость, не прерывая нарочито словоохотливого собеседника, убедить его в бесперспективности подобного ухищрения.

На этот раз к «доброте и грусти» взгляда майор добавил еще и такое, не раз испытанное в «боях» средство, как «долгое молчание». Очень долгое.

– Не хотите? – продолжал куражиться Заботкин.

– А напрасно: 90 градусов по Цельсию, за качество ручаюсь: не в «Азбуке вкуса» куплено.

Трусс молчал.

– Не хотите??! Не понима-а-а-ю!

Для наглядности Аркадий Семенович закатил наполненные непониманием глаза к потолку, высоко поднял плечи, до самых ушей утопив в них голову, широко развел руки в стороны: «вольному воля», «было бы предложено...», «на нет и суда нет» – выразительные жесты его можно было трактовать по-разному.

Потом он поднял с пола портфель, бережно уложил в него бутылку.

Поставил портфель на пол.

Вспомнил о чем-то, вернул портфель на колени, защелкнул замки.

Посидел, не глядя на Трусса.

Опустил портфель, прислонив его к стоящей неподалеку табуретке.

Чуть отодвинувшись от стола, закинул правую ногу на левую.

Взглянул на Трусса.

Тот по-прежнему молчал, грустно и по-доброму.

Заботкин достал из внутреннего кармана носовой платок, тщательно протер очки. Затем приложил платок к носу, но резкими выдохами удалять скопившуюся там грязь не стал. Вытер потные мешки под глазами, лоб, ладони.

Поменял положение ног: теперь левая заняла место правой.

Посидел неподвижно.

Не раскрывая рта, громко прочистил горло.

Взглянул на часы, перевел стрелки на два часа вперед.

Еще раз достал носовой платок, на этот раз употребив его по назначению. Аккуратно сложил вчетверо по прежним складкам.

Замер.

Прошло минут десять.

И только, когда нервы его, вконец измотанные непрерывным натяжением, стали угрожать разрывом, он сказал:

– В карточной игре «Очко» это называется «перебор».

Трусс обозначил на лице подобие улыбки.

– В карты я не играю, а вот помолчать иногда люблю – бывает очень даже полезно. Я вот сижу и думаю, как мне поступить: отпустить вас отдыхать после трудного вояжа или арестовать? Вы сами-то как думаете – где вам лучше отдохнется: дома или у нас?

Заботкин ответил не сразу.

– Ну, положим, арестовать меня не получится, нет повода, по которому...

– А наркотики? – не дал ему договорить майор.

– Н-н-н-н-не понимаю... – Удивление Аркадия Семеновича было настолько неподдельным, что ему долго не удавалось расстаться с буквой «н»: – Какие наркотики?

– Да что же вы все время чего-то не понимаете? – Обиделся Трусс. – Или я действительно стал выражаться так непонятно. Недавно разговариваю с одним академиком, он тоже говорит: «Не понимаю». Надо за собой последить.

– Но у меня нет наркотиков! – возопил Заботкин.

– У меня есть. У. Ме. Ня! – Теперь в глазах следователя не было ничего, кроме откровенного цинизма. – Держу в сейфе для вящей важности и делюсь при случае с теми, кто до блевотины чист и безгрешен в своих показаниях. Что, опять чего-то не поняли? Ну тогда я просто не знаю, как с вами быть...

По выражению лица Аркадия Семеновича, который, по его же собственным словам, далеко не первый год живет на свете и немало гордится этим обстоятельством, по выражению его лица было отчетливо видно, что в данный момент он действительно мало что понимает.

– Ну, хорошо, – со смирением опытного пастыря вздохнул Анатолий Борисович, – что делать, попробуем еще раз.

Он, прогоняя усталость, несколько раз прошелся по душному кабинету, остановился у раз и навсегда зарешеченного, подслеповатого от неухоженности, обращенного во внутренний дворик окна, и вдруг откуда ни возьмись навалилось на него незнакомое доселе чувство страха. Он не поверил глазам своим: заходящее майское солнце сказочно-зловещим огнем запалило робкую зелень листвы, многоцветной тревогой раскрасило небо, до утреннего зова запрятало птичье мельканье, заглушило бесконечное их громкоголосье. Одинокие снежинки предстоящей тополиной метели, до срока покинувшие материнское чрево, подслеповатые, как выпавшие из гнезда птенцы, взлетая и падая и опять взлетая, искали пристанища в необъятном, незнакомом пространстве. Захлебнувшись свободой, предчувствуя близкий конец, они то доверчиво прятались в ярких язычках пламени расцветших одуванчиков, то вдруг исчезали, «таяли» в охваченных отсветом солнечного пожара стекольных глазницах домов.

Никогда раньше Анатолий Борисович не замечал вокруг ничего подобного. Сердце

защемило, в душе шевельнулся страх: сколько лет потрачено впустую, сколько титанических усилий пожрал безжалостный фетиш закона? И что? И ничего! И не будет этому конца!

Он еще раз взглянул в окно и опять не поверил глазам – все переменялось: солнце еще не скрылось за крышами, а листва на черных ветвях деревьев уже покрылась изумительной бурой ржавчиной, небо перестало пестреть и нахмурилось одноцветным кобальтом, а тополиный снег, только что беззаботно порхавший, потемнел, смешался с надвигающимся сумраком и пропал.

«И это сколько же веков тому назад я был свидетелем подобной красоты? – в стиле любимого своего Тютчева подумал Трусс. – Ну хорошо, пусть не «веков», пусть «годов». Сколько? Двадцать – вот сколько! Двадцать «годов» – из них пять високосных – отдано для достижения призрачной – теперь уже можно в этом сознаться – призрачной цели: победоносной войне с людской коррозией – российским уголовным миром, триста шестьдесят пять, помноженное на двадцать и еще плюс пять – вот сколько дней загублено неглупым от природы, не без внешней приятности молодым человеком – ради... чего? Чтобы так беспощадно поздно, в тридцать семь только, ненароком выкроив секунды из повседневности – грязи, пота, крови, боли, смрада, – впервые открыть для себя чудо заходящего майского солнца? Не довольно ли, а, майор Трусс? Как там сочинилось? «И это сколько же веков тому назад Я был свидетелем подобной красоты?»... В голове невнятным пунктиром забрезжили последующие строфы: «И почему сегодня только рад Цветенью вашему, волшебные цветы?»...

– Я вас слушаю, гражданин майор.

Рождению шедевра помешал взволнованный голос Заботкина:

Анатолий Борисович вернулся к столу, прикуривая сигарету пробурчал в пространство:

– Нет, прав классик: рожденный ползать летать... – Он не договорил.

– Что вы? – услужливо наклонился к нему Аркадий Семенович.

– Опять вы чего-то не поняли? Ну ничего. Тем более что теперь пойдет, как говорят преферансисты, моя пятиминутка, теперь мне карты в руки, постараюсь раскрыть и выложить перед вами все свои карты. Я понятную для вас выбрал терминологию?

Заботкин напряженно молчал. Трусс принял это за хороший знак.

– Ну вот и прекрасно. Начну с того, что я крайне заинтересован в ваших, по возможности, подробных и безоговорочно откровенных свидетельствах. Заметьте – не показаниях, ибо ни о каком вашем аресте пока что речь не идет, а именно «свидетельствах». Очень заинтересован. До такой степени заинтересован, что без них хоть с головой в первый же попавшийся омут. Другими словами: жизнь моя находится в полной от вас зависимости. Видите, я с вами предельно откровенен. – Анатолий Борисович раздавил в переполненном блюдце окуроч, заботливо помахал рукой, разгоняя перед носом посетителя неподвижно зависший дым. – В сложившейся ситуации у вас есть два варианта поведения. Вы входите в мое незавидное, прямо скажем, отчаянное положение, протягиваете мне руку помощи – то бишь предоставляете все интересующие меня свидетельства, освобождая тем самым от мысли о суициде, и мы расстаемся, если и не до гроба друзьями, то, как минимум, не врагами до гроба. Это первый вариант, на мой взгляд, отнюдь не такой уж экзотический, как может показаться на первый взгляд, а, учитывая ваш природный ум и жизненный опыт, вполне даже возможный. – Трусс выдержал паузу, закурил новую сигарету, неторопливо затянулся. – Теперь второй. Представьте себе на минуту, что по тем или иным соображениям вы почему-то категорически отказываетесь предоставлять мне эти самые свидетельства, подробные и правдивые, которые, повторяю, мне во как, позарез. – Он провел ребром ладони по горлу. – И как тогда прикажете поступать бедному следователю? Искать ближайший омут и в него головой? Так у нас в стране с омутами напряженка, пруды есть, а омутов что-то давно не видно. Да и холодно еще, не лето, купальный сезон не открыт: выловят и надерут задницу. Но выход-то при всем том какой-никакой должен же быть?! Должен же я начальству своему пыль в глаза пускать и по службе в рост идти?! Должен. И вот тогда-то в подобных ситуациях я и обращаюсь к запрещенным сильнодействующим наркотическим

средствам. Я подсовываю их в карманы упрямым, неискренним свидетелям, тех арестовывают, поступают с ними, вопреки нашему гуманному законодательству, негуманно, и рано или поздно, чаще «рано», те добровольно развязывают языки. Иногда, правда, не буду врать, языки попадаются прямо-таки чуть ли не «морскими» узлами схваченные, наркота действует нерезультативно и тогда уже приходится прибегать к «операции» под кодовым названием «садомазохизм»: я, путем нехитрых и по возможности безболезненных махинаций образую у себя на лбу небольшие повреждения, – Трусс для пущей наглядности убрал упавшие на лоб волосы, – затем вызываю охрану и обвиняю неразговорчивых свидетелей в нападении на правоохранительные органы. Что, как вы, не сомневаюсь, знаете, карается на порядок строже, нежели простое «негуманное» обращение. И, насколько мне не изменяет память, провалов в проведении подобных «операций» пока не случилось.

Он откинулся на спинку стула, сцепил руки на затылке.

Заботкин молчал.

Какое-то время они безмолвствовали оба, затем Анатолий Борисович вслух высказал предположение:

– Я так понимаю – вы выбираете для себя один из двух возможных вариантов? Ибо третьего не дано.

– И вас не смущает то обстоятельство, что я могу предать огласке ваши методы работы? – поинтересовался Заботкин.

– Не смущает, – искренне расхохотался следователь, – отнюдь. Настолько не смущает, что вам это, боюсь, даже представить себе трудно, насколько. Фраза получилась, прошу прощения, несколько корявой, но вы, я думаю, меня поняли, да? Аркадий Семенович? Я прав?

Заботкин не мигая, молча смотрел в глаза следователю.

– И потом, Аркадий Семенович, вы напрасно приписываете эти безобидные хитрости в методике общения с подследственными исключительно мне. Я этого не заслужил, с моей стороны это всего-навсего жалкий плагиат того, что было изобретено еще в 13 веке во времена папской инквизиции и что до сих пор с большим успехом применяется во всех пенитенциарных заведениях мира. К тому же я не судья, вы не еретик и мы с вами не в католической церкви, поэтому и «методы», как вы выразились, у меня, согласитесь, почти по-детски невинны. Все ведь постигается в сравнении, не правда ли? Ну да вы неглупый человек, все и без меня понимаете.

Аркадий Семенович помолчал еще пару минут, как бы мстя следователю, давая ему понять, что и он тут вовсе не лыком шит. Затем, приняв для себя какое-то решение, сказал.

– Да и вы тоже, сдаётся мне, не лаптем щи хлебаете – уж позвольте комплимент за комплимент. – Он с неожиданной легкостью придвинулся к столу, положил на него локоть и в очередной раз поменял положение ног. Спросил с улыбкой: – Ну и что же вас интересует?

Этот небрежный вопрос маститого шулера знаменовал собой не что иное, как полную и безоговорочную капитуляцию, с одной стороны, и безоговорочную же и полную викторию – с другой. Это означало, что никаких «вариантов» поведения свидетеля быть не может, ни к каким наркотикам и, того хуже, к приемам, названным в честь французского маркиза де Сад, следователю обращаться не предстоит, а предстоит откровенная дружеская беседа двух умных, интеллигентных людей, озабоченных одной только заботой: о благе Отечества.

Оба посетителя следственного изолятора отдавали себе в этом отчет.

– Ну вот и славно, вот и гора с плеч, – обрадовался следователь. – А то теряем время на мадригальные словеса, а воз и ныне там. У меня к вам и вопросов-то не так уж чтобы очень, мы многое знаем, просто хочется квалифицированного подтверждения. Итак. Скрипочку под раритет итальянский кто вам готовил?

– Это не ко мне вопрос. Я кассиром работал.

– А к кому?

Заботкин помолчал.

– К Лерику.

– Это, случаем, не Жебран Якуб? Я слышал, он виртуозно Страдивари делает, недаром Кремонский институт закончил.

– Не ко мне.

– Ясенько. Тогда едем дальше. Где он теперь?

– Кто? – не понял Аркадий Семенович.

– Итальянец этот, Страдивари. Где он?

Заботкин открыл было от удивления рот, но Трусс его опередил:

– Только не говорите, что он помер, об этом я слышал и по сей день скорблю вместе с мировой музыкальной общественностью. Я спрашиваю о предмете его творения, о скрипке, которая до недавнего времени хранилась в доме вашего тестя, композитора Твеленева Антона Игоревича. Меня интересует местонахождение шедевра в настоящее время.

– Этого я не знаю, – мотнул головой Заботкин и, заметив на лице следователя недовольство, добавил: – Могу только предполагать.

– Предполагайте, – санкционировал следователь.

– У Тыны.

– Тыны? – переспросил Трусс. – Вы имеете в виду Модеста Юргеновича Тыно?

– Именно его.

– И каковы основания для подобного предположения?

– Основания самые незатейливые: его поместье обнесено двойным с колючей проволокой забором, за которым взвод автоматчиков следит, чтобы внутрь не пролетали мухи. Без армейского подразделения его не возьмешь.

– Так уж и «армейского»? – притворно не поверил Трусс.

– Именно так.

– А он, что, в свободное время музицирует...

– В жизни своей он, если и музицировал, то исключительно на милицейском свистке – грубо прервал его Заботкин, – и то в глубокой молодости. Это он под любовника дочери своей прогибается, под Федьку Колчева...

– А ваш Николай Семенович тут каким боком?

– Николай Семенович мой большой аферист, бизнесом увлекается. Лерик к нему в ноги за помощью, он выгоду для себя унюхал, накопал где-то нефтяного эмирата арабского и хочет впарить ему скрипку за нереальную сумму – тому все равно сколько, лишь бы подлинник: внук нотную грамоту постигать приступил. Ну вот, Николай Семенович мой, по давней привычке чужими руками загребать, и меня пристегнуть решил...

– Вы, Аркадий Семенович, телефончик его домашний случайно не вспомнили? Со мной, знаете, часто так бывает: чего-то забуду, хожу-хожу – никак не вспоминается и вдруг р-р-раз и всплыло. Нет? У вас не всплывает?

– Пишите. 8 10 33 130 480303. Только ему все с гуся – он ихний подданный, они не выдают.

– Ну, во-первых, очень даже выдают, не сомневайтесь, но он меня меньше всего волнует, пусть себе там с француженками кувыркается в свое удовольствие. – Трусс старательно занес продиктованные цифры в мобильный телефон. – Но только что же это он все у нас да у нас ворует, а у них все продает да продает? И налоги нам не платит – какой же это бизнес? Это все как-то по-другому называется. Вы уж, пожалуйста, пожурите его по родственному, пусть он наше благосостояние не снижает, дорожку пусть к нам забудет, а не то ведь мы этому вашему Фаберже яйца-то поотрываем, он их и покрасить толком не успеет. Лады?

Трусс взглянул на Заботкина, придав своему лицу бесшабашно дружеское выражение, и остался доволен увиденным: перед ним темнели глаза, до краев наполненные ненавистью. Практика научила: смотрит по-доброму, улыбается – береги глотку, вцепится при первой возможности. А так – значит все спокойно: противник обезврежен, зубки подпилены, жало вырвано, можно расслабиться.

Он достал из пачки последнюю, наполовину выпотрошенную сигарету, щелкнул

зажигалкой. Пламя, не встретив сопротивления, ринулось к фильтру, обожгло следователю нос.

– Тьфу, черт! Так ведь и сгореть недолго. Бросать курить надо, вот что, определенно надо, я пробовал много раз, да вот никак не удастся, жизнь трудная, работа нервная, начальство вредное, говорят, сила воли нужна, а где ее взять, силу-то эту, если ее нету? А? Вы курили в молодости, Аркадий Семенович?

– Угу.

Предельная лапидарность ответа не оставляла сомнений: вступать в диалог со следователем по поводу вреда курения свидетель желанием не горит.

Трусс хмыкнул.

– Ну что ж, тогда вот что объясните мне, Аркадий Семенович. – Он с удовольствием, звучно растянул затекшие от долгого сидения члены. – Никак не возьму в толк: откуда у советского композитора, пусть и небедного, такая дорогая игрушка? Ведь это же миллионы и миллионы.

И не рублей, как вы понимаете. Откуда? И еще загадка: он ведь на скрипке-то и не играет вовсе, не обучен. Тогда зачем? Она у него с прошлого тысячелетия, с пятьдесят девятого года, пятьдесят лет взаперти, как в заключении, пролежала. Пятьдесят! Вы только вдумайтесь в эту цифру! В нашем министерстве и то больше двадцати пяти не дают, дальше только вышка или, как теперь говорят, «пожизненно». Зачем козлу барабан, как вы думаете, Аркадий Семенович? Или спрошу по-другому: на хрена козе баян? Не поясните?

Заботкин молчал.

– И еще загвоздочка, требующая разъяснения: в том же пятьдесят девятом в Москве было совершено преступление, не раскрытое по сей день: похищена скрипка Страдивари и убит ее владелец. Как вы полагаете, это простое совпадение или мы с вами находимся на пороге постижения тайны пятидесятилетней давности?

Заботкин молчал.

Трусс неожиданно посерьезнел, наклонился к собеседнику:

– Ну хорошо, в таком случае, может быть, обратимся к отечественному бартеру, это в наше время весьма выгодная форма товарно-денежных отношений без денег и без товара: вы мне поясняете, откуда у козла барабан, а я навсегда закрываю глаза на ваши карточные шалости...

– Я уже имел честь доложить вам, что с этим... – попробовал вступить Заботкин, но Трусс не дал ему закончить мысль.

– ...на ваши карточные шалости, – криком повторил он, – на ваши преступные карточные шалости, которые никогда не прекращались и, более того, в какой-то момент стали нешуточной угрозой для жизни вашего окружения. Пятисотмиллионный проигрыш Федора Колчева случился не без вашего непосредственного участия, и если вы полагаете этот факт тайной за семью печатями, то должен вас огорчить: вы нас недооцениваете. Итак! – Трусс поднялся, прошел вокруг стола и оказался за спиной Заботкина. – Ваш протеже и компаньон Федор Колчев обвиняется в убийстве. В убийстве Игоря Каликина, в убийстве Герарда Твеленева и еще в одном убийстве... – он на мгновение замолчал, – убийстве человека, фамилию которого в интересах следствия я пока называть не буду. Три убийства и в каждом из них, пусть косвенно, – ваша вина, что квалифицируется как соучастие преступления, и наказывается по статье 137-й, пункт «б» Уголовного кодекса сроком от пяти до пятнадцати. Не суток, как вы понимаете, и не месяцев.

Он умолк, давая возможность собеседнику осознать степень своей осведомленности в деле его неудачливого карточного подмастерья.

Заботкин сидел неподвижно. Каждое слово, неторопливо произносимое за его спиной следователем, тяжелым молотом ударяло в затылок. Перед глазами в бешеном ритме проносились картины недавнего прошлого: кровавые белки глаз партнеров, их перекошенные азартом лица, дрожащие пальцы, перебирающие колоды... Никто, ни один «маэстро» на свете, а прошло их перед ним – не счесть, не мог схватить его за руку, не мог

понять причину столь неудержимого «везения». И надо же случиться такому бездарному проигрышу с этим, самым дьяволом навязанным ему в ученики дипломатом!

Из оцепенения его вывел голос Трусса:

– Аркадий Семенович, я еще раз предлагаю вам обратиться к разуму и тем самым предпочесть колючей проволоке свободу передвижений. Предыдущие несколько минут, мне показалось, дались вам нелегко, и мой последний вопрос, допускаю, мог выпасть из вашей памяти, а ответ на него мне, как я уже говорил, во, как важен! – он опять провел по горлу ребром ладони. – Поэтому повторяю вопрос, но давайте договоримся: в последний раз, да? А то и у вас, вижу, нервы на пределе, и я, признаюсь откровенно, не в лучшей форме: утомил меня ваш дальний родственник Антон Маратович своими откровениями. Итак, вопрос: каким образом раритетный инструмент, пятьдесят лет никем и никак не используемый, оказался в доме композитора Антона Игоревича Твеленева...

– Да нет его давно, Антона-то Игоревича вашего, умер он, царство ему небесное.

Слова эти Заботкин произнес до такой степени буднично и вяло, что у сотрудника следственного отдела Московского уголовного розыска по спине побежали мурашки, а этого конфуза с ним давно не случалось. Ему и в голову не пришло скрывать свое изумление.

– Умер? – переспросил он, переходя на прежнее место напротив собеседника. – Как умер? Когда?

– Давно.

Трусс какое-то время ошарашенно смотрел на своего визави.

– Что значит «давно»?

Заботкин молчал.

– Объясните.

Заботкин молчал.

– Ему же на днях девяносто отмечали. – И поскольку Заботкин продолжал молчать, он прикрикнул вопросительно: – Так или нет?

– Не ему, – наконец выдавил из себя Аркадий Семенович.

– Что «не ему»?! – начал белениться следователь. – Говорите так, чтобы вас понимали! Что значит «не ему»?

– Девяносто отмечали. Не ему. Брату его, одноййцевому, Анатолию Твеленеву.

Самолет Магадан – Москва неожиданно врезался в серую вату облаков, застекольным промельком обозначил свою неземную скорость, выбросил из брюшного разрыва колесики.

«Граждане пассажиры, прослушайте, пожалуйста, объявление. Рейс 143-17 Магадан – Москва подходит к концу. Через несколько минут наш самолет приземлится в аэропорту Внуково в столице нашей родины городе Москве. Температура воздуха в Москве плюс восемнадцать градусов. Просьба до полной остановки двигателей...»

Голос стюардессы разбудил безмятежно дремавших «граждан пассажиров». В салонах все постепенно зашевелилось, проснулось, ожило, заходило, заголосило.

Мерин, прильнув к иллюминатору, не мог оторвать глаз от акварельной бирюзы земных пейзажей, то и дело сказочным образом выплывающих из облачной непроглядное™. Он всего лишь второй раз в жизни оказывался так высоко над землей (впервые это случилось с ним накануне в самолете, выполнявшем рейс 143-18 Москва– Магадан), и поэтому все происходящее его искренне восторгало: и неожиданные воздушные ямы, до сердечного замиранья радующие именно своей неожиданностью, и расположившийся у него на коленях в своем откидном кресле впереди сидящий пассажир, и в особенности подаваемые в красивых пластмассовых посудах завтрак, обед и ужин. Никогда еще он с таким удовольствием не грыз куриные крылья и засохшие коржики.

Идея посетить последнее место жительства Антона Игоревича Твеленева, побеседовать с его вдовой, возникла у Мерина спонтанно: никаких ни внешних, ни тем паче внутренних причин для столь экстравагантного решения не существовало.

Через несколько дней после того, как страна похоронила старого композитора

Твеленева – помпезно, многолюдно, Всеволоду позвонили. Представились.

– Это Марат Антонович вас беспокоит.

– Кто?! – несказанно удивился и почему-то обрадовался Мерин.

– Марат, Марат Антонович, сын Антона Игоревича Твеленева, умершего в 1992 году. – Голос был слабый, тихий.

– Марат Антонович?! Здравствуйте, Марат Антонович, – опасаясь, что его не услышат, закричал Мерин, – очень рад вас слышать. Как вы себя...

Ему не дали говорить, прервали:

– Я, собственно, вот по какому поводу, простите великодушно... Если, может быть, помните, я упомянул как-то в один из ваших приходов об отцовской рукописи, хранящейся у меня. Так вот, коробку с этой рукописью осенью девяносто второго года прибывшая из Магадана некто Глафира Еремеевна вручила маме моей, Ксении Никитичне, а два дня спустя случилась эта трагедия: мама покончила с собой. В своей предсмертной записке мама умоляла меня: «Христом Богом тебя молю, заклинаю», – завещала ни под каким предлогом не интересоваться содержимым этой коробки из-под «Зефира в шоколаде» и не открывать ее до ухода из жизни «отца Надежды». Она так и написала в записке: «Отца Надежды». Вы меня слушаете? – неожиданно тревожно спросил Марат Антонович.

– Да, да, конечно. Да, – поспешил заверить его Всеволод.

– Спасибо. Я скоро закончу. Так вот, я вскрыл эту коробку на следующий день после маминых похорон. Не буду сейчас анализировать свой поступок, думаю, Господь справедливо наказал меня за презрение к маминому завещанию. Я вскрыл коробку и тогда же все узнал. Теперь я хочу передать ее вам – отец мой должен быть реабилитирован. Приезжайте. Вы приедете?

– Непременно, Марат Антонович...

– Я буду ждать. – Он отключил связь.

Не успел Мерин убрать мобильник, как тот вновь настойчиво запрыгал у него в кармане.

– Всеволод Игоревич, ради бога простите, это опять я. Твеленев. Я не успел сказать: покупать, приносить ничего не надо, Герочка этого не любил. Буду ухаживать за могилкой и ждать для себя воли Господней. До встречи. Доброе имя отца должно быть восстановлено.

Сева долго, не отрывая от уха трубку, слушал короткие гудки отбоя.

Тогда-то и возникла у него идея с Магаданом.

... Он потянул за оба конца бантиком завязанную бечевку откинул крышку зефирной коробки, достал самодельный конверт, по возможности аккуратно отлепил от него раздробленную сургучную лепешку.

Пальцы его предательски дрожали, лоб покрылся испариной.

В конверте находилась пухлая канцелярская тетрадь, завернутая в пожелтевшую от времени, потрескавшуюся на сгибах газету. Странички тетради были убористо заполнены неровными рядами разновеликих, в разные стороны разбегающихся букв.

На зефирной коробке фабричные реквизиты: Магаданская область, г. Магадан, кондитерская фабрика им. Л. М. Кагановича.

Сургуч был придавлен пятикопеечной монетой образца 1980 года.

Газета «Правда» от 17 октября 1992 года.

На титульном листе тетради три заглавные буквы: К. Н. Т.

«Ксения Никитична Твеленева», – прочитал про себя Мерин.

Он перевернул страницу.

1954 г. Декабрь. 31-е.

Ксюша, Ксюшень...

1955 г. 1 января.

Вчера хотел начать, в день твоего рождения поздравить – тебе 34 стукнуло – не смог:

написал на листе имя твое – руки заходили ходуном, ни одной буквы не пишут. Выпили за Новый год, старый проводили, заснул, сегодня вроде ничего, не дрожат. Я ведь из Москвы недавно вернулся. В октябре. С тобой виделся. Вернее, ты-то меня нет, не видела, а я видел, я тебя в октябре увидел, 10 октября, вы с Анатолием шли по нашей улице, по Красной Пресне, к дому нашему подходили... Ты веселая, не изменилась ничуть, одиннадцать лет не видел тебя... Нет, опять не могу. Прости.

1955 г. 5 января.

Ксюша. Ксеночка моя. Вроде взял себя в руки, могу говорить с тобой. Одиннадцать лет уже не видел тебя – ходил, дышал, спал, просыпался, опять ходил – жил. Ничего. А 10 октября увидел – совсем мне крышу снесло: не сплю. Тогда и решил писать тебе начать, вроде мы опять вместе. Разговариваем. Вспоминаем. Не для тебя пишу – не тебе караули эти. Себе. Тебе никогда не отдам, никому не покажу – счастье твое не поручу. Раз так случилось – так тому и быть. Одно только до смерти узнать бы: сама-то ты знаешь, что не со мной – с братом моим живешь? Или его за меня приняла. Никогда не узнать мне этого. Никогда...

1955 г. 6 января.

Ночью сегодня в первый раз с тобой встретились. Всю ночь хохотали. Одиннадцатое мая тридцать восьмого. Солнце, небо голубое-голубое. Ты ко мне первая подошла, помнишь? Я тебя и не заметил тогда. Ты подошла, говоришь: «Сколько времени?» А у меня и часов не было, не знаю сколько. «Не знаю, – говорю, – у меня часов нет». И пошли в разные стороны, вспомнила? Да? А потом мне навстречу военный, я говорю: «Товарищ майор, сколько сейчас времени?» Он на ходу достал часы из кармана. «Ровно, – говорит, – одиннадцать часов одиннадцать минут, парень, минута в минуту, они у меня точные. Повезет тебе скоро». И пошел дальше. Семнадцать лет прошло, а я как сейчас слова эти слышу, картавил он сильно. Я тебя догнал. «Девушка, – говорю, – одиннадцать-одиннадцать». Ты не поняла, помнишь? Остановилась. «Что одиннадцать?» «Часов», – говорю. «А два раза почему?» – «Так минут. Часов одиннадцать и минут тоже одиннадцать». Ты помолчала, потом говоришь: «Надо же, и число сегодня одиннадцатое. Одиннадцатое мая». И давай хохотать. И я за тобой. Мы так громко хохотали – люди останавливались. Не помнишь?

В ЗАГСе нас не приняли, не расписали – тебе восемнадцати не было. Мы ведь с тобой до сих пор не расписаны, вроде и не муж с женой. И в церкви не венчались. Может, за этот грех на нас горе такое?

Война нас врасплох застала, к ней мы готовы не были, да ведь? Я – не был. Говорят, кто-то знал, кто-то предвидел, предчувствовал... Я – нет. Тобой только жил. Тебя видел. Никого и ничего вокруг больше не было. Мы и не расставались, помнишь? Ночью, бывало, засыпали по очереди, чтобы не расставаться. Ты заснешь – я смотрю, люблюсь, краше ведь тебя никого нет на белом свете. Меня сон сморит, открываю глаза однажды – ты не спишь. «Ты чего не спишь?» – спрашиваю. А ты: «Не хочу. Сон нас разлучает». А утром видениями ночными делимся – не нахохочемся. Ты любила посмеяться. И я за тобой. Я ведь во снах своих коротких только тебя и видел, никак нацеловать не мог.

Недолго счастье наше с нами прожило, разлучила война. Но мне его на всю жизнь хватило. И сейчас только им жив. Таким, видать, было большим...

1955. 7 января.

Он тебя когда впервые увидел-то? Я ведь тебя долго никому не показывал. Боялся, что сглазят нас, наше счастье отберут. Он тебя впервые на Новый год увидел... 39-й как раз на смену 38-му шел... Я тебя тогда в первый раз домой познакомить пригласил. Ты еще, помнишь, не хотела. «Не пойду да не пойду». Как чувствовала. Помнишь? Ксюшенька, ты отвечай мне хоть иногда: помнишь ли, нет. Отвечай. А то ведь мне совсем не могу. Головой хоть кивни... не могу.

1955. 8 января.

Ну вот. Познакомил я вас. И начался этот кошмар, иначе не скажешь. Причем не только для меня. И для него. И для тебя тоже, я знаю. Особенно для тебя. Мы-то к путанице нашей

привыкшие с самого раннего детства. Родители долго путали-путали, терпели-терпели, потом не выдержали: обрили Анатолия – он «младший» – наголо. Я с белыми кудрями до плеч, он – лысый. Не перепутаешь. Так до школы дотянули. А там другое началось. 1925 год – все в одинаковой форме и под одну гребенку: стриженная голова, на лбу челка. Эта обидная для всех обезличка обернулась для нас с Анатолием десятилетним триумфом. За нос водили всех, кого не лень. А по молодости не лень было никого: учителей, директора школы, завуча, приятелей, подруг и, что считалось высшим пилотажем, родителей. Сбоев не случалось. А ты, помнишь, как ты испугалась, когда увидела Анатолия? Я помню: побелела вся. Я подвел его, говорю: «Знакомся, брат мой, на пятнадцать минут меня младше». Ты обомлела, долго переводила взгляд то на меня, то на него. Потом говоришь... Помнишь, что сказала? Даже не сказала, а воскликнула, руками всплеснула: «Господи, как же вас люди различают?» «А ты не различай», – брат сказал. Мы тогда долго смеялись. При каждой встрече смеялись.

Ксюша, завтра я расскажу, что никогда тебе не рассказывал. Не проси, сегодня не могу. Устал очень. Я ведь говорю с тобой, а ты молчишь. Иногда только кивнешь – мне и это счастье. Кивай чаще, да? Устал. Голова что-то того... не варит. Завтра. Храни тебя Бог. Спокойной ночи. Я каждый раз крещу тебя перед сном. Крещу тебя.

1955. Февраль. 21-е.

Ксюшенька, обещал завтра, а вышло вон только когда. Заболело сердце. Врачей тут у нас нет, а оно болит и болит. К столу подойти никак. Только на спине лежал. Хорошо, что ты меня тогда не видела, а то бы, помню, стоит чуть горлу заболеть – выпей это, проглоти это, положи этим, обмотай горло шарфом, шерстяные носки, градусник, на улицу ни-ни, может, «скорую»? «Неотложную»?.. Ах, какое время было! Это ж даже в сказках не бывает. А у нас было! Я тебе обещал рассказать про то, что никогда не рассказывал. Так вот. Мы с тобой уже, наверное, где, как вместе жили, комнату на «Соколе» снимали. Или на Арбате? Хотя нет, на Арбате позже. Тогда на «Соколе». Анатолий пришел как-то, тебя не было, бутылку спирта принес, сидит, выпивает. Потом вдруг поднимает на меня глаза, говорит: «Отдай похорошему». Я: «Толя, – говорю, – ты не пей больше, а то тебя не понять». А сам уже что-то неладное чую. Он свое: «Отдай да отдай», и все громче, трясется, желваки по скулам, кулаки сжал. И наконец: «Отдай Ксению». Я не поверил поначалу, думаю – шутит так спьяну. Говорю: «А ну-ка уходи! И не появляйся больше никогда в таком виде в наш дом». Он меня за грудки: «Отдай, мне без нее не жить». Отпустил, нож со стола и себе по руке: вжик. Полоснул. Кровь как из насоса лицо ему заливает. «Отдай, Христом Богом молю, отдай». Я тогда жестоко с ним обошелся. Взял за шиворот, за спину – он не сопротивлялся совсем – за дверь вытолкнул: «Пошел вон, – сказал. – Ты мне не брат с этих пор больше». Повернулся и пошел в дом. А из-за двери слышу его твердое: «Я тебя убью».

В следующий раз я его через много лет только встретил.

1992 г. Суббота.

... Вот, пожалуй, и все... Пожалуй... Всю нашу короткую жизнь вместе вспомнили. Потом свою долгую-долгую тебе рассказал... А ты, спасибо тебе, слушала. Не надоело. Теперь, наверное, закончу: голова совсем уже не держит память. Меня ведь после войны «врагом народа» объявили, когда в плену оказался. А как я туда попал? В плен этот. На передовой меня последний раз контузило. Около Куропат. В голову. И – все: два года почти, как вырубил. Как будто и не было совсем годов этих. И до сих пор ни дня из них не помню. Я ведь как уехал тогда от тебя, в сорок втором-то, тебя одну оставил, жива ли, беременна ли, нет ли – ничего не знаю. Воевать не мог. Дышать не мог. Жить не мог! Если б не Анатолий... мы с ним случайно встретились. Бывает же так: на войне встретиться. На передовой. Он-то меня и выходил. Я в его части остался воевать. Мы тогда отступали все время. Бой примем, яму выроем, мертвых туда сложим, земелькой присыпем и отступаем... Много таких ям нарыли. А потом меня контузило – это я помню, что-то шарахнуло в голову. Я лежу, думаю – убили, что ли? «Ну нет, – говорю себе, – ни хрена подобного, – да как заору: – Ксю-ю-ю-ша-а-а!..» Ору и, помню, голоса своего не слышу. И все. Дальше – хоть убей. Когда через два-то года глаза продрал – ничего понять не могу: где я, где бойцы мои, товарищи, где Анатолий...

А немцы где? А где война? Тихотихо. В комнате лежу, на матрасе. Я на четвереньках к окну подлез – а там речка быстрая – и вдруг мне молния в голову: незнакомое все – речка, улица, дома, люди незнакомые ходят, комната, занавески на окнах, спичечная коробка на столе... Все незнакомое. Чужое. Так страшно стало. Я как закричу: «Ксю-ю-ша-а!», ты тогда не отозвалась. И никогда больше.

В пятьдесят третьем только, после смерти Сталина пешком в Москву пошел – документов-то у меня не было, а Анатолия документы я выбросил, тогда же порвал и в мусор выбросил. Пять месяцев шел, через всю Россию. Остановлюсь где, грузчиком денег заработаю и дальше в путь. Всяко бывало. Ладно. Пришел. Тебя увидел. С Анатолием. Он живым, значит, в 42-м из той мясорубки передовой вышел. Повезло ему. Идете, смеетесь, веселые оба...

Я тогда сразу умереть решил.

Но – Глафира. Это она меня тогда откопала. Девчонка совсем. Выходила.

Вернулся. Обвенчались мы. Ксюшка родилась. Думал, отпустит боль. Пощадит. Пожалее.

Нет.

Только хуже навалилась на меня нежизнь.

Ну – теперь уж скоро.

Прощения вот попрошу у Глафиры Еремеевны, покаюсь за любовь мою к одной тебе только за всю жизнь. Простит – она добрая.

И – отдыхать.

1992. Воскресенье.

Я тебе не досказал вчера. Насчет его документов в моей гимнастерке... Я потом много об этом думал. Проклял даже брата. Вспоминать о нем запретил себе. А тут как-то прочитал стихи о войне – самые страшные, что мне читать приходилось, самые трагичные, и все: простил. Он ведь, должно, за убитого меня тогда принял. Землей прикопал – и на том спасибо. А стихи вот.

Не стони и не плачь. Что ты маленький?

Ты не ранен. Ты просто убит.

Дай-ка лучше сниму с тебя валенки.

Мне еще воевать предстоит.

Прощай. Ксюша...

Это была последняя запись в твеленевской тетради.

... Самолет, выполнявший рейс 143-17 Магадан – Москва лизнул колесами взлетную полосу, попрыгал по ней какое-то время, сбавляя скорость, в последний раз грозно заурчал двигателями и только после этого, усталый и величественный, свернул к зданию аэропорта. «А ну расступитесь, – казалось, всем своим видом говорил он встречным собратьям, – вы тут прохлаждались, а я восемь тысяч верст пролетел без посадки. Понимать надо».

... Бабушка Людмила Васильевна встретила внука горячим рассольником с почками, куском поджаренной в электрогриле говяжьей вырезки и еще чем-то никогда им не виданным и не пробованным.

– А это что за каша-малаша?

– Это потрясающее восточное блюдо: аджепсандаш, – загадочно улыбнулась Людмила Васильевна.

– Я совсем недавно его для себя открыла. Попробуй – не оторвешься.

И когда с едой, любовно приготовленной не иначе как часов за десять, было начисто покончено минут за пятнадцать, она удобно устроилась в кресле и сказала:

– Ну, Севочка, рассказывай, как прошла командировка?

... Жилище Глафиры Еремеевны Мерин нашел на удивление быстро: оказалось, в этом богом забытом углу земли каждый из двадцати четырех взрослых его обитателей знал мужа Глафиры, Антона Игоревича Твеленева.

– Да во-о-он их дом-то, Глафиры и Антона, только он умер давно. Его и могилка там. Она его под окнами схоронила. Священник с района приезжал. Разрешил. Освятил могилку. А мы что? Коли не хочет расставаться. Пускай себе.

Глафира Еремеевна долго не могла понять – какой такой следователь, зачем, что «исследовать намерился». Заговорила не скоро, поначалу только «нет», да «не помню», да «зачем тебе», «не тебе рану-то, не заросла».

Мерин уже было совсем отчаялся. Спросил:

– Скажите, а фотографии какой-нибудь Антона Игоревича у вас нет?

– Фото? – поправила его пожилая женщина. – Так какие у нас тут фото. Сами видите, как живем. Похвастать нечем. Нету фоток.

Они долго молчали.

– А вы правда что из Москвы прилетели?

– Правда, конечно, правда.

– И прямо ко мне? Или к кому?

– Прямо к вам.

– Дело у вас тут небось какое?

– «Дело» у меня одно, Глафира Еремеевна, очень важное дело. И вы одна только можете мне помочь.

– Одна я? – К испугу и недоверию в глазах ее постепенно начало прибавляться любопытство. – Ну давай попробую, коли одна. Попробую помочь.

– Глафира Еремеевна! – Мерин запустил в ход свой самый бархатный голосовой тембр. – Глафира Еремеевна. Если помните, в 1992 году вы приезжали в Москву и передали Ксении Никитичне Твеленовой дневник вашего мужа Антона Игоревича, который он вел долгие годы...

– Помню. Передала. Как мне это не помнить?

– Ну вот. Он ведь в архивах – сколько уже лет прошло, а он до сих пор по архивным документам числится «врагом народа». Но это не так, это наговор, советская власть повинна в этой трагедии. Нам бы хотелось снять с него клеймо...

– А ему-то теперь зачем это? – Женщина слегка шевельнула морщинистым лбом, глянула в окно. – Лежит, никому не мешает. Зачем?

– А родственники? А сын? У него ведь сын есть...

– Знаю. В сорок третьем родился. Антоша его не видел никогда. Не застал.

– Ну и что, что не видел? Он же сын – родная кровь. Он память об отце хочет сберечь. Он его очень любит... память о нем любит...

– Правда?

– Правда, я с ним общался...

– Фото нету?

– Нет, к сожалению. Я вам пришлю, если хотите, из Москвы...

– Зовут-то как?

– Сына? Маратом.

– Мара-а-атом, – протянула женщина. – Ишь ты как. Не по-русски. Ну это уж не Антоша мой называл. Нашу-то с Антоном Игоревичем Ксенией назвали. В 53-м родили и назвали. Он так захотел. Во Владивостоке с мужем теперь. Сама уже бабушка – летит время. Чаю хотите?

– Хочу, очень даже, – обрадовался Мерин, – спросить стеснялся.

– Напрасно. Чем богата. Сейчас. – Она поднялась. – Посидите.

– Вот если бы вы вспомнили, как вы познакомились с Антоном Игоревичем, – Мерин, не дав ей уйти, ринулся ковать железо, пока горячо, – вы бы нам очень помогли...

– Посидите, – повторила пожилая женщина. – Вспоминать тут нечего. Никогда не забывала.

Некрасивый фанерный стол начал неспешно готовиться к торжеству: нарядился белой крахмальной скатертью, на которой поочередно возникли вазочка с вареньем, сушки,

сухарики, конфеты «Мечта» и «раковая шейка». Довершили праздничное убранство стакан с подстаканником, чайная чашка в крупный красный горошек, такого же раскраса пузатый заварочный чайник и большой алюминиевый – с кипятком.

– Я из Антошиного стакана пью, – придвигая Мерину чашку, сказала женщина. – Кушайте.

Трапеза прошла в безмолвии и много времени не заняла. Глафира Еремеевна размочила в стакане сушку, пожевала, вытерла рот платочком.

– Вы спросили – как познакомились? – Она улыбнулась и сразу стала, как показалось Мерину, на сто лет моложе. – Мне ведь тогда годов девять было или восемь даже, не упомню. Я по метрике вроде с тридцатого года, а Антошу в сорок втором в марте откопала... погоди, значит не восемь мне тогда было, а одиннадцать с гаком уже, во какая кобыла уже была, а говорю – «восемь»...

– Вы сказали «откопала»? Это... это как?..

– А-а-а, это его слова, он так свое второе рождение называл. «Других, – говорит, – рожали, а меня откопали». И всегда смеялся. Я ведь его, правда, откапывала. Долго. Руки в кровь извела, ногти посрывала без лопаты-то. Потом до дома волоком тащила, а его уже и нет почти, дома-то нашего, дырки одни, разбомбили. И никого: отец на фронте, уйти не успел – треугольничек похоронный пришел: смертью храбрых. Мать еще раньше умерла – еды не было. Я его ташу, он стонет, а потом затих. Думаю, помер, зачем мне покойник. Но он очень на отца моего был похож в молодости. У меня фото сохранилось – хорошенький такой был, кудрявый. Думаю, дотащу и похороню по-человечески, крестик сколочу, приходиться на могилку стану. Как к отцу. Я его очень любила, отца. Все ждала с фронта, треугольнику тому не верила. После него только Антошу моего так полюбила. Или, может, больше даже, не разберешь теперь. Мне ведь скоро восемь десятков. Память не все держит. Обогнала вот Антошеньку своего, на пять лет уже дольше его живу. А без него, как он ушел – и того шестнадцать прошло. Теперь за ним на покой хочу. Скучаю очень. Об одном Бога молю: встретиться бы там. Ты на могилку-то сходишь, нет? Вон она в садике. Я садик вокруг посадила. Сходишь?

– Да, конечно. Непременно.

– Ну и спасибо.

Она закрыла глаза, замолчала надолго.

– Глафира Еремеевна, – очень тихо позвал Мерин. – Глафира...

– Да ты говори громче-то, не сплю я. Это я Антоше про тебя сказала: приехал из Москвы, реабилитировать хочет. Спрашивай, чего хотел-то.

– Я хотел спросить, скажите, Антон Игоревич о брате своем, Анатолии, что-нибудь вам рассказывал?

– О брате? – Она придвинулась к столу, пригубила из стакана чай. – Вы кушайте, чего вы не кушаете-то? Сушки свежие, дочь из города недавно прислала. И конфеты. Кушайте. Я знаю, что у него в Москве брат живет. Или «жил» уже теперь, наверное. Но Антоша о нем мало что рассказывал. Считай, ничего. А я и не спрашивала: живет и живет. Он все о жене своей, о Ксении больше. Я ревновала – смерть. Сама же попрошу: «Расскажи». И сама ревную. Руки на себя наложить хотела, когда он к ней в Москву ушел. Без документов, без денег – в чем был. Долго. Очень долго. Я ждала, ждала, не помню сколько, потом думаю: еще день не вернется – все. У нас тут речка холодная, быстрая – в нее и утоплюсь. Но Антоша, видать, мысли-то эти мои смертные услышал: на следующий день калитку открываю – ноги не удержали от радости. Стоит. Траву скосил, вилами в стожок сгребает – вернулся. Я тогда же и обнаглела: «Не могу, – говорю, – больше, умру, давай повенчаемся». Я и раньше об этом просила, он все только посмеивался: то молодая я слишком, мне пятнадцать исполнилось, когда я больше отца в него влюбилась. А то: «Не время, – говорит, – вот снимут с меня прозвище «враг» – тогда...» Его ведь «врагом»-то там посчитали, в Куропатах, где его зарыли. Он когда у меня оклемался малость, из дома-то выходить стал, на него и донес кто-то. Мол, под немцем остался, в плену сидел, враг значит.

Сосед по дому, отца моего друг, светлая ему память, дядя Жора, в товарняк какой-то нас запихнул. «С Богом, – говорит, – вам тут не место. Повесят». Ну мы товарняками досюда и доехали. В 45-м уже, когда война кончилась. Тут никаких документов не надо было. Да и сейчас не надо: люди и люди. Зачем эти бумаги.

Она замолчала, отвернулась к окну, беззвучно зашевелила губами. Потом продолжила:

– А тут вернулся из Москвы-то своей, я к нему опять с этим: «Давай да давай венчаться». А он вдруг и говорит: «Пойдем завтра». И мы наутро в церковь, без платьев белых, без всего, без свидетелей, а так, в чем были... Я бегу, он за мной еле поспевает. Батюшка спрашивает: «Чего запыхались-то так?» Ну что ему скажешь? «Венчай, – говорю, – а не то умру». Он испугался, молитву перепутал, одну два раза прочел. «Это, – говорит, – к счастью». Отпустил. Вышли мужем и женой. Но мне и тогда мало, нейдет: на следующий день я его в ЗАГС тащу. «Зачем, – спрашивает, – тебе церкви мало?» – «Мало, – отвечаю, – хочу быть Твеленовой, надоело: Трещалкина да Трещалкина. Всю жизнь трещалкой дразнили. Надоело». Я ведь Трещалкина по отцу-то. Через год Ксюшка наша родилась... – Она вдруг засмеялась негромко, прикрыв рот ладошкой. – Это ж надо, как смешно все на свете устроено. Могло ведь и не быть ничего, если б кладбище-то в Куропатах поближе к дому нашему было. Ни Ксюшки, ни нас с Антошей могло не быть.

Мерин постарался ни единым мускулом лица не удивиться столь неожиданному повороту в рассказе старой женщины, но недаром в МУРе укрепилось мнение, что его актерские способности не идут ни в какое сравнение с Яшинскими. Глафира Еремеевна без труда уловила в его глазах непонимание. Сделала попытку пояснить:

– Я говорю, когда в сорок втором-то «груз» свой в дом тогда притащила, а он разбомбленный весь, дом-то – холодно, течет, лужи кругом – прислушалась: мать честная, не дышит мой груз, помер значит. Надо хоронить. Ну что – надо так надо. И если бы кладбище рядом было – схоронила бы, вот те крест – схоронила, хоть и сил уже не было никаких. А оно в Куропатах на самом краю, кладбище-то, километра три. Нет, думаю, если потащусь – надо будет сразу две могилы рыть: для него и для себя. Помру. «Полежи, – говорю, – дружок, тебе теперь все одно долго лежать, а я отдохну малость, завтра с рассветом и закопаемся». Куском брезента труп накрыла, легла рядом, дрожу, не то от холода, не то от страха. И заснула. А просыпаюсь оттого, что кто-то на меня смотрит. Открываю глаза – труп пялится! – Она засмеялась негромко. – Это мне сейчас весело. А тогда я давай орать – и на улицу босиком... Вы меня останавливайте, спрашивайте чего, я ведь, когда разойдусь, не остановишь. Говорливая. Антоша мой всегда смеялся: «Зря ты свою фамилию поменяла. Трещалкина и есть».

– Глафира Еремеевна, ради бога простите...

– Я помню, помню, – неожиданно резко прервала его женщина, – вы о брате Антошином спросили. Скажу. Сейчас вот вспомню и скажу. Мало только что знаю, Антоша не любил об этом.

Она тяжело поднялась.

– Кипяток остыл. Поставлю.

Она долго отсутствовала, вернулась, торжественно встала в дверях, держа перед собой тарелку с квашеной капустой и солеными огурцами.

– Я прошу простить, не спросила, как вас по бабушке-то?

– Всеволодом меня зовут.

– Всеволод. Давайте, Всеволод, за упокой моего Антоши. Его душа всегда со мной. Скоро уже совсем к нему... Вон рюмочки достаньте... И бутылочка там, немного, нам хватит.

Они расположились на скамеечке у могилы Антона Игоревича Твеленева.

– Меня в прошлом году Ксюша на родину мою свозила. В Куропаты. Я на месте той ямы Антошиной не нашла. Там теперь заросло все, трупы все травой покрылись – не видно. Деревья выросли. Цветы кругом. Красиво. Теперь там и дачи строят, кто нелюди совсем. Хуже нелюдей, прости господи. Ну давайте.

Они выпили. Глафира Еремеевна захватила маленькую щепотку капусты, быстро прожевала.

– Вы меня о брате Антошином спросили, – как-то очень по-деловому неожиданно заговорила Глафира Еремеевна. – Это тайна для меня по нынешний день. Я когда у него спрашивала – он все рукой махал, не любил этих вопросов. Я его, помню, в сорок втором-то, когда от страха своего очнулась, в отцовый костюм выходной одела – он в шкафу платяном от бомбы уцелел. Его грязное простирнула, а в гимнастерке паспорт мокрый, помятый: Анатолий Игоревич Твеленев. И красный билет партийный – тоже Анатолий. Ну я его Толей и звала. А как еще-то, если в документах так? А через год примерно или через два, когда ходить начал, он мне вдруг и говорит: «Ты почему меня Анатолием зовешь?» Дак в паспорте, говорю, так: Анатолий Игоревич. И в билете партийном. Он долго, помню, молчал. Потом говорит: «Покажи». Ну я иду в шкаф, протягиваю – на, смотри. Он опять до-о-олго-долго ничего не говорит. Глаза закрыл. Думала, заснул. Потом открыл глаза-то и спрашивает: «Ты где это взяла?» Дак в гимнастерке твоей, где же еще. «Это ошибка, – говорит. – Опечатка. Меня Антоном зовут». И порвал все: паспорт, билет – все. В помойное ведро бросил. Двое суток потом со мной не разговаривал. Я спрошу чего – молчит. Ночью курит, ворочается – не спал. А утром говорит: «Никогда не называй меня больше Анатолием. Нет такого. Антон я». Ну а мне и лучше – Антон-то куда красивей, правда? Так и жили пятьдесят почти, полвека без малого. Я – Глаша. Он – Антон. Счастье мне несказанное война принесла. Не только горе.

ПОСТСКРИПТУМ

Тыно Модест Юргенович взят под стражу 13 мая 2008 года при попытке вооруженного сопротивления бойцам ОМОНа. В настоящее время находится под домашним арестом. Идет следствие.

Твеленева Валерия Модестовна взята под стражу 13 мая 2008 года по обвинению в участии ограбления московской квартиры композитора А. И. Твеленева. В настоящее время отпущена по подписке о невыезде. Идет следствие.

Колчев Федор Аммосович арестован и взят под стражу по обвинению в совершении убийства. В настоящее время содержится в следственном изоляторе. Идет следствие.

Твеленева Надежда Антоновна взята под стражу 13 мая 2008 года. В настоящее время отпущена за отсутствием состава преступления.

Юрий Николаевич Скоробогатов уволен из органов внутренних дел 14 мая 2008 года, на следующий день после отданного им приказа на штурм загородного дома Модеста Тыно, с формулировкой «по состоянию здоровья». В настоящее время на пенсии.

Трусс Анатолий Борисович уволен из органов внутренних дел 13 мая 2008 года с формулировкой «несоответствие служебному положению». В настоящее время возглавляет организованное им частное следственное предприятие.

Мерин Всеволод Николаевич уволен из органов внутренних дел 13 мая 2008 года с формулировкой «несоответствие служебному положению», без права восстановления в должности. В настоящее время безработный.

Яшин Ярослав Ягударович переведен в департамент маркетинга отдела снабжения МВД России по Дальневосточному округу. В настоящее время находится на лечении.

Каждый Иван Иванович переведен по предыдущему месту работы в департамент охраны здания Московского уголовного розыска, по адресу: ул. Петровка, 38, в должности охранника запасного входа.

Скрипка работы итальянского мастера Антонио Страдивари приписана к Музею музыкальных инструментов Российской Федерации. В настоящее время ведутся реставрационные работы.